



This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <http://books.google.com/>







UNIVERSITY OF
CALIFORNIA



ЛЕТОПИСЬ РЕВОЛЮЦИИ

НИК. СУХАНОВ



ИЗДАТЕЛЬСТВО Э. И. ГРЖЕБИНА

БЕРЛИН • ПЕТЕРБУРГ • МОСКВА

1 9 2 2

UNIV. OF
НИК. СУХАНОВ

Sukhanov
"

ЗАПИСКИ О РЕВОЛЮЦИИ

КНИГА ТРЕТЬЯ



ИЗДАТЕЛЬСТВО З. И. ГРЖЕБИНА

БЕРЛИН • ПЕТЕРБУРГ • МОСКВА

1 9 2 2

VO VNU
ANNO 1922

DK 265

S 9

v. 3

Alle Rechte, einschließlich des Übersetzungsrechtes, vorbehalten

Copyright 1922 by Z. J. Gröschel Verlag, Berlin

Типография Шпамера в Лейпциге

КНИГА ТРЕТЬЯ

СОЗДАНИЕ ЕДИНОГО ФРОНТА КРУПНОЙ И МЕЛКОЙ БУРЖУАЗИИ

8 апреля — 5 мая
1917 г.

523836

70 1111
A19071.1A0

1. СНЕГ НА ГОЛОВУ

Приезд Ленина. — На Финляндском вокзале. — Организация триумфа. — «Запломбированный вагон» и революционные власти. — Позиция Исп. Комитета. — Встреча. — «Приветствие» Чхеидзе и «ответ» Ленина. — Всемирная революция и текущая политика. — В'езд на броневике. — Что говорят в народе. — В доме Кшесинской. — Знакомство с Лениным. — Трапеза. — Товарищеская беседа. — Гром среди ясного неба. — Ленин-оратор. — Апрельские «тезисы» Ленина. — Что в них было. — Чего в них не было. — Социализм и государственное право наизнанку. — Что думают большевики. — Что думаю я. — Об'единительная конференция социалдемократии. — Ленин на трибуне. — На троне Бакунина. — Знамя гражданской войны внутри демократии. — Оппоненты. — Срыв об'единения. — Ленин в Исп. Комитете. — Проезд через Германию. — Ленин в подземельях. — О Ленине в Мариинском дворце. — Ленин и большевики. — Собрание маршалов. — Ленин и «Правда». — Изоляция Ленина. — Перелом. — Как победил Ленин своих большевиков. — Фигура Ленина. — Ленин и его партия. — Большевицкая партия, минус Ленин. — «Левизна», как фактор победы. — Умолчания и конспирация, как средства победить партию. — «Вся власть советам» в устах Ленина и его товарищей. — «Защита Учр. Собрания». — Наполеон Бонапарт и Николай Маккиавелли.

Толпа перед Финляндским вокзалом запружала всю площадь, мешала движению, едва пропускала трамвай. Над бесчисленными красными знаменами господствовал великолепный, расшитый золотом

стыг: «Центр. Комитет Р. С. Д. Р. П.» (большевиков). Под красными же знаменами, с оркестрами музыки, у бокового входа — в бывшие царские комнаты — были выстроены воинские части.

Пыхтели многочисленные автомобили. В двух-трех местах из толпы высовывались страшные контуры броневиков. А с боковой улицы двигалось на площадь, пугая и разрезая толпу, неведомое чудовище — прожектор, внезапно бросавший в бездонную пустую тьму огромные полосы живого города — крыш, многоэтажных домов, столбов, проволок, трамваев и человеческих фигур.

На «парадном» крыльце разместились различные не проникшие в вокзал делегации, тщетно стараясь не растеряться и удержать свои места в рукопашной борьбе с «приватной» публикой... Поезда, с которым должен был приехать Ленин, ждали часам к 11.

Внутри вокзала была давка — опять делегации, опять знамена и на каждом шагу заставы, требовавшие особых оснований для дальнейшего следования. Звание члена Исп. Комитета, однако, укрощало самых добросовестных церберов, и сквозь строй стиснутых, недовольно ворчавших людей я через весь вокзал пробрался на платформу, к «царским» комнатам, где понуро сидел Чхеидзе, томясь в долгом ожидании и туго реагируя на остроты Скобелева. Сквозь крепко запертые стеклянные двери «царских» комнат была хорошо видна вся площадь, — зрелище было чрезвычайно эффектно. А к стеклам, с площади, завистливо лепились «делегаты», и были слышны негодующие женские голоса:

— Партийной-то публике приходится ждать на улице, а туда напустили... Неизвестно кого!..

Негодование было, впрочем, едва ли особенно основательно: не-большевистской «публики», сколько-нибудь известной в политике, науке, литературе — я совершенно не помню при этой встрече; партии не прислали своих официальных представителей; да и из советских людей, из членов Исп. Комитета, кроме специально командированного президиума, по моему, был только один я. Во всяком случае, в «царских» комнатах, если кто и был кроме нас, то не больше трех-четырех человек. Большевистские же местные генералы выехали встречать Ленина в Белоостров или еще дальше в Финляндию. И пока мы ждали Ленина на вокзале, он в вагоне уже основательно осведомлялся о положении дел из «непосредственных источников».

Я прошелся по платформе. Там было еще более торжественно, чем на площади. По всей длине шпалерами стояли люди — в большинстве воинские части, готовые взять «на к-раул»; через платформу на каждом шагу висели стяги, были устроены арки, разубранные красным с золотом; глаза разбегались среди всевозможных приветственных надписей и лозунгов революции; а в конце платформы, куда должен был пристать вагон, расположился оркестр, и с цветами стояли кучкой представители центральных организаций большевистской партии...

Большевики, умея вообще блеснуть организацией, стремясь всегда подчеркнуть внешность, показать товар лицом, пустить пыль в глаза, без лишней скромности, без боязни утрировки, видимо, готовили самый настоящий триумф.

* * *

Впрочем, сейчас у них были особые основания бить на то, чтобы представить Ленина петербургским массам в виде самого настоящего героя. Ленин ехал в Россию через Германию, в заломбированном вагоне, по особой милости вражеского правительства. Нужды нет, что никаких иных путей для возвращения на родину у Ленина не было по милости «союзных» правительств, а прежде всего по милости своих собственных «революционных» властей. Было ясно, что буржуазия со всеми своими прислужниками сделает надлежащее употребление из милости немцев по отношению к Ленину. И было необходимо создать противовес уже начавшейся отвратительной кампании.

Иных же путей проезда в революционную, свободную Россию, действительно, у Ленина не было, и это надо знать точно. На другой же день, 4-го апреля, в дополнение ко всем предыдущим сведениям и жалобам, в Исп. Комитет поступила телеграмма члена 2-й Гос. Думы эмигранта Зурабова, гласящая: «министр Милюков в двух циркулярных телеграммах предписал, чтобы русские консулы не выдавали пропусков эмигрантам, внесенным в особые международно-контрольные списки; всякие попытки проехать через Англию и Францию остаются безрезультатными; французская пресса требует, чтобы не пропускали никого, кто не стоит на точке зрения Плеханова»... Телеграмма Зурабова была предана гласности. Милюков, печатно же, отрицал посылку циркулярных телеграмм; но он подтвердил существование «международных контрольных списков», в силу чего необходимо особое «соглашение с союзниками относительно пропуска эмигрантов». Разумеется, Милюков, с своей стороны, очень «либе-

рально» заявил, что делать какие-либо различия между эмигрантами на основании их политических убеждений — недопустимо. Однако, когда Зурабов напечатал в газетах, что он сам видел милюковские телеграммы в копенгагенской миссии и публично запросил Милюкова, не подложные ли эти телеграммы, — то министр предпочел отмолчаться.

Никакому сомнению не подлежит, что существовали не только «международно-контрольные списки», но и циркулярные телеграммы Милюкова о невыпуске в Россию эмигрантов, русских граждан «нежелательного» образа мыслей: в дальнейшем мы встретимся с очень наглядными иллюстрациями, характеризующими отношение к этому делу нашего первого революционного кабинета.

Не подлежит сомнению и то, что ни малейшей возможности выбраться в Россию иными путями, не пользуясь услугами германских властей, не было у тех товарищей, которых полиция «великих демократий» было угодно зачислить в категорию «пораженцев». Уже 11-го апреля, почти за месяц до своего выезда, Мартов извещал Исп. Комитет, что он исчерпал все средства, и если не будут приняты самые радикальные меры, то он, с группой единомышленников, «вынужден будет искать особых путей переправы»... До начала мая никакого «соглашения с союзниками» нашими революционными властями достигнуто не было, и группа меньшевиков была вынуждена, вслед за Лениным, ехать в «запломбированном вагоне».

Каждому понятно, что германские власти, идя в данном случае навстречу интересам русских граждан, преследовали при этом исключительно свои собственные интересы: они, конечно, спекулировали

на том, что русские интернационалисты, в условиях революции, распатают устой российского империализма, а затем оторвут Россию от грабителей союзников и толкнут ее на сепаратный мир... Русские интернационалисты-эмигранты отдавали себе полный отчет в настроении германских властей и по достоинству оценивали источник их милости. Они, разумеется, понимали — все без исключения — всю неловкость, все невыгоды проезда через Германию: они знали, что на этом построят свою скверную игру перед лицом темных масс именно те элементы, которые сами своими руками закрыли все иные пути на родину ее «свободным» гражданам.

Но, во-первых, цели русских интернационалистов не имели по существу ничего общего с целями германского империализма; и наши прибывшие через Германию эмигранты впоследствии доказали это на деле — всем содержанием своей пропаганды и своим отношением к сепаратному миру. Не заключая с германскими властями ни малейшего подобия соглашения, не принимая на себя заведомо никаких моральных обязательств, эмигранты-интернационалисты имели все основания игнорировать с чистой совестью мотивы и спекуляции берлинского правительства. А во-вторых, когда союзный и отечественный империализм решительно отказывал в законнейших правах русским гражданам, ограничивая добытую революцией политическую свободу, нарушая «соглашение 2-го марта», — то не оставалось ничего иного, как прибегнуть к услугам империализма германского или совершенно отказаться от своих законнейших прав.

Проезд через Германию был невыгоден, так как «вапдомбированные вагоны» должны были стать под

обстрел буржуазно-бульварной прессы и науськанной обывательщины; но он был выгоднее, чем отказ лидеров социалистических партий от всякого участия в мировых событиях и томление за границей, как в темные времена николаевской реакции. Поезд через Германию был одиозен; но весь одиум без остатка должен быть снят с чистой совести эмигрантов и возложен на грязную политику слуг союзного капитала.

Когда сведения о первом эмигрантском поезде через Германию были переданы в Исп. Комитет, то об этом факте сильно сожалели; многие считали этот шаг ошибочным; но только отдельные лица осуждали и «негодовали». Несмотря на то, что дело пока касалось только одного («одиозного» для большинства) Ленина, Исп. Ком., сознавая всю «щекотливость» положения, все же не задумался покрыть «запломбированный вагон» своим авторитетом, стать на защиту товарищей и обратить оружие против политики правительства, против злорадно оцетилившейся буржуазии и обывательской толпы.

* * *

На все эти темы мы, между прочим, беседовали во время томительного ожидания в «царских» комнатах со Скобелевым и Чхеидзе — и в общем не спорили между собой... Ждали же мы долго. Поезд сильно запаздывал.

Но, в конце концов, он подошел. На платформе раздалась громовая марсельеза, послышались приветственные крики... Мы оставались в «царских» комнатах, пока у вагона обменивались привет-

ствиями генералы большевизма. Затем слышно было шествие по платформе, под триумфальными арками, под музыку, между шпалерами приветствовавших войск и рабочих. Угрюмый Чхеидзе, а за ним и мы, остальные, встали, вышли на середину комнаты и приготовились к встрече. О, это была встреча, достойная... не моей жалкой кисти!

В дверях показался торжественно-спешащий Шляпников, в роли церемониймейстера, а пожалуй, с видом доброго старого полицеймейстера, несущего благую весть о шествии губернатора. Без видимой к тому необходимости он хлопотливо покрякивал:

— Позвольте, товарищи, позвольте!.. Дайте дорогу! Товарищи, дайте же дорогу!..

Вслед за Шляпниковым, во главе небольшой кучки людей, за которыми немедленно снова захлопнулась дверь, — в «царскую» комнату вошел или, пожалуй, вбежал Ленин, в круглой шляпе, с измятым лицом и роскошным букетом в руках. Добежав до середины комнаты, он остановился перед Чхеидзе, как будто натолкнувшись на совершенно неожиданное препятствие. И тут Чхеидзе, не покидая своего прежнего угрюмого вида, произнес следующую «приветственную речь», хорошо выдерживая не только дух, не только редакцию, но и тон нравочения:

— Товарищ Ленин, от имени Петербургского Совета Р. и С. Дец. и всей революции мы приветствуем вас в России... Но — мы полагаем, что главной задачей революционной демократии является сейчас защита нашей революции от всяких на нее посягательств как изнутри, так и извне. Мы полагаем, что для этой цели необходимо не раз'единение, а сплочение рядов всей демократии. Мы надеемся, что вы вместе с нами будете преследовать эти цели...

Чхеидзе замолчал. Я растерялся от неожиданности: как же, собственно, отнестись к этому «приветствию» и к этому прелестному «но?»... Но Ленин, видимо, хорошо знал, как отнестись ко всему этому. Он стоял с таким видом, как бы все происходящее ни в малейшей степени его не касалось, — осматривался по сторонам, разглядывал окружающие лица и даже потолок «царской» комнаты, поправлял свой букет (довольно слабо гармонизировавший со всей его фигурой), а потом, уже совершенно отвернувшись от делегации Исп. Комитета, «ответил» так:

— Дорогие товарищи, солдаты, матросы и рабочие! Я счастлив приветствовать в вашем лице победившую русскую революцию, приветствовать вас как передовой отряд всемирной пролетарской армии... Грабительская империалистская война есть начало войны гражданской во всей Европе... Недалек час, когда по призыву нашего товарища, Карла Либкнехта, народы обратят оружие против своих эксплуататоров-капиталистов.. Заря всемирной социалистической революции уже занялась... В Германии все кипит... Не нынче-завтра, каждый день — может разразиться крах всего европейского империализма. Русская революция, совершенная вами, положила ему начало и открыла новую эпоху. Да здравствует всемирная социалистическая революция!

Это был, собственно, не только не ответ на «приветствие» Чхеидзе. Это был не ответ, это не был отклик на весь «контекст» русской революции, как он воспринимался всеми — без различия — ее свидетелями и участниками. Весь «контекст» нашей революции (если не Чхеидзе) говорил Ленину про Фому, а он прямо из окна своего заломбированного

вагона, никого не спросясь, никого не слушая, ляпнул про Ерему...

Очень было любопытно! Нам, неотрывно занятым, совершенно поглощенным будничной черной работой революции, текущими нуждами, насущными сейчас, но незаметными «в истории» делами — нам вдруг к самым глазам, заслоняя от нас все, чем мы «были живы», поднесли яркий, ослепляющий, экзотического вида светильник... Голос Ленина, раздавшийся прямо из вагона, был «голос извне». К нам в революцию ворвалась — правда, несколько не противоречащая ее «контексту», не диссонирующая, но новая, резкая, несколько ошеломляющая нота.

Допустим, Ленин был тысячу раз прав по существу. Я лично был убежден (и остаюсь в этом убеждении до сей минуты), что Ленин был совершенно прав, не только констатируя начало мировой социалистической революции, не только отмечая неразрывную связь между мировой войной и крахом империалистской системы, но был прав и подчеркивая, выдвигая вперед «всемирную революцию», утверждая, что на нее необходимо держать курс и оценивать при свете ее все современные исторические события. Все это несомненно.

Но всего этого совершенно недостаточно. Недостаточно прокричать здравицу «всемирной социалистической революции»: надо хорошо знать, надо правильно понимать, какое практическое употребление надлежит сделать из этой идеи в нашей революционной политике. Если этого не понимать и не знать, то прокламирование мировой пролетарской революции носит не только совершенно абстрактный, воздушный, никчемный характер: оно тогда

затемняет, путает все реальные перспективы и крайне вредит революционной политике...

Сочтя за благо ограничиться здравницей всемирной революции и определенно игнорируя конкретную совокупность российских исторических событий, в которых Ленин конкретно должен был принять участие, — он отнюдь не доказал, что хорошо знает и правильно понимает стоящие перед нами огромные задачи. Пожалуй, ленинский крик из окна вагона даже свидетельствует о противном. Однако, не надо спешить с выводами. Во всяком случае это все очень любопытно!

Официальная и публичная часть встречи была окончена... С площади сгорающая от нетерпения, от зависти и негодования публика уже недвусмысленно ломилась в стеклянные двери. Шумела толпа и категорически требовала к себе, на улицу, прибывшего вождя. Шляпников, снова расчищая ему путь, выкрикивал:

— Товарищи, позвольте! Пропустите же! Да дайте же дорогу!..

При новой марсельезе, при криках тысячной толпы, среди красных с золотом знамен, освещаемый прожектором, Ленин вышел на парадное крыльцо и сел было в пыхтящий закрытый автомобиль. Но толпа на это решительно не согласилась. Ленин взобрался на крышу автомобиля и должен был говорить речь.

— ... участие в позорной империалистской бойне... ложью и обманом... грабители-капиталисты... — доносилось до меня, стиснутого в дверях и тщетно пытавшегося вырваться на площадь, чтобы слышать первую речь «к народу» новой первоклассной звезды на нашем революционном горизонте.

Затем, кажется, Ленину пришлось пересест в броневик и на нем двинуться в предшествии прожектора, в сопровождении оркестра, знамен, рабочих отрядов, воинских частей и огромной «приватной» толпы — к Сампсониевскому мосту, на Петербургскую Сторону, в большевистскую резиденцию — дворец балерины Кшесинской... С высоты броневика Ленин «служил литию» чуть ли не на каждом перекрестке, обращаясь с новыми речами все к новым и новым толпам. Процессия двигалась медленно. Триумф вышел блестящим и даже довольно символическим.

* * *

Пробираясь по направлению к дому, я также потихоньку двигался в хвосте процессии, далеко от ее центра, в компании нескольких человек. В числе их был мой старый знакомый, тогда гардемарин или мичман, а затем именитый большевистский адмирал, Раскольников, не только на редкость милый, искренний, честный, «располагающий» человек, беззаветный революционер и фанатик большевизма, но и человек, добросовестно и много занимавшийся — не в пример другим — своей революционно-социалистической культурой. Однако, при всем этом нам придется не раз с ним встретиться при исполнении им мало «располагающих ролей».

Раскольников был в полном упоении — от встречи, от приезда Ленина, от самого Ленина, да и от всего происходящего перед его глазами в этом лучшем из миров. Он без умолку рассказывал о своем вожде, об его личности, об его роли, об его прошлом...

Было бы очень интересно послушать, что говорят сейчас «в народе» по поводу Ленина и его триумфа. Особенно было бы интересно послушать солдат. Их было очень много — и на вокзале, и в процессии. Офицеров с ними я совершенно не помню; но сотни присутствовавших солдат не были отдельными единицами: это были воинские части. Стало быть, не могло быть речи о том, чтобы это были большевики или сочувствовавшие им, или хотя бы просто знающие что-нибудь определенное о Ленине и добровольно пожелавшие приветствовать его. Это были командированные части, — командированные усилиями и организационными талантами большевистских партийных работников. Их наскоро «с'агитировали» в казармах, и при отсутствии сколько-нибудь серьезных возражений с чьей-либо стороны, при отсутствии серьезных причин для отказа от этой прогулки и парада — в нескольких частях, надо думать, без особого труда «провели» постановления о встрече...

Но интересно, что думают и говорят эти солдаты? Теперь они имели время подумать, что же это такое за парад в честь человека безо всякого чина и звания, который не только не начальство, но и не «член Гос. Думы» и даже не член своего солдатского и рабочего совета, а кроме того, говорят, ехал через Германию благодаря особой к нему любезности вражьего правительства? Мало того; теперь солдаты слышали, хоть немного, и его речи. Довольно странные речи, еще неслыханные в такой редакции! Правда, в последние дни, все еще равные месяцам, петербургский гарнизон стал быстро привыкать к таким речам — хотя бы и в гораздо более мягкой редакции, без особенно острых углов. Прежней бур-

ной реакции со стороны солдат-массовиков на речи «против войны» в последние дни уже не было. В воздухе чувствовалось, что советская демократия здесь, пожалуй, уже миновала перевал. А в схватке с буржуазией из-за власти и армии как будто уже миновала прежняя острота кризиса и наступил благоприятный перелом... Но все это совершилось вот-вот, едва-едва — не только безо всяких гарантий против рецидива, но и без малейшего ручательства, что перевал действительно позади, что перелом есть на самом деле совершившийся факт.

Правда, с другой стороны, самое постановление об участии в параде, самый факт триумфа настолько должны были рекомендовать Ленина чествовавшим его солдатам, что не только какие-либо эксцессы казались невероятными, но и кредит Ленину открывался огромный для каких угодно речей. Но — все-таки было бы очень интересно послушать, что говорят марширующие в процессии солдаты?..

Однако, до самого конечного пункта нам не представилось случая прислушаться к гласу народа... На Петербургской Стороне мне надлежало повернуть направо, к Карповке. Но без определенной цели, влекомый приятной компанией, я дошел все же до начала Кронвертского, до самого дома Кшесинской, горевшего всеми огнями, украшенного красными знаменами и, кажется, даже иллюминированного.

Перед домом стояла и не расходилась толпа, а с балкона второго этажа говорил речь уже охрипший Ленин. Я остановился около отряда солдат с винтовками, который сопровождал процессию до самого конца.

— ...грабители-капиталисты, — слышалось с балкона, — ... истребление народов Европы ради на-

живы кучки эксплуататоров... защита отечества это значит — защита одних капиталистов против других...

— Вот такого бы за это на штыки поднять, — вдруг раздалось из группы «чувственников»-солдат, живо реагиовавших на слова с балкона. — А?.. Что говорит!.. Слышь, — что говорит! А?.. Кабы тут был, кабы сошел — надо бы ему показать! Да и показали бы! А?.. Вот за то ему немец то... Эх, — надо бы ему!..

Не знаю, почему они не «показали» раньше, когда Ленин говорил свои речи с более низкой трибуны; не думаю, чтобы они «показали» и впредь, «кабы он сошел». Но все же было интересно.

И не только интересно: ведь подобные выступления Ленина, совершенно «беспардонные», лишенные всякой самой элементарной «дипломатии», всякого учета конкретной обстановки и солдатской психологии, — были о двух концах. Они могли теперь, после наметившегося перелома, быстро двинуть вперед воспитание солдатской массы и осмысливание ею факта войны; но едва ли не больше было шансов, что своей оголенностью и топорностью подобные выступления сорвут наметившийся перелом и сильно повредят делу.

Очень скоро, ориентировавшись в обстановке, Ленин это понял, приспособился и пошел по «дипломатическому» пути, щедро уснащая свои речи оговорками и фиговыми листками («разве мы говорим, что войну можно кончить немедленно?» «мы никогда не говорили, что нужно воткнуть штыки в землю, когда армия противника готова к бою» и т. под.). Но сейчас Ленин рубил с плеча и говорил святые истины о войне без всяких «тонкостей» и прикры-

тий... Реакция «чествователей»-солдат показала, что этот прием был довольно сомнителен. Я обратил внимание Раскольников на солдатские речи, которые, конечно, пойдут по казармам.

Неожиданно для себя я очутился у калитки, где большевик-рабочий строго и энергично, среди ломившейся толпы, выбирал достойных проникнуть внутрь дома и участвовать в неофициальной товарищеской встрече. Узнав меня в лицо, он — опять таки неожиданно — пропустил, пожалуй, даже пригласил и меня... Внутри дома мне показалось немного народа, — очевидно, пускали действительно с разбором. Но встреченные в апартаментах Кшесинской большевистские знакомые генералы проявили по отношению ко мне вполне достаточное радушие и гостеприимство. Я — доселе и впредь — благодарен им за впечатление этой ночи с 3-го на 4-е апреля...

* * *

Покои знаменитой балерины имели довольно странный и нелепый вид. Изысканные плафоны и стены совсем не гармонировали с незатейливой обстановкой, с примитивными столами, стульями и скамьями, кое-как расставленными для деловых надобностей. Мебели вообще было немного. Движимость Кшесинской была куда-то убрана, и только кое-где виднелись остатки прежнего величия — в виде роскошных цветов, немногих экземпляров художественной мебели и орнаментов...

Наверху, в столовой, готовили чай и закуску и уже приглашали за стол, «сервированный» не хуже и не лучше, чем у нас в Исп. Комитете. Торжествен-

ные и довольные избранные большевики рассказывали в ожидании первой трапезы со своим вождем, проявляя к нему пиетет совершенно исключительный.

— Что, Н. Н., батько приехал! А? — остановил меня, подмигивая и потирая руки, улыбающийся Залуцкий, довольно деятельный представитель левой в Исп. Комитете.

Но Ленина в столовой не было. Его снова вызвали на балкон говорить новые речи. Я пошел было за ним туда же, послушать, но встретил Ленина, не дойдя до балкона...

До того я не был лично знаком с ним и только слышал его лекции и рефераты в Париже в 1902 до 1903 г. г.; тогда я еще донашивал свою гимназическую фуражку, а Ленин — «искровец» — был соратником и единомышленником Мартова и Плеханова. Заочно же не только я отлично знал Ленина (Вл. Ильина, Н. Тулина), но и он меня знал совершенно достаточно. Когда я, остановив его, назвал свое имя, Ленин, возбужденный и оживленный, очень радушно приветствовал меня:

— А — а! Гиммер-Суханов, — очень приятно! Мы с вами столько полемизировали по аграрному вопросу... Как же, я все следил, как вы с вашими эсерами в драку вступили. А потом вы примкнули к интернационализму. Я получил ваши брошюры...

Ленин улыбался, щуря свои веселые глаза, потряхивая кудлатой головой, и повел меня в столовую... И впоследствии, при наших не частых, случайных встречах с ним, Ленин почему-то проявлял ко мне большую приветливость — до самого своего исчезновения после июльских дней. Но сейчас он забыл: мы полемизировали с ним не только по аграрному

вопросу. В 1914 году, когда Ленина сердил редактируемый мною «журнальчик», «Современник», он считал меня своим вниманием и по другим поводам¹⁾.

Мы сели рядом за стол и продолжали разговор — уже на политические темы. Ленин, со свойствен-

1) «Наглая ложь господ Мартовых и Гиммеров, — писала тогда «Правда», — будто бы пролетариат верит их словам» и т. д. — В те времена, незадолго до моей высылки из Петербурга, большевистский центральный орган почему-то упорно называл меня именно Гиммером. Псевдоним мой, правда, был давно раскрыт, но свою «родовую» фамилию я употреблял публично исключительно под статьями статистико-экономического, совершенно «нейтрального» содержания. Такое употребление «настоящего» имени (рядом с псевдонимами других) в «политико-социалистическом» контексте, показалось мне, тогда легальному человеку, нежелательным. Я специально обратился в редакцию с товарищеской просьбой быть скромнее в употреблении моего паспортного имени. Но безуспешно.

Что касается полемики с Лениным, то передо мной лежит № 6 известного большевистского журнала того времени «Прогрессивное» (за 1914 г.), где я вижу прелестную статью Ленина под замечательным заглавием «Приемы борьбы буржуазной интеллигенции против рабочих». Шельмуя весь российский социализм, как агентуру буржуазии, существующую специально на предмет подрыва рабочего движения, монополичный представитель пролетариата много цитирует и меня, приглашая сознательных рабочих выслушать несколько «мыслей» (в кавычках) этого «умного господина». И, разумеется, в заключение рекомендует меня: «сомнений быть не может: г. Суханов пустейший болтун, каких много в наших буржуазных гостиных... За время войны и революции Ленин стал ко мне снисходительнее и уже рекомендовал меня, как «одного из самых лучших представителей мелкой буржуазии» («Рабочий» от 1-го сентября 1917)... Но как бы то ни было, все перлы и алмазы Ленина, какие я принял когда-либо на свою голову, это суций елей — сравнительно с теми ушатами помоев, какие (хотя бы в цитированной статье) выливал грозный вождь большевистского племени на нечестивую главу... Троцкого.

ной ему манерой, довольно грубо смеялся и, не стесняясь в выражениях, нападал на Исп. Комитет, на советскую «линию» и ее вдохновителей. Он оперировал при этом с термином «революционное оборончество», вошедшим в употребление в самые последние дни. Персонально — Ленин обрушивался на тройку лидеров этого «революционного оборончества» — Церетели, Чхеидзе и Стеклова. Это было не совсем справедливо, и я считал необходимым взять под защиту Стеклова, уверяя, что Стеклов в течение войны — хотя и не говорил и не действовал, — но «мыслил» вполне «пораженчески»; в течение же революции — хотя в последнее время он непонятно «свихнулся» — Стеклов держал определенно левый курс, выполняя самые ответственные функции.

Но Ленин смеялся и отмахивался, третируя Стеклова, как самого отъявленного «социал-лакея»... Наш спор, однако, скоро прервали ревнивые ученики великого учителя:

— Ник. Ник., — закричал Каменев с другого конца стола, — довольно, потом кончите, вы отнимаете у нас Ильича!

Трапеза, впрочем, продолжалась недолго. Сообщили, что внизу, в зале, ждет около двухсот партийных работников, членов Советского Всеросс. Совещания и других. Они, во первых, желают приветствовать Ленина, а во-вторых, рассчитывают на немедленную политическую беседу. Просили скорее допивать чай и пожаловать вниз...

Мне, разумеется, очень хотелось присутствовать при этой беседе, и я спросил у кого-то из распорядителей, удобно ли будет это. Пошептавшись между собой, начальствующие лица сообщили мне, что это будет вполне удобно. И тут же все двинулись вниз.

На лестнице мне впервые показали Зиновьева, которого решительно не замечали с самого приезда, ни на вокзале, ни здесь. Достаточно яркая звезда — он решительно не светился в присутствии ослепительного большевистского солнца.

* * *

Внизу, в довольно большой зале, было много народа — рабочих, «профессиональных революционеров» и девиц. Не хватало стульев, и половина собрания неуютно стояла или сидела на столах. Выбрали кого-то председателем, и начались приветствия — доклады с мест. Это было в общем довольно однообразно и тягуче. Но по временам проскальзывали очень любопытные для меня характерные штрихи большевистского «быта», специфических приемов большевистской партийной работы. И обнаруживалось с полной наглядностью, что вся большевистская работа держалась железными рамками заграничного духовного центра, без которого партийные работники чувствовали бы себя вполне беспомощными, которым они вместе с тем гордились, которому лучшие из них чувствовали себя преданными слугами, как рыцари — Святому Граалю. Что-то довольно неопределенное сказал и Каменев. И, наконец, вспомнили про Зиновьева, которому немного похлопали, но который ничего не сказал. Приветствия — доклады, наконец, кончились...

И поднялся с «ответом» сам прославляемый великий магистр ордена. Мне не забыть этой громоподобной речи, потрясшей и изумившей не одного меня, случайно забредшего еретика, но и всех правовер-

ных. Я утверждаю, что никто не ожидал ничего подобного. Казалось, из своих логовищ поднялись все стихии, и дух всеокрушения, не ведая ни преград, ни сомнений, ни людских трудностей, ни людских расчетов, — носится по зале Кшесинской над головами зачарованных учеников.

Ленин вообще очень хороший оратор — не оратор законченной, круглой фразы, или яркого образа, или захватывающего пафоса, или острого словца, — но оратор огромного напора, силы, разлагающий тут же, на глазах слушателя, сложные системы на простейшие, общедоступные элементы и долбящий ими, долбящий, долбящий по головам слушателей, — «до бесчувствия», до приведения их к покорности, до взятия в плен.

Впоследствии, года через полтора, слушая главу правительства, уже приходилось жалеть о бывшем ораторе, «безответственном» агитаторе и демагоге. За это время, превратившее Ленина из демагога и бунтаря в государственного человека, в защитника устоев, в охранителя собственного благоприобретенного хозяйства и казенного достоинства, — за это время вынесенной нечеловеческой работы Ленин-оратор совершенно выветрился, выдохся, вылинял до тривиальности, утратив и силу, и индивидуальность. Его речи стали похожи одна на другую, как две капли воды. Они все стали на одну тему — с ничтожным разнообразием вариаций.

Слушая главу государства, я на вопрос одного репортера о впечатлении как-то ответил: в арифметике это называется смешанная периодическая дробь — одна фраза новая, три старых, затем опять одна новая и снова три старых и т. д. Много слов,

бесконечные повторения, незначительное содержание... Но все это пришло потом, под бременем власти. В те же времена Ленин умел потрясать своим сильным словом, своим ораторским воздействием.

Однако, я утверждаю, что он потряс не только ораторским воздействием, но и неслыханным содержанием своей ответно-«приветственной» речи, — не только меня, но и всю свою собственную большевистскую аудиторию.

Ленин говорил, вероятно, часа два. Мне не забыть этой речи, но я не стану и пытаться воспроизвести ее в подлинных словах хотя бы в небольшом экстракте. Ибо совершенно безнадежное дело воссоздать хотя бы слабый отблеск впечатления от этой речи: мертвая буква не заменит живого бурлящего красноречия, главное же — нельзя вернуть неожиданности и новизны содержания, которое теперь уже не будет аффрапировать, не будет удивлять, а будет звучать теперь банальностью и... очень печальной банальностью.

* * *

Я думаю, Ленин не рассчитывал, что в ответном приветствии, чуть ли не с площадки своего «запломбированного вагона» ему придется изложить полностью всю свою *profession de foi*, всю свою «программу и тактику» во «всемирной социалистической революции». Вероятно, эта речь в значительной степени была импровизацией и потому не обладала ни особой «компактностью», ни разработанным планом. Но каждая отдельная часть, каждый элемент, каждая идея в этой речи — были отлично разработаны, были давно продуманы оратором и привычны

ему. Было ясно, что эти идеи давно и всецело владели Лениным и уже защищались им не раз. Об этом говорило проявленное им поразительное богатство лексикона, целый ослепительный каскад определений, градаций, параллельных (поясняющих) понятий, до которых доходят только в процессе основательной головной работы.

Конечно, начал Ленин со «всемирной социалистической революции», готовой разразиться в результате мировой войны. Кризис империализма, выраженный в войне, может быть разрешен только социализмом. Империалистская (Ленин говорит «империалистская») война не может не перейти в войну гражданскую. И она может быть закончена только войной гражданской, только всемирной социалистической революцией...

Ленин издевался над «мирной» политикой Совета: нет, — «контактными» комиссиями не ликвидировать мировой войны. Да и вообще советская демократия, руководимая Церетели, Чхеидзе и Стежловым, ставшая на точку зрения «революционного оборончества», — бессильна что-либо сделать для всеобщего мира. Ленин определенно и резко отгораживался от Совета и решительно отбрасывал его целиком во враждебный лагерь... Одного этого в те времена, на нашей почве было достаточно, чтобы у слушателя закружилась голова!

Всемирная социалистическая революция... к ней призывает советский манифест (14-го марта). Но что за мещанские понятия! Нет, — к революциям не призывают, революций не советуют: революции вытекают из исторически-сложившихся условий, революции зреют, вырастают... Советский манифест хвастает перед Европой достигнутыми успехами;

он говорит о «революционной силе демократии», о «полной политической свободе». Какая же это сила, когда во главе страны стоит империалистская буржуазия! Какая же это политическая свобода, когда тайные дипломатические документы не опубликованы, и мы не можем их опубликовать! Какая же это свобода речи, когда все типографские средства находятся в руках буржуазии и охраняются буржуазным правительством!

— Когда я с товарищами ехал сюда, я думал, что нас с вокзала прямо повезут в Петропавловку. Мы оказались, как видим, очень далеки от этого. Но не будем терять надежды, что это еще нас не минует, что этого нам не избежать.

«Революционно-оборонческий» Совет, руководимый оппортунистами, социал-патриотами, русскими шейдемановцами, — может быть только орудием буржуазии. Чтобы он служил орудием всемирной социалистической революции, его еще надо завоевать, надо из мелкобуржуазного сделать его пролетарским. Большевицкая сила сейчас не велика и для этого недостаточна. Ну, что ж! Будем учиться быть в меньшинстве, будем просвещать, раз'яснять, убеждать...

Но с какими же целями, с какой же «программой»?

Прежде всего, если несостоятелен Совет, то что же можно и должно сказать о буржуазно-империалистском правительстве, возглавляющем революцию?... Ленин, насколько помню, не говорил ничего о том, было ли нужно такое правительство в момент переворота, в качестве непосредственного преемника царизма. Но совершенно ясно, что оно нетерпимо сейчас. Однако, этого мало. Вообще:

— Не надо нам парламентарной республики, не надо нам буржуазной демократии, не надо нам никакого правительства, кроме советов рабочих, солдатских и батрацких депутатов!...

Почему то — насколько помню — Ленин не употреблял термина «Учр. Собрание». Едва ли это была дипломатия. Сейчас Ленин был еще совершенно свеж, абсолютно свободен и чужд всяких дипломатических соображений: он еще чувствовал себя за границей, где не было вокруг никакой реальной сферы политической работы, не было никаких объектов воздействия, и было естественно — что на уме, то и на языке. Дипломатия с Учр. Собранием началась позже и с сугубой осторожностью проводилась до самого его разгона: ведь в течение ряда месяцев борьба с Керенским и советским мелкобуржуазным большинством велась под флагом защиты Учр. Собрания...

Сейчас Ленин едва ли из дипломатии умолчал об этом демократическом парламенте: скорее для него само собой разумелось, что подобному учреждению нет места в его государственно-правовой системе. За границей — о чем мне доселе не было известно — Ленин уже давно об'явил Учр. Собрание либеральной затеей.

Система же Ленина в сфере государственного права была громом среди ясного неба не для одного меня. Ни о чем подобном никто из внимавших учителю в зале Кшесинской доселе и не заикался. И понятно, что всеми слушателями, сколько-нибудь искушенными в общественной теории, формула Ленина, выпаленная без всяких комментариев, была воспринята, как чисто анархистская схема.

Ибо, во-первых, советы рабочих депутатов, клас-

совые боевые органы, исторически образовавшиеся (в 1905 г.) просто-на-просто из «стачечного комитета», — как бы ни велика была их реальная сила в государстве, — все же доселе не мыслились сами по себе, как государственно-правовой институт; они очень легко и естественно могли быть (и уже были) источником государственной власти в революции; но они никому не грезились в качестве органов государственной власти, да еще единственных и постоянных. Во всяком случае, без предварительного социологического обоснования пролетарской диктатуры, в этой схеме ничего понять было нельзя.

Во-вторых, между классовыми боевыми органами, рабочими советами не существовало ни сколько-нибудь прочной связи, ни самой примитивной конституции; «правительство советов» при таких условиях звучало, как полнота власти на местах, как отсутствие всякого вообще государства, как схема «свободных» (независимых) рабочих общин... К тому же о крестьянских советах Ленин ничего не говорил, а никаких батрацких советов не было, да и развиться не могло — как должно было быть ясно всякому, имевшему какой-либо багаж для «полемики по аграрному вопросу».

Впоследствии государственно-правовая схема Ленина теоретически стала вполне понятной: теоретически она означала рабочую диктатуру, «железную метлу», призванную стереть с лица земли буржуазию, снести все здание, раздробить фундамент, выкорчевать сваи капитализма. Но вместе с тем, впоследствии обнаружилась (для самого Ленина) и полная несостоятельность этой схемы, обнаружи-

лась непригодность ее для целей пролетарской диктатуры — в понимании самого Ленина; и практически эта схема — ни как власть советов вообще, ни как «власть на местах» в особенности — никогда (в правление Ленина) не была проведена.

Схема Ленина впоследствии оказалась никчемной, но стала понятной — в общей системе ленинских принципов и его политики. Но еще долго, долго — как мы увидим в дальнейшем — путались в ней, не понимали, «что к чему», и вкривь и вкось толковали лозунг «власть советам» самые ученые большевики, а в первую голову — прозелит Троцкий... Тогда же, в день приезда, выпалив свою формулу, Ленин, известный доселе как социал-демократ, приемлющий программу «второго съезда», ошеломил не только мне подобных, но и заставил изрядно растеряться более грамотных из верных своих учеников.

Ибо общая система ленинских взглядов тогда еще далеко не была закончена разработкой и не была в ее целом ясна самому Ленину. И во всяком случае эта система в ее целом не была изложена: речь Ленина пронизывали только ее умопомрачительные отрывки, обломки, «отрезки». О феерическом прыжке в социализм — по щучьему веленью, по ленинскому хотенью — отсталой, мужицкой, распыленной, разоренной страны — прямо и определенно ничего сказано не было. Был только подход, только намеки.

Но любопытные намеки! С марксистским социализмом, с социал-демократической программой они опять таки не имели ничего общего. И опять таки вселяли смуту в головы учеников, вкусивших марксизма, воспитанных на Плеханове, Мартове и ... Ленине.

Продолжая свою речь, Ленин коснулся и аграрных

дел. Аграрную реформу «в законодательном порядке» он отшвырнул так же, как и всю прочую политику Совета. «Организованный захват», не ожидая ни лучших дней, ни соизволений какого бы то ни было начальства, какой бы то ни было государственной власти, — таково было последнее слово «марксиста» и автора «отрезков». Это был «подход к социализму» со стороны деревни. В городах же, на заводах, туманно намечался новый туманный порядок, в котором определено было только то, что при отсутствии в стране всякого иного правительства, кроме советов, «вооруженные рабочие» будут стоять у кормила производства, у заводских станков... Это в городе.

А затем снова громоподобный оратор обрушился на тех, кто облыжно выдает себя за социалистов. Это не только наши советские заправилы. Это не только социалистические большинства Европы. Это не только ныне разросшиеся меньшинства, порвавшие с бургфриденом и как-ни-как, во главе пролетариата, ведущие борьбу за мир, против империализма своих стран. Все эти «социалисты» — народ заведомо и давно отпетый. Обо всех этих группах нельзя допускать и мысли, как о возможных соратниках, союзниках, товарищах. Но каковы «лучшие»? Каковы изгой-циммервальдцы, отвергнутые всем западным «социализмом», явно и открыто предающим международный рабочий класс?... Он, Ленин, вместе с товарищем Зиновьевым, слава Богу, прошел «циммервальд и кинталь» с начала до конца. Только циммервальдская левая стоит на страже пролетарских интересов и всемирной революции. Остальные — те же оппортунисты, говорящие хорошие слова, а на деле — если не явно, то в конечном счете, если

не прямо, то косвенно — предающие дело социализма и рабочих масс.

Современный «социализм» это враг международного пролетариата. И самое имя социалдемократии осквернено и запятнано предательством. С ним нельзя иметь ничего общего, его нельзя очистить, его надо отбросить, как символ измены рабочему классу. Надо, не медля, отряхнуть от ног своих прах социалдемократии, сбросить «грязное белье» и назваться «коммунистической партией».

Ленин кончал свою речь. За два часа он наговорил много. В этой речи было достаточно и ошелмляющего содержания и ярких, цветистых красок. Но не было в ней одного — это мне хорошо памятно и это весьма замечательно: не было в ней анализа «объективных предпосылок», анализа социально-экономических условий для социализма в России. И не было не только разработанной, но и намеченной экономической программы. Были зачатки того, что Ленин много раз повторял впоследствии: именно отсталость нашей страны, именно слабость ее производительных сил — не дали ей выдержать то отчаянное напряжение всего ее организма, какого потребовала война; и потому раньше других Россия произвела революцию. Но каким образом эта отсталость, эта мелко-буржуазная, крестьянская структура, эта неорганизованность, это крайнее истощение — мирятся с социалистическим переустройством независимо от запада, до «всемирной социалистической революции», на этот счет никаких разговоров не было. Каким образом, при всех этих условиях, рабочие и батрацкие советы, представляя небольшое меньшинство страны, в качестве носителей пролетарской диктатуры, против воли, про-

тив интересов большинства, устроят социализм — об этом оратор также умолчал совершенно. Каким образом, наконец, вся его «концепция» мирится с элементарными основами марксизма (единственно от него не открещивался Ленин в своей речи), об этом не было сказано ни полслова. Всю эту сторону дела, касающуюся того, что именовалось доселе научным социализмом, Ленин игнорировал так же радикально, как сокрушал он основы текущей социалдемократической программы и тактики. Это было весьма замечательно. Это был кричащий пробел, висящая пустота, которая впоследствии была заполнена лозунгами, обращенными к народной стихии: «творите социализм снизу, как сами знаете» и «грабьте награбленное!..»

Ленин кончил речь. Ученики восторженно, дружно, долго аплодировали учителю. На лицах большинства был только восторг и ни тени сомнений. Счастливые, невинные души!.. Но грамотные, долго и дружно аплодируя, как-то странно смотрели в одну точку или блуждали невидящими глазами, демонстрируя полную растерянность: учитель задал работу головам учеников-марксистов.

Я искал глазами Каменева, который, обуздав недавно «Правду», три дня назад был «счастлив» голосовать за единый фронт с Церетели и всякими «народниками». Но на мой вопрос, что он скажет обо всем этом, Каменев только отмахнулся:

— Подождите, подождите!..

Я, неверный, обратился к другому, третьему из правоверных: ведь должен я был знать, понять, что же это в самом деле такое?... Собеседники ухмылялись, покачивали головами, совершенно не знали, что сказать.

После Ленина, кажется, уже никто не выступал. Во всяком случае никто не возражал, не оспаривал, и никаких прений по «докладу» не возникло... Я вышел на улицу. Ощущение было такое, будто бы в эту ночь меня колотили по голове цепами. Ясно было только одно: нет, с Лениным мне, дикому, не по дороге...

Я с наслаждением вобрал в себя побольше свежего весеннего воздуха. Было уже совсем светло, занималось утро.

* * *

На другой день в Таврическом дворце должно было состояться совместное заседание всех социал-демократов — большевиков, меньшевиков и внефракционных. Во-первых, это были руководящие сферы, а во-вторых, провинциалы с только что закончившегося советского с'езда. Заседание было организовано группой лиц, считавших насущной задачей момента объединение всех течений социал-демократии в единую партию и не считавших вместе с тем эту задачу утопической.

Наиболее деятельным членом этой группы объединителей был, насколько я помню, старый социал-демократ И. П. Гольденберг, большевик исторически, но оборонец теоретически, а потому внефракционный социалдемократ, будущий советский заграничный делегат, член редакции сначала советских «Известий», а потом «Новой Жизни». Как писатель и деятель он особенно не замечателен; но, пользуясь всеобщими симпатиями, как человек, товарищ и работник, он обнаруживал другое замечательное

свойство: он обладал исключительными ораторскими данными и вместе с тем питал непреодолимую ненависть к трибуне. Благодаря такому «эксцессу», он всегда, насколько возможно, уклонялся от больших выступлений и показывался массовой аудитории только в исключительных случаях...

Было в группе объединителей и еще несколько известных лиц — в большинстве будущих «новозизненцев». Эта группа объединителей воспользовалась советским съездом и огромной тягой к объединению социалдемократии, проявленной провинциальными работниками; 4 апреля она созвала в «белом зале» совещание — в целях обмена мнений и выработки мер для объединительного съезда социалдемократической партии... Я лично был крайне заинтересован всем этим предприятием: объединение социалдемократии, разумеется, прекращало мое положение дикого, — положение, давно и основательно тяготившее меня. Я пошел на собрание с большим интересом.

Когда я явился в Таврический дворец, собрание уже давно началось, а трибуну уже больше часа занимал Ленин, который повторял свою вчерашнюю речь... Он был уже не среди своих учеников: в большинстве эта аудитория состояла из его старых идейных противников. Ленину приходилось соответственно модифицировать редакцию своей речи. За полной безнадежностью Ленин уже не мог призывать своих слушателей стать на его точку зрения и, в частности, назваться коммунистической партией. Напротив, Ленину приходилось здесь подчеркивать разницу и непримиримость своей позиции со взглядами большинства; ему приходилось говорить о том, что сделает он и что призывает он

сделать свою фракцию в отличие от большинства присутствующих.

На «объединительном» совещании Ленин явился таким образом живым воплощением раскола; и весь смысл его выступления в данной обстановке сводился к похоронам по первому разряду идеи объединения...

Но содержание, как и форма речи — помимо редакции отдельных мест — целиком воспроизводили первый умопомрачительный дебют будущего всероссийского диктатора... Наличные сектанты большевизма, считая необходимым при всякой обстановке, во всех случаях жизни, демонстрировать сплоченность своих рядов и свою изолированность от прочих, неверных, — поддерживали здесь, на людях, аплодисментами отдельные места ленинской речи даже не в пример тому, что было вчера. Однако, остальная аудитория совершенно не разделяла их чувств.

Но она была не только ошеломлена, не только разводила руками: с каждым новым словом Ленина она преисполнялась негодованием. Стали раздаваться протесты и крики возмущения. Дело было не только в неуместности такого всеоплевывающего выступления на «объединительном» собрании: дело было и в том, что вместе с идеей объединения здесь оплевывались основы социалдемократической программы и марксистской теории... Помню Богданова, сидевшего напротив меня, на «министерской скамье», в двух шагах от ораторской трибуны:

— Ведь это бред, — прерывал он Ленина, — это бред сумасшедшего!.. Стыдно аплодировать этой галиматье, — кричал он, обращаясь к аудитории, бледный от гнева и презрения, — вы позорите себя! Марксисты!

Подобные возгласы и «двигатели», конечно, не ослабили, а усилили овацию, устроенную Ленину, по окончании речи, группой большевиков. И судьба дела объединения социалдемократии уже была predetermined этим выступлением... Само собой разумеется, что «порядок дня», выработанный инициаторами собрания, пошел на смарку. Все дальнейшие речи были целиком посвящены Ленину. Но у меня остались в памяти только два выступления против него.

«Официальным оппонентом» вызвался быть Церетели. Не думаю, чтобы до речи Ленина он особенно надеялся на объединение с большевиками и особенно стремился к нему. Как видно было из предыдущего, не таковы были настроения и устремления этого лидера советской правой. Но все же он считал долгом участвовать в объединительном собрании; а речь Ленина дала ему все поводы обрушиться на политику раскола и продемонстрировать свой пиетет к делу объединения.

Церетели поддержало огромное большинство собрания, не исключая многих большевиков. Но меньшевистский лидер, основательно подчеркивая отсутствие «объективных предпосылок» для социалистического переворота в России, — все же далеко не так хорошо ухватил и не так удачно сформулировал общий смысл, самую «соль» ленинской позиции, как это сделал в краткой, блестящей речи вышеупомянутый Гольденберг:

— Ленин ныне выставил свою кандидатуру на один трон в Европе, пустующий вот уже 30 лет: это трон Бакунина! В новых словах Ленина слышится старина: в них слышатся истины изжитого примитивного анархизма.

Таков один вывод, одна сторона дела, подчеркнутая Гольденбергом. С другой же стороны:

— Ленин поднял знамя гражданской войны внутри демократии. Смешно говорить о единении с теми, девизом которых является раскол и которые сами ставят себя вне социалдемократии!

Далее, хотя сам я этого и не помню, но в газетных отчетах я вижу, что будущий бард и «идеолог» ленинской политики, Стеклов, также высказался о выступлении своего будущего начальства:

— Речь Ленина, — сказал он — состоит из одних абстрактных построений, доказывающих, что русская революция прошла мимо него. После того как Ленин познакомится с положением дел в России, он сам откажется от всех своих построений.

Настоящие, фракционные большевики также не стеснялись — по крайней мере, в частных кулуарных разговорах — толковать об «абстрактности» Ленина. А один выразился даже в том смысле, что речь Ленина не породила и не углубила, а, наоборот, уничтожила разногласия в среде социалдемократии, — ибо по отношению к ленинской позиции между большевиками и меньшевиками не может быть разногласий... Впрочем, в начале речи Ленин определенно заявил и даже подчеркнул, что он выступает от себя лично, не сговорившись со своей партией.

Большевицкая секта продолжала пребывать в недоумении и растерянности. И поддержка, которую нашел себе Ленин, пожалуй, ярче всего подчеркивала его полную идейную изолированность не только среди социалдемократии вообще, но и среди своих учеников, в частности. Ленина поддержала одна (недавняя меньшевичка) Колонтай, отвергавшая единение с теми, кто не может и не желает со-

вершать социальную революцию!.. Эта поддержка не вызвала ничего, кроме издевательств, смеха и шума. Собрание распылилось; серьезное обсуждение было сорвано.

Ленин не воспользовался заключительным словом докладчика и, кажется, куда-то исчез. Таково было его обыкновение, для него характерное. Ленин превосходно излагал заранее разработанные темы и хорошо продуманные мысли, но он избегал «рукопашной», он редко отвечал на сделанные в упор возражения и запросы, предоставляя расклебывать кашу другим...

Среди шума и беспорядка, большевики, изолировав и идейно своего вождя, пытались все же продемонстрировать, перед лицом неверных, свою организационную солидарность и проявляли свою обычную высшую большевистскую мудрость: яростный большевик Авилов, один из наиболее шокированных выступлением Ленина, а в будущем не только «новожизненец», но, пожалуй, правый меньшевик — призывал партийных большевиков «после всего происшедшего», после недопустимого отношения, проявленного к их вождю, немедленно покинуть собрание.

Однако, ушло не больше, как человек 15. Дело объединения социалдемократии, хоть и было предрешиено, но еще не было сорвано «единым духом» Ленина. Собрание почти единогласно признало необходимость созыва объединенного с'езда с.д. партии с участием всех ее российских организаций. А затем было избрано для этой цели бюро, куда вошли и представители большевистских течений.

* *
*

После «объединительного» собрания открылось заседание Исп. Комитета, куда пришел и Ленин. Он пришел с ходатайством, был очень скромен и убедителен. Он просил покровительства Исп. Комитета и защиты от буржуазной клеветы и травли по поводу «милостей и дружеских услуг Ленину со стороны германских властей» . . .

Ленин обстоятельно изложил факты. Когда все средства добиться проезда через союзные страны были исчерпаны, швейцарские социалисты вошли на этот счет в сношения с германскими властями. Все переговоры вел секретарь швейцарской партии Фриц Платтен. Русские социалисты, о проезде которых шла речь, заявили, что они, с своей стороны, будут требовать освобождения германских и австро-венгерских гражданских лиц, задержанных в России. Конечно, это ни к чему не обязывало русское правительство, а для германского не представляло существенного интереса. Но это была вполне естественная позиция Ленина и его товарищей по «запломбированному вагону». Милюков из этой «взаимной услуги» пытался потом сделать специальный одиозный пункт. Между тем, такое заявление русских социалистов было не только актом интернационалистской справедливости, но и необходимым дипломатическим декорумом — в ответ на «любезность» германских властей.

Вместе с тем русские социалисты потребовали, чтобы при проезде им было предоставлено право экстерриториальности, чтобы не было никакого контроля паспортов и багажа, чтобы ни один германский чиновник не имел права входа в вагон; состав же самих пропускаемых через Германию эмигрантов всецело находился на усмотрении самих русских. В

числе 30 человек, приехавших с Лениным, были, действительно, не только большевики, но и представители других партий и течений...

Эмигранты имели свою провизию и трое суток не выходили из вагона, следовавшего под контролем трех германских офицеров. Поезд лично сопровождал Платтен — на случай необходимости сношений с внешним миром. Однако, германские власти, с своей стороны, потребовали, чтобы русские во время проезда не вступали ни в какие сношения с какими бы то ни было частными лицами. Своих «друзей» и «агентов» германское правительство опасалось вполне основательно: оно отлично знало, что эти люди ему такие же «друзья», как и русскому империализму, которому их старались «подсунуть» немецкие власти, держа их на почтительном расстоянии от своих собственных верноподданных.

Теперь задача состояла в том, чтобы при помощи советского авторитета отразить атаку буржуазных сфер и представить в надлежащем свете обстоятельство проезда через вражескую страну.

Никаких споров и недоразумений в Исп. Комитете на этот счет не возникло. Несмотря ни на отношение к Ленину, ни на отношение к факту его проезда через Германию, — ему было тут же заявлено, что в желательном ему направлении будут немедленно приняты все меры. Это была, конечно, не только услуга Ленину и его партии: это был акт необходимого отпора грязной политической игре, уже начатой клеветнической кампании — против одной из фракций социализма и Совета. Всякому было ясно, что эта кампания, в случае удачи, есть только набег в общей борьбе ложью и клеветой против социалистов и советской демократии.

Миллюков потом опровергал: никаких препятствий к проезду через Англию не было, — заявлял он. Ленин не пожелал и не позаботился сам, предпочитая проезд через Германию. Зачем? Чтобы создать для себя трудности? Чтобы принять на свою голову помой?.. Жалкая бульварная дипломатия либеральных профессоров!..

Ленин же, убедившись в том, что эта услуга ему обеспечена, что отпор буржуазной травле рассматривается в советских сферах не только, как услуга его партии, но и как политический акт, — отбыл из Исп. Комитета, чтобы больше никогда не появляться там...

Пока большевики составляли меньшинство Совета, пока Ленин пребывал в качестве бунтаря и демагога, — он, как Марат, скрывался в каких-то «подземельях», изредка показывая свой лик массам и всего два-три раза промелькнув в пленумах советских и рабочих учреждений. Он не делил компании с неверными даже как представитель оппозиции, даже в целях борьбы с советским большинством; он апеллировал прямо и только к массам, завоевывая их в целях революционного свержения советского большинства вместе с буржуазией...

Уже в одном этом хорошо проявлялось специфическое значение ленинского лозунга: вся власть — советам. Ленин только тогда стал признавать Совет, когда он стал там полным господином, выкурив оттуда всякую оппозицию. Тогда на некоторое время он появился в центральном советском учреждении — уже в качестве государственного человека и диктатора. Но зачем, собственно, диктатору являться в учреждение, имеющее подобие выборного и демократического, где надо высказы-

вать свои мнения и выслушивать чужие? И зачем, вообще, такое учреждение при диктаторе?.. Скоро стал снова «ни к чему» Совет, и снова скрылся Ленин «в подземелья»...

* * *

К вечеру того же 4-го апреля «контактной комиссии» пришлось ехать в Марининский дворец. Нас пригласили на этот раз, если не ошибаюсь, для того, чтобы потребовать от Совета поддержки нового военного займа, известного под сахарно-лицемерным названием «займа свободы». Постановление о нем в совете министров было сделано еще 27 марта, в день подписания знаменитого акта об «отказе от аннексий»; а 6-го апреля должна была повсеместно открыться подписка на этот военный заем.

Вся буржуазная пресса уже несколько дней с необычайной энергией рекламировала «заем свободы» и уже успела в глазах обывателя сделать величайшей дерзостью и бестактностью, изменой отечеству, предательством революции и свободы — малейшее скептическое отношение к вопросу о поддержке займа... Но надо было еще обеспечить активное содействие Совета и привлечь к подписке широкие массы, для которых директива Совета могла бы иметь особое значение. Да и в самом деле: ведь за «крупную победу» 27 марта Исп. Комитет выдал вексель, обязавшись всесторонне поддерживать «оборону». Мудрено ли, что вексель предъявили ко взысканию?.. Словом, нас пригласили в Марининский дворец.

И хотели обставить дело не без торжественности. В кулуарах нам пришлось ждать, пока придут

г.г. Родзянко с товарищами для соединенного заседания совета министров, думского комитета и нашей советской делегации. Во время этого ожидания, когда мы со Скобелевым прогуливались по зале, к нам подошел Милюков с «живейшим интересом» на лице:

— Что, сегодня Ленин уже был на социалдемократической конференции и высказывался в пользу сепаратного мира?..

Бог весть, чьи услужливые уста считали долгом передавать эти достоверные известия!.. Конечно, если Милюкову действительно была интересна истина, то он имел полную возможность навести совершенно точные справки и до разговора с нами; но он этого не сделал. Мы, с своей стороны, поспешили уверить министра, что Ленин не только не призывал к сепаратному миру, но развил такую систему взглядов на международный конфликт, которая и с к л ю ч а л а идею сепаратного мира между Россией и современной Германией.

Милюков не мог спорить с нами насчет факта выступления Ленина. Но это не значит, что он усвоил отношение лидера большевиков к сепаратному миру. А если он и усвоил, то это не имело никаких практических последствий: обвинение в проповеди и в стремлении к сепаратному миру осталось навсегда одним из «краеугольных камней» в борьбе русского империализма с демократией. И, конечно, это касалось не одного Ленина, не одних большевиков: все течения российского социализма всегда подчеркивали свое враждебное отношение к сепаратному миру, и надо все ми тяготело проклятие наших «патриотов», наших поборников мировой справедливости за тяготение к любезному Виль-

гелюму и к сепаратной сделке с ним. Это называется: «хоть знаю, да не верю», — ибо на то имеются особые причины... Хоть и знал, но не верил нам в разговоре Милюков. Что же делать!

Разговор перешел вообще на Ленина. Скобелев рассказывал об его «бредовых идеях», оценивая Ленина, как совершенно отпетого человека, стоящего вне движения. Я в общем присоединялся к оценке ленинских идей и говорил, что Ленин в настоящем его виде до такой степени ни для кого неприемлем, что сейчас он совершенно не опасен для моего собеседника, Милюкова. Однако, будущее Ленина мне представлялось иным: я был убежден, что, вырвавшись из заграничного кабинета, попав в атмосферу реальной борьбы, широкой практической деятельности, — Ленин быстро акклиматизируется, оцепенится, станет на реальную почву и выбросит за борт львиную долю своих анархистских «бредней». Чего над Лениным не успеет сделать жизнь, в том поможет сплоченное давление его партийных товарищей. Я был убежден, что Ленин в недалеком будущем превратится снова в провозвестника идей революционного марксизма и займет в революции достойное его место авторитетнейшего лидера советской пролетарской левой... Вот тогда, говорил я, он будет опасен Милюкову... И Милюков присоединился к моему мнению.

Мы не допускали, чтобы Ленин остался при своих «абстракциях». Тем более мы не допускали, чтобы этими абстракциями Ленин мог победить не только революцию, не только все ее активные массы, не только весь Совет, — но чтобы он мог победить ими даже своих собственных большевиков.

* * *

Мы жестоко ошиблись... Повесть о том, как Ленин одолевал и одолел февральскую революцию — по личным воспоминаниям — будет написана дальше: именно из нее, из этой повести в значительной степени составит содержание всех следующих книг этих записок. Но «личных воспоминаний» здесь недостаточно: это поистине благодатная тема для серьезного историка. Я и не буду сейчас касаться ее ни одним взмахом пера.

Но сейчас необходимо в двух словах, в беглых замечаниях коснуться другого: как и чем ухитрился Ленин одолеть своих большевиков?... В первые дни по приезде его полная изоляция среди всех своих сознательных партийных товарищей — не подлежит ни малейшему сомнению. Правда, мне неизвестна тогдашняя позиция его заграничного соратника Зиновьева, довольно осторожного господина, коего обороты по ветру стоили не особенно дорого. Зиновьев в те дни держался в тени, публично не выступал и ничем во вне не обнаруживал, что он разделяет и поддерживает «бредовые идеи» Ленина...

Из российских же большевиков, имеющих то или иное свое собственное имя, к Ленину открыто присоединилась одна Колонтай. Затем через дня два-три я обнаружил, что на стороне Ленина — еще одна большевичка Инеса Арманд: я был свидетелем ее разговора с Каменевым, от нападок и издевательств которого она защищалась довольно слабо, но тем не менее упорствовала... Каменев же все еще не обнаруживал склонности к компромиссу и не желал покинуть марксистских позиций.

Затем, дней через пять по приезде, Ленин созвал совещание из старых большевистских генералов, современные взгляды которых ему были неизвестны,

но которые — в случае солидарности с ним — могли составить превосходное боевое ядро для создания будущей армии и для будущих побед. Это была характерная для Ленина попытка создать центр прозелитизма. В числе приглашенных были заслуженные, но в большинстве не активные ныне большевики — Базаров, Авилов, Десницкий, кажется, Красин, Гуковский и не помню, кто еще.

По словам участников, Ленин на этом совещании был в конец охрипшим и совершенно не мог говорить. Но более чем вероятно, что это и не входило в его планы: он уже достаточно высказался и хотел послушать, что скажут ему старые маршалы. Весь вечер Ленин слушал и не говорил ни слова — «по случаю хрипоты». Это также довольно характерно для Ленина, созывающего совещание именно в то время, когда он не в состоянии говорить: убеждать кандидатов в свой собственный штаб, отстаивать свои позиции перед квалифицированными, самостоятельно мыслящими участниками движения — это не в его нравах и обычаях... Сочувствуешь? веришь? — иди, будь послушен, работай и станешь полезным слугой пролетарского дела. Не веришь? не сочувствуешь? — поди прочь и станешь предателем социализма, прихвостнем буржуазии, слугой черной сотни...

Ленин призвал своих старых маршалов не для того, чтобы убеждать их и спорить с ними: он хотел только узнать, верят ли они в его новые истины, сочувствуют ли его планам и годятся ли в его штаб... Маршалы произнесли по речи. Ни один не высказал ни малейшего сочувствия. Все до одного оказались преисполнены предрассудками марксизма и старого социалдемократического боль-

шевизма. Ни один не оказался годен в штаб. Ленин молчаливо выслушал изменников и предателей и с миром отпустил их.

Еще через день-два — в центральном большевистском органе, в «Правде», были напечатаны в виде фельетона знаменитые первые «тезисы» Ленина. Они содержали резюме его новой «доктрины», изложенной в его речах. Это были тезисы — о мировой войне и всемирной социалистической революции, о парламентарной республике, о советах рабочих и батрацких депутатов, об организованном захвате, о вооруженных рабочих, о социал-предателях, о грязном белле социалдемократии, о коммунистической партии и т. д. Не было в тезисах того же, чего не было и в речах: экономической программы и марксистского анализа об'ективных условий нашей революции.

Тезисы были опубликованы от личного имени Ленина: к нему не примкнула ни одна большевистская организация, ни одна группа, ни даже отдельные лица. И редакция «Правды», с своей стороны, сочла необходимым подчеркнуть изолированность Ленина и свою независимость от него. «Что касается общей схемы т. Ленина, — писала «Правда», — то она представляется нам неприемлемой, поскольку она исходит от признания буржуазно-демократической революции законченной и рассчитывает на немедленное перерождение этой революции в революцию социалистическую»...

Казалось, в партии большевиков марксистские устои прочны и незыблемы. Казалось, взбунтовавшемуся лидеру не под силу произвести идейный переворот среди своей собственной паствы, не под силу опрокинуть основы своей собственной фрак-

ционной школы. Казалось, большевистская партийная масса основательно ополчилась на защиту от Ленина элементарных основ научного социализма, на защиту от Ленина самого большевизма, самого старого, привычного, традиционного Ленина.

Увы! Напрасно обольщались многие и я в том числе. Старого пороха хватило не надолго. Ленин победил очень скоро и по всей линии. Конечно, и сам он на русской почве, в огне реальной, во всю ширь развернувшейся борьбы — многому научился. Но это «многое» были частности. Это были не более как реалистические приемы проведения собственной программы и политики. Это было не более, как приспособление к внешним условиям в интересах экономики сил — при проведении своей программы и политики. Из новой же своей программы и политики Ленин не уступил своим товарищам ни иоты.

Своих большевиков он заставил целиком воспринять свои «бредовые идеи». И в недалеком будущем все бывшее для самих большевиков явной несообразностью, явной утопией, явным кричащим уклонением от всего того, чему искони учила социалдемократия, — все это в недалеком будущем стало единственным истинным словом социализма, единственно мыслимой революционной политикой, в отличие от бредней социал-предателей и прихвостней буржуазии...

Как и почему это случилось? Самых разнородных причин тому — не мало. Я далек от мысли исследовать «au fond» этот любопытный вопрос. Но отметить здесь несколько несомненных факторов капитуляции старого социалдемократического большевизма перед беспардонной анархо-бунтарской «системой» Ленина — я все же считаю не лишним.

* * *

Прежде всего — в этом не может быть никаких сомнений — Ленин есть явление чрезвычайное. Это человек совершенно особенной духовной силы. По своему калибру — это первоклассная мировая величина. Тип же этого деятеля представляет собой исключительно счастливую комбинацию теоретика движения и народного вождя... Если бы понадобились еще иные термины и эпитеты, то я не задумался бы назвать Ленина человеком гениальным, — памятуя о том, что заключает в себе понятие гения.

Гений — это, как известно, «ненормальный» человек, у которого голова «не в порядке». Говоря конкретнее, это сплошь и рядом человек с крайне ограниченной сферой головной работы, в каковой сфере эта работа производится с необычайной силой и продуктивностью. Сплошь и рядом гениальный человек — это человек до крайности узкий, повинист до мозга костей, не понимающий, не приемлющий, не способный взять в толк самые простые и общедоступные вещи. Таков был хотя бы общепризнанный гений Лев Толстой, который — по удачному (пусть не точному) выражению Мережковского, — был просто «недостаточно умен для своего гения».

Таков, несомненно, и Ленин, психике которого недоступны многие элементарные истины — даже в области общественного движения. Отсюда происходил бесконечный ряд элементарнейших ошибок Ленина — как в эпоху его агитации и демагогии, так и в период его диктатуры.

Но за то в известной сфере идей — немногих, «связанных идей» — Ленин проявлял такую изумительную силу, такой сверхчеловеческий натиск, что его колоссальное влияние в среде социалистов и

революционеров — уже достаточно обеспечивается самими свойствами его природы.

Дальнейшая, не вытекающая из поставленного вопроса характеристика Ленина совершенно не входит в мои планы: ведь Ленин только что приехал, только что появился на арене революции, а нам еще предстоит долго вникать в ту эпоху истории государства российского, когда Ленин явится главным ее героем; мы еще будем иметь много случаев рассмотреть эту монументальную величину со всех сторон.

Наряду с внутренними, так сказать, теоретическими свойствами Ленина, наряду с его гениальностью — в его победе над старым марксистским большевизмом сыграло первостепенную роль еще следующее обстоятельство. Ленин на практике, исторически — был монопольным, единственным и нераздельным главою партии в течение долгих лет, со дня ее возникновения. Большевистская партия — это дело рук Ленина и при том его одного. Мимо него на ответственных постах проходили десятки и сотни людей, сменялись одно за другим поколения революционеров, а Ленин неизменно стоял на своем посту, целиком определял физиономию партии и ни с кем не делил власти.

Такой естественный порядок партия помнила, как самое себя; с таким порядком все сжились — как сжились с собственным пребыванием в партии. Иного порядка не представляли, да и был ли он возможен? Остаться без Ленина — не значит ли вырвать из организма сердце, оторвать голову? Не значит ли это разрушить партию?... При таком исторически сложившемся модусе, при таком традиционном, во всех в'евшемся авторитете Ленина — у партийных

большевистских масс требовалось слишком много сил и слишком много оснований для эмансипации. Самая мысль пойти против Ленина так пугала, была так одиозна и столько требовала от большевистских масс, сколько они не могли дать.

Между тем, иной порядок, иной модус в большевистской партии — без хозяина-«Ильича» — был, действительно, невозможен; «революция» в партии, действительно, означала ее разрушение. А для эмансипации, действительно, не было ни достаточных сил, ни достаточных оснований.

Гениальный Ленин был историческим авторитетом — это одна сторона дела. Другая та, что кроме Ленина в партии не было никого и ничего. Несколько крупных генералов — без Ленина и что, как несколько необъятных планет без солнца (я сейчас оставляю Троцкого, бывшего тогда еще вне рядов ордена, то-есть в лагере врагов пролетариата, лакеев буржуазии и т. д.).

В «первом интернационале», согласно известному описанию, наверху, в облаках, был Маркс; потом долго, долго не было ничего; затем, также на большой высоте, сидел Энгельс; затем снова долго, долго не было ничего, и, наконец, сидел Либкнехт и т. д.

В большевистской же партии в облаках сидит громовержец Ленин, а затем... вообще до самой земли нет ничего. А на земле, среди партийных рядовых и офицерских чинов, выделяются несколько генералов — да и то, пожалуй, не индивидуально, а скорее попарно или в комбинациях между собою... О замене Ленина отдельными лицами, парами или комбинациями — не могло быть речи. Ни самостоятельного идейного содержания, ни организационной

базы, то-есть ни целей, ни возможностей существования — у большевистской партии без Ленина быть не могло.

Так обстояло дело в генеральном штабе большевиков. Что же касается офицерской партийной массы, то — как мне уже пришлось упомянуть — эта масса далеко не отличается высоким социалистически-культурным уровнем. Среди большевистского офицерства имеется много отличных техников партийной и профессиональной работы, имеется не мало «романтиков», но крайне мало политически-мыслящих, социалистически-сознательных элементов.

В соответствии с этим, для большевистской массы непреодолимую притягательную силу имеет всякого рода радикализм и внешняя левизна, а естественной «линией» работы является демагогия. Этим сплошь и рядом исчерпывается политическая мудрость большевистских «комитетчиков»; и в этом сплошь и рядом выражается их искренняя преданность партии и революции.

При всех этих условиях «партийная публика», конечно, решительно не имела сил что-либо противопоставить натиску Ленина и сколько-нибудь серьезно сопротивляться ему. Никаких внутренних ресурсов, никакого самостоятельного багажа у партии для этого не было.

Но этого мало: у партийной массы не было и субъективных оснований для серьезной борьбы, не было надлежащих к ней импульсов. Ибо не было сознания ее крайней необходимости: не было сознания, что Ленин действительно покушается на элементарные основы марксизма и основные устои партии. Для этого были нужны знания, которых не было.

Для этого надо было отличать марксистский социализм от анархо-пугачевского движения, а отличать это масса не умела и не особенно хотела. Не особенно хотела не только потому, что имела дело с вышеописанным Лениным, но и потому, что Ленин тянул «на лево», потому что Ленин провозгласил такой «радикализм», что небу жарко стало...

Помилюйте! бороться против социалистической революции, да против ликвидации всякого правительства, кроме советов, да против земельных захватов, да против размежевания с социал-патриотами! Нет, на это мы не согласны. Еще назовут оппортунистом, еще смешают с меньшевиком!..

Если бы Ленин покушался произвести переворот справа, его победа над большевиками была бы более чем сомнительной (впоследствии над «левыми коммунистами», над своими левыми «ребятами» он одерживал одни только пирровы победы).

Разудалая «левизна» Ленина, бесшабашный радикализм его, примитивная демагогия, не сдерживаемая ни наукой, ни здравым смыслом — впоследствии обеспечили ему успех среди самых широких пролетарско-мужицких масс, не знавших иной выучки, кроме царской нагайки. Но эти же свойства ленинской пропаганды подкупали и более отсталые, менее грамотные элементы самой партии. Перед ними уже вскоре после приезда Ленина естественно вырисовывалась альтернатива: либо остаться со старыми принципами социалдемократизма, остаться с марксистской наукой, но без Ленина, без масс и без партии; либо остаться при Ленине, при партии и легким способом совместно завоевать массы, выбросив за борт туманные, плохо известные марксистские принципы. Понятно, как — хотя бы и после

колебаний — решала эту альтернативу большевистская партийная масса.

Позиция же этой массы не могла не оказать решающего действия и на вполне сознательные большевистские элементы, на большевистский генералитет. Ведь после завоевания Лениным партийного офицерства, люди, подобные, напр., Каменеву, оказывались совершенно изолированными, становились в положение изгоев, внутренних врагов, внутренних изменников и предателей. И со стороны неумолимого громовержца подобные элементы немедленно подвергались такому шельмованию, наряду со всеми прочими неверными, какое вынести мог не всякий. И все это из-за каких-то «ложно понятых» принципов!.. Разумеется, и генералитету, даже читавшему Маркса и Энгельса, такое испытание было не под силу. И Ленин одерживал победу за победой.

* * *

Помимо этих субъективных, были и иные, более объективные причины ленинских успехов в своей партии. В свойствах, в характере ленинской агитации того времени скрывались также источники его побед на внутреннем партийном фронте. Дело в том, что его агитация и его «тезисы» не ставили всех точек над и. Не подлежит никакому сомнению, что ни тогда, ни долгое время после — большевистская «партийная публика» не отдавала себе ни малейшего отчета в том, куда приведет впоследствии вся ленинская схема и к чему она обяжет тех, кто в те времена подписался под ней. В те времена у людей, уже принявших «тезисы», все же не было и мыслей — ни об экономическом стихийном творче-

стве снизу, ни о социализме путем грабежа награбленного.

Мало того: самый лозунг «вся власть советам» — лозунг имевший интереснейшую судьбу — в глазах большевистской массы имел довольно невинный характер и совершенно не имел того смысла, какой в него вкладывал сам Ленин.

Прежде всего, этот лозунг самими большевиками принимался за чистую монету и вовсе не служил в их глазах одним прикрытием полицейской диктатуры партийного Центрального Комитета. «Власть советов», действительно, понималась, как власть большинства трудящихся, до которой Ленину уже тогда, несомненно, не было никакого дела. Дальше мы увидим, как не только все большевистские агитаторы, но и сам будущий alter ego, Троцкий, на июньском советском съезде со всей наивной прямоотой толковал этот лозунг, убеждая правое большинство сладко-сахарными речами: очень хорошо было бы, — говорил он, — на место Терещенок, Мануиловых и Некрасовых посадить в министерство «двенадцать советских Пешехоновых»!

Лозунг «вся власть советам» в те времена фигурировал в глазах большевиков отнюдь не в виде «железной метлы» — со всеми ее будущими функциями. Ни тогда, ни долго, долго после — этот лозунг вообще совершенно не имел значения «государственно-правовой системы»: он никем не понимался (кроме Ленина) и не выдавался ни за лучшее, совершеннейшее государственное устройство, ни за государственное устройство вообще.

Как истый заговорщик, устраивавший заговоры даже против своей собственной беспрекословной партии, Ленин охотно пошел на то, что его «тезис»

о парламентарной республике был «отложен», законспирирован и до поры до времени оставался в тени. Он пошел на то (идя по линии меньшего сопротивления), чтобы лозунг «вся власть советам» даже его товарищи представляли себе не в истинном его значении, не как «совершеннейший государственный строй», а просто как очередное политическое требование — организации правительства из «советских», из подотчетных Совету элементов.

Но дело было не только в лозунге «вся власть советам». Вся система не договаривалась — в тех же «дипломатических» целях приручения партий. Опять-таки — дальше мы увидим, что до самого «октября» партийные товарищи Ленина принимали за чистую монету «защиту от буржуазии Учр. Собрания». В глазах большевистских масс октябрьский переворот в большей степени должен был служить именно этой цели, чем социалистической революции. В самом Учр. Собрании, когда его разгон уже был очевиден, в его большевистской фракции, под предводительством Ларина, образовалось большинство, пытавшееся стать на защиту «парламентарной республики» и противодействовать разгону Учр. Собрания; едва успел Ленин обуздать этих распетушившихся простецов... А сам Зиновьев, ездивший по заводам Петербурга, опять-таки уже после «октября» — лепетал что-то в своих лекциях о «комбинированном государственном строе», состоящем из Учр. Собрания и из Советов...

Ленин все это время, глядя на наивность своей «партийной публики», надо думать, посмеивался, но помалкивал, ибо это облегчало Ленину его задачу; это помогало ему заставить своих товарищей признать в конце концов черное белым и обратно. Эта

недоговоренность первых «тезисов» Ленина и это сознательное умолчание — были существенным фактором «завоевания партии». Утопист и фантазер, витающий в «абстракциях» — Ленин отличный реальный политик: первое — в большом, второе — в малом. «Зажечь Европу», открыть «всемирную социалистическую революцию», закрепить знамя социализма в России — методами Ленина не удалось и не удастся. Но завоевать собственную партию, отменив всю свою собственную науку, Ленин сумел отлично, — пользуясь всеми благоприятными обстоятельствами, призывая на помощь тени Бонапарта и Маккиавелли... Одоление собственной партии это дело для Ленина сравнительно малое. И здесь он отлично проводил свою «реальную политику» — охотно и легко применяя, играючи пуская в ход и обман Маккиавелли, и натиск Бонапарта. Миниатюрный Керенский здесь, конечно, потерпел бы крах. Но огромный Ленин вышел победителем.

Завоевав свою партию, Ленин двинулся со своей армией на мартовскую революцию. Об его битвах с ней и об этой его победе — нам придется вести речь дальше.

2. СОВЕТ ЗАВОЕВЫВАЕТ АРМИЮ И ВЛАСТЬ.

Перелом кон'юнктуры. — Победа и ее судьба. — Ликвидация конфликта между рабочими и солдатами. — Братания. — Закрепление союза. — Солдаты и программа мира. — Факторы перелома. — Выступления интеллигенции. — Лозунги мира в деревне. — Формула мира в буржуазной прессе. — Агитации левых и правых. — Выступление австрийского правительства. — «Присоединение» шейдемановцев к русской формуле. — Объективные факторы. — Результаты перелома. — Советские комиссары на фронте. — Знаменательная революция. — Фронтный с'езд в Минске. — Тыловая армия идет по стопам действующей. — Резолюция Петербургского гарнизона. — Официальное положение об армейских комитетах. — Функции армейских комитетов, предусмотренные и не предусмотренные положением. — Армейские комитеты, как органы Совета. — Советские комиссары на фронте. — Армия завоевана Советом. — Ликвидация буржуазной кампании. — В начале марта и в половине апреля. — Победа ли? — Абстрактные вопросы и посильные ответы. — Буржуазия отступает с боем. — Неудачная зубатовщина. — Игра на сепаратном мире. — Травля стокгольмской конференции. — Травля советских групп и деятелей. — «Ленина — в Германию!» — «Арестуйте Ленина!» — Инвалиды. — Военнопленные. — Слабость буржуазии, могущество Совета. — Демонстрации солидарности. — Организация крестьянства. — Демократические муниципалисты. — В «контактной комиссии». — Разговор с Милюковым. — Милюков не знает, что он говорит прозой. — Необ'ятные силы и возможности революции.

Ленин прогремел громом и раскатывался долгим эхом в политических кругах, в партийно-советских сферах, но не среди широких масс. В низах петербургского пролетариата и гарнизона, проезд Ленина прошел незаметно, и на общей конъюнктуре революции он, разумеется, не отразился никак... Между тем, эта общая конъюнктура за последние дни — равные месяцам, — несомненно претерпела некоторые существенные изменения.

Начиная с эпохи всеросс. советского Совецания, с самых последних чисел марта — начал обозначаться знаменательный перелом в настроении солдатских масс. Он знаменовал собой крах буржуазного наступления на демократию в решающей битве за армию и за реальную силу в государстве. С первых чисел апреля напряженность атмосферы стала уменьшаться, и стал обозначаться исход борьбы, благоприятный для демократии.

Ленин, с его сокрушительной максималистской агитацией, несомненно, приехал уже «на готовое». Самая возможность такой агитации была уже подготовлена до него, предыдущим течением революции. К тому времени, как Ленин объявился среди масс, — уже было сделано самое трудное и самое важное: была нейтрализована стихия, которая смела бы Ленина, быть может, с Советом, в придачу, если бы Ленин «сунулся» к ней раньше со своими радикальными, оголенными призывами.

Но теперь перелом наступил. С первых чисел апреля стало выясняться, что демократия, если еще не победила, то, несомненно, победит в борьбе за армию, в борьбе за реальную власть; что революция не остановится на программе Милюковых и Львовых; что армия не станет орудием в их руках

против демократии и своих собственных интересов; что в новой России не утвердить диктатуры капитала, и на развалинах мартовской революции, в результате величайшего торжества трудовых масс, не закрепить варварской плутократии, «как в великих демократиях запада».

Правда, здесь ни в каком случае не приходится забывать о другой стороне дела, описанной в предыдущей книге. К этому же времени, к началу апреля, силы революции и демократии уже были подорваны — образованием в Совете нового мелкобуржуазного оппортунистского большинства, тяготившего к союзу с империалистской буржуазией. Этот кардинальный факт, в конечном счете, разумеется, видоизменял весь ход событий; в конечном счете он искажал, он в львиной доле аннулировал значение победы демократии. Да и сейчас, в первой половине апреля, факт образования «соглашательского» советского большинства в значительной степени затемнил победу Совета над армией, сделал для многих невидимым объективный процесс перемещения реальных сил революции.

Я уже упоминал о том, что напряженность атмосферы, которая субъективно чувствовалась в Мариинском дворце перед актом 27 марта, как будто смягчилась под влиянием новых комбинаций в Совете; острота кризиса в значительной степени рассосалась в представлении министерских верхов — под влиянием новых надежд на новые возможности в связи с новыми позициями новых советских лидеров. А проницательные публицисты-обыватели из «большой прессы» именно в момент завершения борьбы, в момент отобрания армии у официальной власти, с удовлетворением писали, что

«острый и злободневный вопрос о взаимоотношениях Вр. Правительства и Совета Р. и С. Д., повидимому, вступает в новую мирную фазу взаимного доверия и соглашения» (передовица «Рус. Слова» от 14 апр.).

Всего этого нельзя забывать, говоря о переломе в общей революционной ситуации, говоря о ликвидации буржуазного наступления и о переходе реальных сил на сторону демократии.

Но вместе с тем, ни печальный конечный итог этой победы демократии, ни ее незаметность для многих из участников событий — не должны заставить нас ни отрицать, ни оставить без внимания, ни преуменьшить значение этой победы. Эта победа была фактом, и этот радикальный переворот в соотношении сил революции был одним из самых основных моментов эпохи. Не оценив его, нельзя осмыслить и всех дальнейших событий.

Ведь каждый самый непреложный физический закон может быть парализован в конечном счете иными факторами, и может быть неясен для самих заинтересованных лиц. Закон тяготения на практике постоянно парализуется приложением силы, а вместе с тем остается доселе неизвестен большинству людей, но от этого он не перестает ни быть несомненным фактом, ни иметь чрезвычайное, универсальное значение. Не принеся надлежащих реальных плодов и почти не зафиксированная в сознании участников — победа демократии в острой, напряженной, решающей борьбе за армию и реальную власть — также стала совершившимся фактом уже в первой половине апреля.

* * *

Дело было так.

Прежде всего перелом стал обозначаться в области взаимоотношений рабочих и солдат. Я уже описывал с достаточной подробностью, каким козырем в руках буржуазии послужила склока между двумя этими отрядами советской демократии. Я описывал, как по заданному тону вся служащая пресса и вся улица принялись за травлю фабрично-заводских лодырей, предавшихся разгулу, пред'являющих невыполнимые требования, не желающих работать на оборону и предающих братьев-солдат в окопах. Я рассказывал, какого объема и какой силы достигла эта кампания, какую ненависть солдат к рабочим удалось возбудить на почве мнимого предательства рабочими солдатских интересов и какой остроты достиг этот конфликт, угрожая одно время стихийным взрывом темной солдатчины. Но вместе с тем я описывал, какой дружный отпор был оказан этой кампании Советом, партиями и самими рабочими массами, проявившими удивительную выдержку и политический такт. Агитация, разоблачающая источники травли, развернулась с огромной силой и вскоре достигла полного успеха. Уже во время Сопещания Советов опасность стала рассасываться и в начале апреля окончательно исчезла. Организованные посещения одного за другим петербургских заводов представителями воинских частей очень скоро возымели надлежащие результаты.

Все те самые полки, которые 10—15 дней тому назад являлись в Таврический дворец с враждебными настроениями и строгими директивами рабочим, — все они выслушали от своих специально делегированных товарищей доклады о положении дел на заводах. Им передавали трогательные речи

рабочих — о том, как независимо ни от каких условий они готовы работать для снабжения армии, для безопасности братьев-солдат.

Доверенные лица, выдевшие лично положение дел на местах, рассказывали им об истинных причинах неполного хода работ, и полки выносили резолюции протеста против клеветы на «братьев-рабочих», против «попыток внести рознь в единую трудовую армию» и т. п.

«В виду появившихся за последнее время упреков и инсинуаций по адресу рабочих со стороны буржуазной прессы, — заявляло общее собрание зап. электротехн. бат. уже 30-го марта, — мы, познакомившиеся с настоящим положением дел по документальным данным, протестуем против такого действия буржуазной прессы, старающейся во что бы то ни стало поссорить солдат с рабочими, которые были нашими братьями и сейчас братья и останутся ими навеки. Ведь только в таком единении и нуждается наша родина, чтобы остаться свободной навсегда. Ведь только в этом залог успеха и крепости нашей новой свободной России».

Из действующей же армии в Исп. Ком. 5-го апреля поступила такая телеграмма от комитета 1-го арм. корпуса (копии ген. Брусилову и Вр. Правительству):

«Сегодня (4-го апр.) командиром 1-го арм. корпуса, ген. Булатовым, командиру 641 полка была послана нижеследующая телеграмма: «Белья нет; просил в 6-й армии и фронте; последний ответил, что в половине апреля вероятно отпустят и то в половинном количестве; лишней одежды нет; из тыла не высылают. Табак требуется натурой, но его не подвозят. Объявить обо всем этом солдатам, объяснив,

что в тылу рабочие мало работают. Дисциплина полка зависит всецело от вашей деятельности». Оглашенный текст означенной телеграммы на общем собрании солдат штаба корпуса вызвал взрыв негодования, и была вынесена след. резолюция 1-го армейского корпуса: «Выразить крайнее негодование по поводу провокаторского поступка посылкой означенной телеграммы в полк, в которой проглядывает определенная тенденция натравливания солдат на рабочих. Председатель солд. ком. рядовой Данилов, секретарь ефрейтор Тихонов.»

Такое настроение среди солдат быстро одерживало верх и становилось всеобщим. Солдаты — чем дальше, тем больше — не только не поддавались на «провокацию», но оказывали ей активный отпор.

На заводах, вместо склоки, начались массовые торжественные братанья солдат и рабочих. В знак единения устраивались собрания. Социалистические газеты сначала запестрели резолюциями воинских частей о братской солидарности с рабочими; а затем, к половине апреля, вопрос о «рабочем и солдате» уже совершенно исчез со столбцов газет, знаменуя тем самым полную ликвидацию конфликта.

Но конфликт был не только ликвидирован: он дал повод для массового организованного общения темного, забитого в казармах мужика с передовыми слоями российского пролетариата. Это было огромным толчком для взаимного понимания. И это, конечно, так укрепило, так усилило единение между двумя трудовыми классами, между двумя отрядами революционной армии, — как это едва ли было бы возможно при естественном ходе вещей.

Теперь не могло быть и речи о рецидиве конфликта. Главное же — при массовом общении ра-

бочих и солдат на политической почве — в солдатскую толщу, вместе с доверием, стали просачиваться и основные идеи революции. Это подготовило почву и для дальнейших побед Совета над армией.

* *
* *

Ликвидация конфликта между солдатами и рабочими, легализация в глазах мужика-солдата пролетарской классовой борьбы — это был ближайший этап, но вместе с тем и самая легкая часть всей задачи. Обезопасить армию для революции, сделать невозможным использование ее в качестве орудия разгрома демократии — можно было только при условии принятия армией в с е й советской программы, а в частности — программы мира.

Как известно, борьба за армию между плутократией и партийно-советскими группами велась именно на почве «защиты отечества». Именно этим понятием буржуазия прикрывала свои истинные цели — закрепить за собой армию ради диктатуры капитала и международного грабежа. Тактикой буржуазии была игра на шовинизме; основным приемом ее борьбы были обвинения Совета в дезорганизации обороны, в «открытии фронта», в содействии и сочувствии немцам, готовым раздавить добытую свободу. Все проявления демократической борьбы за мир представлялись именно в таком свете и откалывали армию от пролетариата и Совета.

Сломить натиск буржуазии, победить ее в борьбе за армию можно было только путем «легализации» мирных выступлений советской демократии в глазах солдатских масс. Привить армии советскую точку зрения на войну и мир, объединить солдат и рабочих

вокруг единой мирной программы — таков был необходимый путь к завоеванию армии Советом. Только таким путем можно было вырвать вооруженного мужика из-под вековой власти буржуазии. Но зато, преодолев черноземный атавизм, шовинизм и отчаянные усилия буржуазии затуманить солдатские головы, — можно было уже не сомневаться в том, что монопольное влияние Совета среди солдатской армии будет совершенно обеспечено. Тогда «свой собственный» Совет поведет армию, куда пожелает. Тогда реальная сила государства будет в его руках, и революции будут открыты необъятные возможности.

С начала апреля весы стали склоняться на сторону демократии и в этой важнейшей области. Делу помог целый ряд объективных факторов.

Прежде всего, самый сильный фактор — время. Ведь два с половиной года длилась отвратительная свистопляска шовинизма над головами российских граждан-обывателей, а в частности и в особенности — солдат. Два с половиной года, с самого начала войны, бессовестная ложь о войне и самые извращенные представления о ней вдалбливались в несчастные солдатские головы совместными усилиями либеральных писателей и царских цензоров. Иных слов о войне солдаты никогда не слышали; о действительном положении дел, об истине — эти темные «тупорылые землееды» никогда и не подозревали.

Немудрено, что власть старых, романовских понятий о войне давала себя долго знать уже во время революции. Как бы сильно ни сказывалась в солдате природа демократа, представителя «низов», чуждых не только господских, но и «государственных» интересов; как бы ни была велика усталость и стихийная

тяга к миру и дому; как бы ни был велик авторитет Совета, об'явившего борьбу с империализмом, — все же для преодоления солдатом своей собственной, годами выработанной психологии, для элементарного усвоения совершенно новых понятий о войне требовалось время.

Когда времени прошло достаточно, когда срок был дан, тогда не могли не вступить в свои права и солдатский демократизм, и солдатская усталость, и авторитет Совета. Шовинистский туман стал рассеиваться, и сознание проясняться. Протест, если не против факта войны, то против ее затягивания, не мог не появиться в этом сознании. Вопрос о причинах и целях кровопролития, если бы даже он не был поставлен во всю величину революцией, не мог не возникнуть сам собой, а ответ, даваемый советско-партийными людьми, не мог остаться без внимания.

Брожение мысли и перелом ее начались, пожалуй, не с солдата. За пролетарским авангардом пошли сначала промежуточные, интеллигентские «верхи», в которых началась работа мысли под влиянием новой обстановки и левой агитации. А от обывательских масс, от бесконечных частных разговоров — не меньше, чем от митинговой агитации — «вопросы и ответы» о войне стали просачиваться в солдатскую толщу.

Мы видели, что в половине марта промежуточные слои принимали, хотя бы и не сознательно, самое деятельное участие в буржуазной кампании в пользу «войны до конца», «разгрома германского милитаризма» и т. п. Теперь, к первым числам апреля, о сдвиге этих слоев можно судить хотя бы по тем позициям, какие заняли на своих всероссийских

с'ездах две крупнейшие интеллигентские группы — врачи и учителя.

На учительском с'езде 10 апреля был провозглашен «навязанный Германией» лозунг: «мир без аннексий и контрибуций». А врачи на пироговском с'езде приняли 8 апр. такую резолюцию о войне: «присоединяясь к обращению петроградского Совета Р. и С. Д. к народам всего мира с призывом выступить солидарно на борьбу за мир и братство народов, Пироговский чрезвычайный с'езд приветствует декларацию Вр. Правительства от 27 марта...» Вообще резолюции пироговского с'езда по всем вопросам общественности целиком пропитаны «советским» духом...

Еще важнее было то, что новые «военные» лозунги стали широко разливаться по деревне. Тактично положенное Советом начало — отказ от завоеваний — дало хороший толчок мысли и широко популяризировало советскую позицию. Лозунг «нам не надо завоеваний» быстро стал понятным и своим — для самых заскоружных групп населения. И на многочисленных местных крестьянских с'ездах, в первой половине апреля, неизменно стала провозглашаться советская формула «мира без аннексий и контрибуций»... это был, конечно, противоположительный лозунг, — это был лозунг борьбы за мир.

Разумеется, буржуазные сферы не могли оставить без внимания огромный рост популярности этого «немецкого» лозунга. Вся «большая» пресса в эти две-три недели вплотную занималась всесторонней оценкой формулы «без аннексий и контрибуций». Либеральные ученые и публицисты уйму таланта и труда положили на доказательство того, что эта

формула, при своем немецком происхождении, не только не патриотична, но неопределенна, бессодержательна, не реальна, не научна.

Либеральные писатели были, как всегда, очень учены, талантливы и остроумны, но теперь это решительно не помогало делу империализма. Критика лозунга «мира без аннексий» только способствовала его популярности и только питала начавшуюся оппозицию прежним «военным» лозунгам... Ведь было достаточно только вырвать обывателя из-под власти оглушительного нечленораздельного шовинистского гвалта, из-под власти не имеющих смысла, но бьющих по нервам воплей и завываний; достаточно было только освободиться от тумана и хоть немного остановить мысль на вопросах войны и мира, — для того, чтобы идеология империализма потерпела крах в глазах всякого нейтрального здравомыслящего человека.

До сих пор тактикой империалистской буржуазии и ее прессы было скрывать факты, закутывать трескучими словами мысли, не давать думать о войне. Теперь пришлось выступить в открытый бой с наличным багажом логики и фактов, пришлось — как-никак рассуждать всенародно на заданную тему. И как бы на деле ни оказывалась уязвимой голая формула «без аннексий и контрибуций», — все же империализм тут оставался в проигрыше: ибо демократически настроенный, усталый от войны, подозрительный к власти имущим «тузам» обыватель, мужик, солдат — стал рассуждать о том, почему, зачем и поскольку нужна война, какова должна быть ее «программа», при каких условиях, какими путями можно и должно кончить ее.

А партийно-советские агитаторы, вся социалистическая пресса — все это ему посильно раз'ясняли — ежедневно, упорно, неустанно... А на помощь устной и печатной пропаганде приходили яркие, кричащие факты, приходили сами империалистские деятели. Во время приема английских и французских делегатов в Мариинском дворце, Керенский произнес им очень хорошую речь, в которой заявил, что «никогда, ни при каких условиях мы не допустим вернуться к старым захватным задачам войны и до конца будем стоять на тех позициях, которые высказаны в декларации Вр. Правительства (27 марта) и в декларации к народам всего мира Совета Р. и С. Д.»... Керенский говорил от имени демократии. А от имени правительства гостям отвечал Милюков; и он просил гостей передать пославшим их англо-французским империалистам, что «Вр. Правительство будет еще с большей силой добиваться уничтожения немецкого милитаризма, и что оно сохранило главную цель и смысл этой войны». Милюков вообще, направо и налево, уже «раз'яснял» свой и без того ничтожный и лживый акт 27 марта. Он не стеснялся недвусмысленно указывать на то, что этот документ, изданный для внутреннего употребления, ровно ни в чем ничего не меняет.

Все царские договоры и обязательства, конечно, остаются незыблемыми; и если они, по словам Керенского, были «захватными», то они таковыми остаются и теперь. Но какие по существу эти договоры и обязательства — это есть «дипломатическая тайна». Судьба народа в свободной России попрежнему скрыта от него тайной дипломатией.

Все это ныне било по сознанию масс... «Когда же будет этому конец? — спрашивала «Раб. Газета» —

Когда же иностранная политика Вр. Правительства очистится от фальши? Когда же начнет оно выполнять требования того революционного народа, из рук которого оно получило власть? Почему Вр. Правительство не требует от союзных правительств открытого и решительного шага отказа от аннексий?»

* * *

Подобные речи теперь становились уже не только всем понятны, но и для всех «низов» совершенно убедительны. И уже казалось вполне правильным, когда та же «Раб. Газета» резюмировала агитацию всех интернационалистских элементов (в передовице от 8 апр. «Нельзя ждать!»). «У нас еще нет серьезной борьбы за осуществление мирных требований демократии, — писала газета. Необходимо начать самую широкую и самую всеохватывающую кампанию за мир. Только тогда мы имеем право требовать от других народов борьбы за мир, когда мы ведем ее сами массовыми политическими выступлениями. Необходимо прежде всего в стране, в массах, сделать популярными наши лозунги. Митинги, собрания, манифестации с требованиями мира должны происходить по всей стране. Везде должны быть пред'явлены Вр. Правительству одни и те же решительные требования: немедленно вступить в переговоры с союзниками о выработке общей платформы мира на демократических основаниях... Почин должна взять на себя революционная Россия. Только тогда, когда рабочий класс Германии, Франции и других стран увидит, что мы на деле боремся за мир, только тогда он применит к нам. До тех пор он так же

мало будет верить нашим заявлениям, как мы мало верим заявлениям всех правительств, в том числе и нашего... Пора слов прошла. Пролетариат уже показал, что он решительно против дезорганизации тыла и фронта, но он должен показать и то, что он хочет мира и не остановится перед самым крайним напряжением сил, чтобы добиться намеченной цели».

Такие речи ныне могли иным попрежнему казаться неосновательными; но уже никого не повергали они ни в изумление, ни в панику. Теперь «патриотам» уже нельзя было отмахнуться от них: теперь приходилось их оспаривать. Все труднее становилось играть пустыми фразами, голыми намеками на «открытие фронта» и на «услуги немцам». И с каждым днем мирные лозунги, мирные требования, борьба за мир — приобретали право гражданства, становились естественными, привычными, необходимыми в устах самых широких, самых отсталых народных масс.

Революция выдвинула в этот период и еще один фактор популяризации борьбы за мир. Под влиянием событий в России австрийское правительство 30 марта выступило с нотой, в которой указывалось на отсутствие в настоящее время препятствий к заключению мира. Австрия предлагала созвать предварительную конференцию для выработки условий соглашения... Само собою разумеется, что это выступление — поскольку его нельзя было совершенно игнорировать — всей союзной печатью было объявлено не чем иным, как ловушкой и провокацией. Союзные империалисты понимали, что австрийское предложение могло иметь серьезные последствия, ибо за Австрией, конечно, стояла и правящая Германия. Но именно поэтому они реагировали на пред-

ложение так же, как они ответили на подобное же выступление центральных держав в декабре 1915 года: прежде всего необходимо отвлечь внимание своих народов от вопроса о мире, а затем — необходимо дискредитировать мирные шаги противника. Главным пунктом, в который была вся наемная европейская печать, было то обстоятельство, что противник не указывает своих условий. А разве допустимо для «патриота» сомневаться в том, что коварный враг, приведенный к покорности, должен первый перечесть свои «уступки»?.. Иначе «великие демократии запада» действовать, конечно, и не могли. Ибо окончание войны союзная плутократия могла мыслить только как полный простор для неслыханного насилия и грабежа, — полный простор, обеспеченный (sic!) впоследствии версальским миром.

Наша российская служащая союзникам буржуазия и наша «большая», служащая буржуазии пресса совершенно также реагировали на австрийское выступление. Однако, несмотря на все старания, «замять» дело не удалось — ни в России, ни в «великих демократиях». Толчек был дан; дело мира пришлось так обсуждать; и мысль демократических масс была втолкнута в орбиту мира еще одним существенным фактором... В наших газетах — волеяневолей — появились рубрики: «толки о мире». В них цитировалась европейская печать, приводились заявления всевозможных правителей, журналистов и представителей социализма; трактовались возможные условия и сообщались слухи о них — «из достоверных источников». Австрийское выступление приводилось в связь с событиями в России — с ликвидацией царизма, с актом 27 марта.

И само собой понятно, как отражалось все это на психологии пробужденных российских масс в общем «контексте» революции и в специфических настроениях первой половины апреля. Каждый «мас-совик» теперь имел все основания спрашивать, почему же Вр. Правительство не слушается советских партий и почему не идет навстречу австрийскому предложению, если от имени России оно искренне заявило о том, что оно не покушается ни на чье чужое достояние? Почему правительство революции не воздействует в этом направлении на союзников? До которых же пор воевать, не вступая в переговоры с врагами? Не прав ли Совет, когда он в таких условиях твердит о мире? Не прав ли Совет, когда он борется за мир с цензовым правительством? Не прав ли Совет, когда его представители утверждают, что не мирные выступления угрожают фронту, обороне, России, а угрожает им именно отказ от мира и затягивание войны ради каких-то непонятных и чуждых целей? Не прав ли Совет в о б щ е ?

С другой стороны, в начале апреля газеты обошло известие о том, что соединенное заседание центрального комитета и парламентской фракции германской социалдемократической партии единогласно «присоединилось» к советской резолюции о войне и мире (принятой на Всеросс. Совецании): к германцам же присоединились и австрийцы... Наша левая пресса подхватила эти факты, видя в них обязательство борьбы за мир даже со стороны правых социалистов вражеских стран. Это также лило воду на мельницу пропаганды в пользу внутренней борьбы за мир в России.

Далее — в глазах самых широких масс выяснялся крах нашего народного хозяйства под влиянием

войны. Угрожающие известия о продовольствии не сходили со столбцов газет. О разрухе стали говорить все больше. Насчет положения российских финансов Терещенко только что сделал самые красноречивые публичные сообщения. Оказывается, наш государственный долг приближается к 40 миллиардам рублей. Оказывается, по окончании войны нам придется платить одних процентов 2½ миллиарда ежегодно. А ежедневный расход на войну составляет 54 миллиона рублей... Из каких же средств оплачивается и будет оплачиваться эта война? На чьи плечи ложится и ляжет впредь это бремя? Ведь это бездонная бочка и явное разорение для всего народа. Может быть, на все это согласны те, кто на войне, на народном бедствии наживает себе состояние, или те, кто знает, что результаты войны окупят все жертвы и затраты... Но народные и широко-обывательские массы этого отнюдь не знают, глубоко в этом сомневаются и все более подозрительно склонны смотреть на тех, кто вопит о новых бесконечных жертвах и о войне до какого-то «конца». Не правы ли советские люди?..

* * *

Все эти факторы, все эти «объективные предпосылки» — чрезвычайно помогли Совету в деле «завоевания» солдатских масс на важнейшем центральном «фронте»: отношения к войне и миру. На фоне, на основе всего сказанного была неминуема победа Совета над империалистской буржуазией в решающей схватке за армию и реальную силу в государстве.

Непосредственно же с солдатскими массами дело обстояло так. Немедленно после советского съезда, когда армия стала проявлять особое тяготение и усиленный «интерес» к Совету, Исп. Комитет, с своей стороны, усиленно пошел ей навстречу. Пропаганда среди петербургского гарнизона шла своим чередом: она теперь сильно облегчалась окончательно установленной (теоретически) советской «платформой» в деле войны и мира. Но специальные заботы посвятил Исп. Комитет действующей армии и ее провинциальным частям.

С 5-го апреля в Таврическом дворце, согласно постановлению Исп. Комитета, регулярно происходили собеседования с приезжавшими в огромном числе представителями воинских частей фронта и тыла. Это был уже не кустарный (вышеописанный) способ приема делегаций, а большие собрания, происходившие в «белом зале». Было постановлено образовать при Исп. Комитете особое бюро для таких «собеседований» и для организационных сношений с военными делегатами. Заседания происходили через день в течение всего апреля. И, понятно, они явились могучим фактором пропаганды.

О характере военных собеседований, а также и об их результатах можно судить по заседанию 7-го апреля. Оно было посвящено вопросу о «допустимости использования армии в политической борьбе». После продолжительных прений собрание приняло следующую резолюцию, бившую, несомненно, в самый центр вопроса и очень хорошо освещавшую то положение армии, которое вновь складывалось в революционной России.

«Новый режим, — говорилось в резолюции, — превратил нашего солдата и офицера в свободных граждан, предо-

ставив им свободу вступать в любые политические партии и союзы; поэтому следует признать, что обязанность военных чинов подчиняться распоряжениям своего начальства, обязанность, вытекающая из общего понятия и принятия специальной военной присяги, не может распространяться на те случаи, когда военное начальство, пользуясь своей военной властью, принуждало бы солдат или офицеров к политическим поступкам, не согласным с их гражданскими убеждениями. Но это положение не устраняет возможности того, что группа солдат или офицеров, воинские части или вся армия, добровольно примкнувшие к определенному политическому союзу, в период революции выступают на поддержку одной из борющихся сторон. Громадное большинство солдат нашей армии и значительная часть демократически настроенного офицерства своими политическими руководителями признали советы раб. и солд. депутатов. Политический авторитет такого союза армии и демократии настолько велик, что пока этот союз существует и пока большинство организованных солдат оказывает свою организованную поддержку советам раб. и солд. деп. — каждый конфликт будет разрешен мирным путем в сторону решения советов. Таким образом, поддержка большинством солдатских организаций советов раб. и солд. деп. является наилучшей гарантией против возможности вооруженных столкновений одной части граждан с другой».

Нельзя не признать этой резолюции высоко значительной. В ней великолепно отразилось основное содержание революционного процесса в данный период времени; в ней превосходно ухвачены — как факт закрепления армии за Советом, так и все огромное значение этого факта для судеб революции. . .

Резолюция эта была принята подавляющим большинством голосов. Если бы эту резолюцию сознательно приняла таким же большинством вся армия, — то величайшая победа демократии, невиданная в истории, могла считаться достигнутой. В самом деле, — за демократией здесь фиксируется вся пол-

нота реальной силы в государстве, такая полнота, что не только всякий конфликт с буржуазией легко разрешается в пользу трудящихся классов, но и никакое реальное, «вооруженное» противодействие считается теоретически немислимым... Да, — это и была цель советской политики, проводимой старым циммервальдским советским большинством. Это и была цель революции...

* *
* *
*

Огромное значение для завоевания армии Советом имел также армейский с'езд западного фронта, состоявшийся в Минске 7—10 апреля... Чуть ли не в день закрытия советского «Совещания», в Исп. Комитет поступило предложение избрать представителей на минский фронтовый с'езд. Принимая во внимание важность миссии и торжественность представительства, Исп. Комитет командировал в Минск своих официальных лидеров: президиум в лице Чхеидзе и Скобелева, а затем фактического лидера нового большинства, Церетели; кроме того, для специального представительства рабочих был командирован Гвоздев и, кажется, большевик рабочий Федоров, один из новых членов Исп. Комитета.

Но, разумеется, дело не обошлось и без представителей думско-правительственных сфер, которые, с своей стороны, также не могли оставить этот первый армейский с'езд без своего просвещенного внимания. В Минск поспешили выехать гг. Родзянко, Родичев и Масленников, привычные ораторы перед столичными полками, манифестировавшими в Таврическом дворце. Увы! это была с их стороны последняя и при том неудачная попытка публичного со-

стязания с советскими людьми перед лицом солдатских масс.

Фронтальный съезд в Минске приковал к себе всеобщее усиленное внимание. Он на самом деле знаменовал собой финал решающей борьбы за армию между Советом и буржуазией. И он окончательно показал, что карта буржуазии бита... Весь Минск был поднят съездом на ноги. Несмотря на непрерывные дожди, в городе целую неделю царило чрезвычайное возбуждение. Толпы людей собирались перед городским театром, где заседал съезд, перед вокзалом, где происходили встречи именитых гостей, и на улицах, где шли непрерывные митинги с участием столичных делегатов...

Участников съезда набралось далеко за тысячу, и театр был переполнен. Огромное число делегатов прибыло прямо из окопов. Характер же и «направление» съезда определились сразу... Думских людей, конечно, шумно приветствовали — и на вокзале, и на улицах, и в театре. Все трое произнесли речи в духе тех, с какими они обращались к манифестировавшим полкам петербургского гарнизона; аудитория, по словам газет, восторженно рукоплескала революционно-патриотическим фразам Родичева и Родзянки; но этим и ограничилось все участие в работах съезда и все влияние в недрах армии — наших демосфенов от плутократии.

С первого же момента и до конца — съездом всецело овладели советские люди, советские настроения и лозунги, вся вообще советская атмосфера... Если «горячо принимали» правительственно-думских людей, то пребывание в недрах армии советских лидеров было сплошным триумфом. Правда, горячие приемы и триумфы именитых людей

во всяком широко-массовом собрании стоят, вообще говоря, очень не дорого. Но и не в них было дело.

Председателем с'езда был избран глава минского совета Позерн, небезызвестный большевик. Избран он был, впрочем, не в качестве большевика, и перед избранием он отрекомендовался как социал-демократ, стоящий на платформе советского «Совещания». Единственным же конкурентом Позерна, бывшего вместе с тем и докладчиком по вопросу о Врем. Правительстве, был с.р. Сороколетов, явившийся на с'езд «прямо с наблюдательной вышки, из траншей»...

Программа работ также была советской, почти повторяя собой повестку только что закончившегося советского с'езда. Мало того: делегаты нашего Исп. Комитета явились активнейшими участниками, главными ораторами по всем пунктам программы и докладчиками по целому ряду вопросов.

И, наконец, резолюциями с'езда по всем политическим вопросам послужили именно резолюции советского «Совещания». Они были приняты подавляющим большинством голосов без всяких поправок и дополнений (напр., резолюция о войне, хорошо нам известная, была принята 610 голосами против 8 при 46 воздержавшихся)... Выступления справа, со стороны офицеров — были совершенно аналогичны тем, с какими мы уже встречались опять-таки на мартовском советском с'езде; но, как и там, эти выступления были поддержаны незначительным меньшинством несознательных или буржуазных элементов.

Вообще минский фронтный с'езд представлял собой наглядную картину перевода армии на «точку

зрения» Совета. Это был, правда, съезд только одного фронта. Но можно ли было теперь сомневаться, что вся действующая армия займет те же позиции и пойдет за Советом — и по отношению к войне, и по отношению к цензовой власти. Минский фронтальный съезд знаменовал собой радикальный перелом всей революционной конъюнктуры и завершение советской победы над армией... Победа была решительная и для многих неожиданная. Церетели, вернувшись из Минска, с оттенком удивления рассказывал мне о советских успехах на съезде. Но, в сущности, это была только неожиданно яркая демонстрация совершенно естественного и неизбежного процесса, который явился результатом всей обстановки революции и первоначально данного толчка.

* *
* *

Надо, впрочем, сказать, что в создании внутренней, идейной, настоящей спайки с Советом — действующая, вкусившая смерти, армия опережала тыловые части. Советская программа мира воспринималась легче в окопах, чем в тылу. С другой стороны, буржуазная шовинистская агитация в окопах давала знать себя гораздо меньше, чем в тыловых центрах. И еще в марте можно было заметить, что фронтовики представляют собой среду меньшего сопротивления демократическим идеям, чем петербургский гарнизон.

Столичные полки были послушны Совету, как «своей собственной» организации, «постольку — поскольку» она... не покушалась на их старые, от царя унаследованные представления о войне и обо-

роне, о родине и немце. Окопный же массовик, изнемогающий под непосредственным гнетом войны, естественно, первый начал тяготеть к Совету и ценить его именно постольку, поскольку он дал рациональное оправдание протесту против войны и поставил на своем знамени борьбу за мир...

Внутренний контакт, действительное «завоевание» началось, пожалуй, именно с действующей армии. Но в начале апреля, под влиянием всей совокупности вышеописанных факторов, окопников стал понемногу догонять и петербургский гарнизон. Первые ласточки перелома, отказа от милюковских лозунгов, стали появляться уже в самых последних числах марта. Так, 31-го марта, на митинге в Финляндском полку, офицеры и солдаты запасного батальона, с участием делегатов действующего полка, после речей представителей некоторых петербургских заводов, приняли такую резолюцию: «мы... приветствуем Пет. Совет Р. и С. Д. за его настойчивые стремления к прекращению мировой бойни на основе мира без захвата и контрибуций, на основе свободного устройства жизни народов всех воюющих государств; мы настаиваем, чтобы Вр. Правительство немедленно приступило к переговорам с союзниками о готовности заключить мир на основе отказа от завоеваний и об опубликовании, по возможности, всех тайных договоров; вместе с тем, что, пока будут вестись мирные переговоры, армия должна быть во всеоружии от посягательств врага извне, а рабочие, фабриканты и весь тыл должны помогать ей всем необходимым впредь до заключения мира; мы протестуем против буржуазной прессы (перечислено 9 газет), поднявшей травлю на товарищей рабочих» и т. д.

Эта ранняя ласточка, судя по газетам того времени, еще не сделала весны. Но после советского Всеросс. Совещания, в период минского с'езда, левые газеты уже начинают пестреть резолюциями тыловых частей о мире без аннексий и контрибуций, о присоединении к манифесту 14-го марта или к резолюции Совещания о войне. Каждая из таких резолюций, повторяя только что приведенную, в той или иной части, непременно цитирует какой-либо из советских документов и тем демонстрирует свое происхождение из советских источников. Иногда же резолюции о войне и Совете снабжаются такого рода содержательными приписками (резол. 172 зап. пехотного полка): «армия и население должны подчиняться только распоряжениям Совета Р. и С. Д.; тем из распоряжений Вр. Правительства, которые идут вразрез с решениями Совета, подчиняться не следует»... Это как будто свидетельствует о том, что эпоха фактического «двоевластия» начинает определенно сменяться фактической полнотой власти Совета.

В половине апреля мирная советская программа уже была окончательно «привита» петербургскому гарнизону. Едва ли не во всех полках — не только повторялись мирные, еще недавно чуждые и одиночные лозунги, но принимались после всестороннего обсуждения «развернутые» формулы, мотивированные резолюции о войне, о власти и по другим основным вопросам общей и специальной советской политики.

В течение нескольких дней, начиная с 13—14 апреля, целый ряд полков обошла крайне содержательная резолюция, первоначально принятая, кажется, в 1-м пулеметном (впоследствии большевистском)

полку. Присоединяясь к манифесту 14-го марта и всем дальнейшим советским шагам в пользу мира, эта резолюция требует от Вр. Правительства приступа к мирным переговорам; затем, указывая на право свободного солдата знать, за что он сражается, резолюция настаивает на опубликовании тайных договоров, требует восстановления Интернационала, пред'являет запрос Совету насчет его отношения к «займу свободы», приветствует 8-мичасовой рабочий день и, высказываясь против самочинных земельных захватов, требует немедленного издания закона о воспрещении сделок на землю... Кроме широкого охвата «текущего момента» (по советской программе) здесь интересна, в частности, широко разветвленная формулировка международной программы Совета, усвояемой ныне солдатскими низами.

К первомайскому смотру революционных сил (18 апр.) кампанию можно считать законченной. И на фронте, и в провинциальном тылу, и в петербургском гарнизоне недавние лозунги: «война до конца», «долой германский милитаризм», «рабочие к станкам» и т. под., — были без остатка вытеснены требованиями «мира без аннексий», «приступа к мирным переговорам», «прекращения травли товарищей рабочих». Демонстрации «патриотизма» перед Советом и против Совета были заменены демонстрациями солидарности с советской мирной программой и готовности армии бороться за нее вместе с пролетариатом.

Этим создавалась окончательная внутренняя спайка между Советом и солдатскими массами. Отныне армия не была «лояльна» Совету «поскольку-постольку», не была формально «зачислена» за «своим

собственным» Советом, на деле будучи распыленной, способной в конфликте занять нейтральное положение или перекинуться на сторону классовых врагов демократии. Отныне это была сознательная союзница, верная опора Совета, руководимого социалистами. Это был надежный аппарат, это была реальная власть в руках Совета, которая обеспечивала ему успех в революционной классовой борьбе и в проведении социалистической политики.

* * *

В это время военные власти, вынужденные к уступкам, наконец, санкционировали давно существовавшие одиозные армейские комитеты; и ген. Алексеев 30-го марта разослал по телеграфу во все армии «временное положение об организации чинов действующей армии и флота». В основу этого «положения» лег проект севастопольской военной организации, принятый в черноморском флоте, разработанный при ближайшем участии либерального адмирала Колчака, будущего сибирского «верховного правителя». С некоторыми изменениями этот проект был утвержден Гучковым и упоминавшейся ранее комиссией ген. Поливанова. Выборные ячейки в ротах, полках, дивизиях и армиях, согласно официальному «положению», разумеется, должны были обслуживать лишь «внутренний быт армии»: «служить посредниками между командирами и солдатами в вопросах внутреннего быта, улаживать всякие недоразумения, поддерживать дисциплину, бороться с дезертирством, провокацией и нарушениями правил приличия, вести очередь отпусков, сле-

доть за правильностью употребления ротных денег и вещевого довольствия, ведать дело просвещения»...

Никакие вопросы военно-стратегического свойства, конечно, не были подведомственны армейским комитетам. На эту несомненную компетенцию военных властей никто, естественно, и не покушался. Здесь и Совет, и сами комитеты, поскольку они состояли из сознательных элементов, были вполне солидарны с новым «положением» и с военными властями.

Но дело в том, что армейские комитеты давным давно возникли и везде существовали безо всякой предварительной санкции военного начальства, безо всякого «положения» и «регулирования» сверху; и при таких условиях они сильно расширили объем «подведомственных» вопросов. А именно — армейские организации широко занимались политикой и в значительной степени составлялись именно по политическим признакам. Так было и до, и после официального положения.

Армейские комитеты являлись инициаторами или проводниками всякого рода резолюций, делегаций, представлений — по вопросам, далеко выходящим за пределы «внутреннего быта» той или иной воинской части. Словом, армейские комитеты формировали и воплощали «общественное мнение» армии.

Но этого мало, и это не главное. Главное же заключалось в том, что они, после создания внутреннего неразрывного контакта с Советом, явились органами этой чисто политической организации, — органами, призванными неукоснительно и точно выполнять директивы Таврического двorca...

В Исп. Комитет непрерывным потоком поступали всякого рода «волеизъявления» армейских комитетов

по вопросам общей политики: то о «дальнейших шагах в пользу мира», то о выводе из Петербурга маршевых рот, то о настоятельной необходимости («в виду полученных достоверных сведений об угрожающей опасности») перевести Николая Романова из царскосельского дворца в Петропавловскую крепость. На это не рассчитывали авторы официального «положения». Но это имело меньшее значение сравнительно с тем фактом, что эти, ныне поневоле легализованные армейские комитеты явились живой и прочной организационной связью между армией и ненавистным Советом.

Мы, правда, и раньше, во второй половине марта, еще до обозначившегося перелома в настроении войск — встретились с постановлением войсковых комитетов петербургского гарнизона: признать себя органами Совета Р. и С. Д. Конечно, это постановление, вынесенное в разгар битвы за армию, имело очень большое значение. Но все же это было не более, как резолюцией солдатских культурных верхов. Эта резолюция на деле могла остаться клочком бумаги: ведь солдатские низы в те же дни, по много тысяч ежедневно, требовали войны до конца и кричали «ура» Родзянке.

Только теперь, когда была одержана идейная победа, подобная резолюция возымела реальное значение. И теперь, на единой идейной почве, сеть армейских организаций, действительно, превратила миллионы серых шинелей, вооруженных рабочих и крестьян, в послушное орудие Совета.

Установлению этой организационной связи на идейной основе способствовало и еще одно обстоятельство. 10-го апреля, на «собеседовании» с фронтовиками в «белом зале» была вынесена резолюция,

категорически требующая посылки на фронт постоянных комиссаров Совета — по одному на армию. Окопные делегаты констатировали, что в действующей армии все еще продолжается острая распря между солдатами и командным составом. Без авторитетного, непререкаемого «регулирования» взаимоотношений жизнь в окопах, по их признанию, была невыносимой. Без советских комиссаров делегаты отказывались возвращаться к своим частям...

В распоряжении Иси. Комитета, конечно, было недостаточно подходящих людей, а для проникновения в недра действующей армии военные власти, понятно, ставили препятствия; на этот счет только что были изданы новые специальные приказы. Но, по мере возможности, это требование окопников было удовлетворено. И этим была создана непосредственная агентура Совета на фронте.

Вместе с идейной и организационной спайкой делала свое дело «сила привычки», росла популярность, и продолжал закрепляться чисто моральный авторитет Совета, как «собственной» организации и прибежища в тяготах жизни. Какой бы то ни было агитации, — будь она рассчитана на высокое гражданское сознание, или на неумирающие стадные инстинкты, — теперь уже стало не под силу противостоять этому тяготению масс к Совету...

А. Ф. Керенский, в самый разгар агитации в пользу «займа свободы», к которой были привлечены все буржуазные группы, учреждения, отдельные лица, до святейшего синода включительно, — имел случай убедиться в этой все растущей моральной тяге, ставшей превыше «патриотизма» и векового авторитета имущих классов... «Товарищ председателя Совета», вероятно, был несколько удивлен, а

может быть и шокирован, когда среди оглушительных призывов отдать «займу свободы» все деньги, золото и серебро, ордена и медали, жен и детей — к нему явилась депутация от 1-го сибирского инженерного полка и передала ему ящик с медалями, орденами и металлическими деньгами, принадлежавшими чинам этого полка — «с просьбой продать медали и ордена, а вырученные деньги передать в фонд Совета Р. и С. Д. на борьбу за закрепление свободы и установление демократической республики» («Речь» от 12 апр.)...

Не менее показательное такое же выступление казаков. Второй Полтавский полк, укомплектованный из кубанских казаков (1), «передал министру юстиции месячное жалованье всех как нижних, так и офицерских чинов полка для передачи в Совет Р. и С. Д. — на цели революции» (там же)...

* * *

Армия была «завоевана». Кампания была кончена. Не отдавая себе отчета во всем значении этого факта, буржуазия все же признавала самый факт: она признавала борьбу проигранной и дальнейшую кампанию на данной почве — бесцельной...

Кончились (с первых чисел апреля) манифестации полков с противосоветскими лозунгами. В Таврическом дворце не слышно стало громовой марсельезы, — так как более чем сомнительно было теперь «ура» Родзянке. Газетные столбцы освободились от бремени бесконечных резолюций о «двоевластии», о губительном вмешательстве Совета в дела государства, о верности правительству и его лозунгам «войны

до конца». Теперь уже сравнительно не часто можно было натолкнуться на подобную резолюцию; а прежние рубрики и отделы, посвященные «двоевластию», и совсем исчезли — навсегда.

Освободились и министерские приемные от массовых делегаций, долженствующих продемонстрировать готовность всего населения с радостью умереть, в пику презренному Совету, за Вр. Правительство, за разгром прусского милитаризма, за «освобождение» Армении и Дарданелл... Если все это не исчезло окончательно, то резко пошло на убыль и превратилось из действующей системы в запоздавшие отделные случаи.

* * *

А кроме того — качественно выродились все эти устные и письменные «представления» Вр. Правительству: когда мы будем иметь случай привести их в новой редакции, то нас не удивит, что эти «представления» ныне уже не столько радовали, сколько заставляли морщиться министров-цензурщиков.

Положение дел радикально изменилось. И его сущность, быть может, лучше всего выразил не кто иной, как французский гость, М. Кашен. Когда он объездил революционные центры, а затем действующую армию и со всей тщательностью изучил нашу революционную конъюнктуру, то, вернувшись на родину, в докладе о своей поездке, он отлично ответил тем, кто рвал, метал и недоумевал в прекрасной Франции — почему до сих пор не разгонят банды рабочих и солдат, засевших в Таврическом дворце под именем Совета и воображающих себя

чуть ли не российским правительством. Кашен ответил:

— Милостивые государи, десять миллионов штыков русской армии находятся в полном распоряжении Совета.

Да! Второго марта, когда Гучков, Милюков и Керенский получили власть из рук народа, — демократия, сплоченная в Совете, была хозяином положения — поскольку вся наличная реальная сила была на ее стороне, а цензовики не располагали никакой реальной опорой. Но дело в том, что государственной власти тогда вообще не было; реальная сила в чьих бы то ни было руках была вообще совершенно ничтожна; действительная реальная сила государства, армия, была политически мертва, распылена и нейтральна; политический же вес цензовиков, единственной «организованной общественности», был огромен. И потому «хозяин положения» 2-го марта был хозяином весьма относительно.

Совет был хозяином положения только в том смысле, что перед ним был свободный выбор, перед ним была полная возможность взять в свои руки политическую власть и погибнуть от непосильного бремени, или же — путем уступки власти создать для себя условия борьбы и победы. Передавая власть цензовикам 2-го марта, Совет — как я писал в первой книге — создавал для себя благоприятные (равные) условия поединка. Вручая власть первому революционному кабинету, Совет еще только шел в битву — за армию и реальную власть в государстве.

И вот теперь, к 17-му апреля, через полтора месяца, он выиграл эту битву и стал хозяином поло-

жения уже в ином смысле и в иных пределах. Теперь в руках Совета была крепко организованная, духовно спаянная армия; теперь десять миллионов штыков были послушным орудием Совета; а с ними — в его руках была вся полнота реальной государственной власти и вся судьба революции.

Теперь Совет был хозяином положения в том смысле, что он всецело и нераздельно располагал силами вести армию, вести государственную власть, вести революцию туда, куда пожелает...

* * *

Возникают вопросы. Прежде всего, было ли это настоящее «завоевание», действительное приведение к покорности Совету солдатских масс? Быть может, дело в том, что не столько массы пошли за Советом, сколько Совет пошел за массами? Быть может, дело в том, что он далеко пошел навстречу солдату, сделал ему принципиальные уступки в вопросе о войне и «победил» его не на своей советской почве, а создал контакт с ним на почве компромисса.

Выше была речь о том, что новое советское большинство действительно взяло курс ликвидации циммервальда, пошло по линии компромисса с буржуазией, по линии капитуляции именно в вопросе о войне. И я говорил: если «победа» над солдатом достигнута в таком порядке, то эта «победа» ничего не стоит. Такая победа, конечно, ни в какой мере не означает полноты власти демократии над судьбой революции. Если мужика-солдата по-прежнему идейно ведет на поводу буржуазия, а

Совет, стремясь слиться с солдатом-мужиком, сдает ему свои позиции, — то это не победа, а трясина. Тут Совет не поведет революцию, куда пожелает; тут нет речи об его реальной силе и власти: тут солдат-мужик ведет и, конечно, поведет впредь Совет — только туда, куда пожелает буржуазия.

Если бы дело обстояло так, то все предыдущее было бы печальным недоразумением, наивным заблуждением автора субъективных записок... Однако, я категорически отрицаю здесь всякую возможность недоразумения и пагубного влияния моего субъективизма. Нет, — победа Совета над армией была действительной, и завоеванная им полнота власти была реальной.

Правда, невозможно и ненужно отрицать, что компромиссные позиции и смягченные формулы нового советского большинства облегчили внутренний первоначальный толчок солдата-массовика к Совету. До известной степени именно потому солдат пошел к Совету, что советские люди усиленно заговорили приятные для него, усвоенные им от буржуазии слова. Но все же это совершенные пустяки, это не более как внешность, ни в малейшей степени не отразившаяся на существе дела.

Во-первых, с чем выступало перед массами в этот период новое советское большинство? Что нового могли слышать от Совета солдатские массы со времени вступления Совета на путь оппортунизма и соглашательства? Они могли слышать муссирование «боеспособности армии» и «работы на оборону» — наряду с затушевыванием «борьбы за мир». Больше ничего.

Конечно, внутри советских сфер, в Исп. Комитете новый курс мог определяться этим с полной от-

четливостью. Но для вне стоящих масс тут решительно не было ничего нового. Как и раньше, смотря по партийности, советские ораторы уклонялись то в одну, то в другую сторону. Принципиально же советская «линия» и раньше, при циммервальдском большинстве, состояла из двуединой формулы — борьбы за мир и вооруженной защиты революции. И раньше каждый левый оратор говорил перед солдатом о работе на армию — из тактических соображений. Это был не компромисс, а пропаганда по линиям меньшего сопротивления, — как не были компромиссом, а были лишь проявлением такта со стороны петербургских рабочих протесты против обвинений в бездельи и их обещания напрячь все силы для «работы на оборону» ради безопасности «братьев-солдат» в окопах. Во-вторых, никаких новых компромиссных слов и не могли слышать солдатские массы от нового советского большинства. Ибо официально, формально его позиция доселе не покидала почвы циммервальда. Все его официальные документы, его резолюции о войне и правительстве, принятые как на советском Совещании, так и на фронтовом съезде в Минске, сохраняют в себе одиозные элементы внутренней борьбы за мир. Когда же Совет окончательно покинул почву циммервальда, тогда завоевание армии уже было совершившимся фактом...

В-третьих, ведь мы же видели воочию на предыдущих страницах, что «борьба за мир» была необходимым элементом всей агитации этих недель. «Борьба за мир» была в каждой из приведенных выше солдатских резолюций. И все время речь о победе над армией шла именно постольку, поскольку солдаты присоединялись к старому циммервальд-

скому лозунгу борьбы за мир. Именно это и было критерием победы в предыдущем изложении.

В-четвертых, мы видели, что солдатское движение в пользу мира в значительной степени обгоняло Совет; оно иногда уже шло дальше того, на чем его, согласно своим действительным позициям, должно было бы остановить новое советское большинство. В иных полковых резолюциях, принятых под влиянием партийной работы, «борьба за мир», как мы видели, явно превалирует над «вооруженной защитой» и даже разворачивается в такие требования, как опубликование тайных договоров, — требование очень страшное для нового советского большинства. Настояния на «дальнейших шагах» правительства в пользу мира также сплошь и рядом встречаются в солдатских резолюциях; а эта настойчивость ныне также уже не особенно «соответствовала линии Совета»...

Наконец, в-пятых, мы в дальнейшем и даже в очень близком будущем столкнемся с самыми непреклонными доказательствами того, что победа Совета над армией была одержана на надлежащей, на демократической, на циммервальдской почве... Победа была реальной. Она дала Совету «всю власть» вести революцию по тем путям, какие изберет Совет по своему разумению.

Но возникает и следующий вопрос. Куда же Совет фактически повел армию и революцию? Не будет ли правильно понимать дело так: если Совет повел армию и революцию по своим особым путям, повел их в сторону от буржуазии, повел их против нее, то ясно, что власть над армией и революцией была действительно в его руках, и все предыдущие рассуждения верны и основательны. Если

же Совет фактически капитулировал перед плутократией, если он повел армию и революцию по путям, предуказанным врагами революции, если он повел революцию не к конечной победе, а к гибели — то не правильно ли понимать дело так, что никакой реальной власти у Совета и не было? Если Совет завел революцию в трясины и поставил ее на край пропасти, — то не значит ли это, что предыдущие рассуждения всетаки вздорны, несмотря ни на что? Не доказывает ли самый факт краха февральской революции, что в руках Совета не было реальной власти в государстве?

О, несомненно: среди будущих историков, как и среди разных апологетов нового советского большинства, найдется тьма охотников представить дело именно в таком виде. В крахе революции окажутся виновны или злонамеренные большевики или сила буржуазии, заставившая советскую демократию проиграть честную битву с ней на арене революции. Несомненно, десятки писателей будут представлять дело в таком виде, будто бы социалистическому Совету не удалось сломить силы буржуазии и «выиграть» революцию — несмотря на правильную социалистическую политику.

Такое толкование революции так же далеко от истины, как мелко-буржуазный оппортунизм далек от классовой, пролетарской, истинно-социалистической политики. Конечно, верно то, что силы буржуазии задавили революцию 1917 года. Но борьба происходила не между Советом и буржуазией, а происходила в течение всех будущих месяцев — внутри Совета: она происходила между пролетарским меньшинством и мелко-буржуазным большинством, объединенным с плутократией и рас-

полагавшим как армией, так и полнотой реальной власти. Обо всем этом мы будем трактовать в дальнейших главах и в следующих книгах. Вопросы о том, куда и почему повел Совет революцию — мы здесь не решаем.

Я только предостерегаю вновь от неправильной постановки этого вопроса, как я предостерегал от нее в начале этой главы. Дальнейшее удушение революции отнюдь не может служить доказательством, что плутократия не была сломлена к половине апреля и что Совет не завоевал, не имел в своих руках всей полноты реальной силы в государстве. Между крахом революции и полнотой власти Совета — не существует ни логического, ни фактического противоречия.

Куда повел Совет армию и революцию, — на этот вопрос я посильно отвечаю в дальнейшем. Сейчас я констатирую: Совет отныне мог повести их куда бы ни пожелал. Он мог повести их вперед, к победе революции. Мог повести назад, в объятия буржуазии, в пучину реакции, к буржуазной диктатуре. Мог повести не только к таким целям, которые обуславливались, оправдывались «объективными предпосылками», но мог повести и к совершенно утопическим фантастическим целям. Сейчас это не важно. Сейчас важен только факт: армия была отныне послушным орудием Совета, реальная власть была в его руках, и Совет мог вести революцию, куда ему было угодно.

* * *

Само собой разумеется, что, проиграв кампанию, буржуазия далеко не сложила оружия. С образова-

нием нового советского большинства у нее появилось не мало новых шансов и светлых надежд. Но нельзя только рассчитывать на шансы и питаться надеждами. Надо работать и самой.

Прежде всего, в противовес с'езду «солдатских депутатов», а также и минскому фронтовому с'езду, «захваченному» советскими людьми, — Гучков сделал попытку срочно организовать свой собственный военный с'езд в Москве. Это была вполне основательная попытка воскресить в новом, неожиданном виде всем известную «зубатовщину». Это была попытка, диктуемая совершенно правильным пониманием сложившейся ситуации. В этой попытке Гучкову взялся оказать энергичное содействие «совет офицерских депутатов», по крайней мере, некоторые члены этой почтенной организации. Но тем не менее из этой попытки ничего не вышло. Исп. Комитет принял меры и широко оповестил об этом проекте фальсификации «военного» мнения. В виду только что закончившегося Всерос. Сопещения Советов Р. и Солдатских Депутатов, в виду начавшихся фронтовых с'ездов, в виду предстоящего в конце мая нового с'езда Советов Р. и С. Д., — Исп. Комитет признал, с своей стороны, излишним московский с'езд и предлагал так же отнестись к нему и всем армейским организациям. На минском фронтовом с'езде, ставшем в центре внимания всей тыловой и действующей армии, была также принята резолюция в этом смысле. Гучковский с'езд так и не состоялся. Попытка не удалась.

Начались новые кампании в печати. Я уже не говорю о том, что они были теперь не опасны. Но теперь они уже и не били в самый центр, а ходили вокруг да около. Лобовая атака — после того, как

массы окончательно «закреплены» за Советом и оторвать их уже нельзя — конечно, не имеет смысла. Но продолжать «набрасывать тень», заходя с разных концов, отыскивая слабые места, выдавая эксцессы за норму, часть за целое, — это все еще может иметь кое-какие результаты, и оставлять этого нельзя.

Прежде всего «большая пресса» обратила свое просвещенное внимание на вопрос о сепаратном мире. Эту тему в своих устных и печатных выступлениях буржуазия, собственно, не оставляла до конца, в течение всех этих месяцев; но начало ее «разработки» было положено именно в первой половине апреля.

7-го числа в Исп. Комитет поступил телеграфный запрос (единственного) американского парламентского социалиста Мейера: он беспокоился, «правда ли, что русские социалисты благоприятствуют сепаратному миру с Германией», и указывал на страшные последствия такого мира, буде он состоится. Чкеидзе с большим достоинством ответил от имени Совета, что всякому доступны официальные документы, где российская демократия выясняет свое отношение к войне и миру (манифест 14 марта, резолюции Соединения) и где сказано с достаточной ясностью, какого мира желают российские социалисты.

Но за границей продолжали «беспокоиться»: в Керенскому с таким же запросом обращалась уже группа русско-американских социалистов, убеждавших Совет в том, что сепаратный мир был бы губелен для мирового социалистического движения. Керенский также поспешил успокоить этих русско-американских интернационалистов, трепещущих за

судьбу Интернационала, но видимо слишком занятых, чтобы читать документы русской революции.

Наконец, группа разных лиц, опять же из Америки, обратилась с тем же роковым вопросом — уже к Милюкову. И министр иностранных дел, с своей стороны, убеждал не тревожиться понапрасну, ибо в России не существует политической партии, которая не отвергала бы сепаратного мира с кликою Вильгельма.

Так то оно так, но все же — нельзя не беспокоиться. И орган Милюкова, в одной из статей на эту тему, объяснил, почему именно патриотическая тревога не может не охватывать благонамеренных сердец. В самом деле

«Совет начал с призыва свергнуть иго Вильгельма... Но, не дождавшись реальных последствий, он тем не менее сделал шаг дальше, и теперь он упорно выдвигает идею о необходимости давления со стороны России на правительства Англии и Франции, чтобы добиться от них пересмотра заявленных союзниками условий мира... Именно здесь лежит корень сомнений и недоразумений, смущающих наших союзников и поднимающих дух наших врагов. Само собой создается впечатление, что революционная демократия России стремится к миру во что бы то ни стало и не останавливается перед самыми рискованными международными экспериментами. Не даром «Hamburger Nachrichten» пишет: русский народ хочет мира и может вынудить мир, — пусть только он не останавливается перед сепаратным миром. В этом положении вещей, — резюмирует кадетский центральный орган, — кроется трагическая опасность для дела русской свободы. Ничто не может так скомпрометировать революционную демократию России, как создаваемое недобрыми шагами ее вождей впечатление, будто она работает pour le roi de Prusse» («Речь» от 9 апреля).

Это типичный образец тонких и корректных рассуждений, а вместе с тем блестящих силлогизмов газеты, обязанной соблюдать свое достоинство. Ва-

риации во всей прессе — ежедневны, но... не вся пресса обязана думать больше о своем достоинстве, чем о «рискованных экспериментах» с истиной ради благодетельного оплевания классового врага.

Мы уже знаем, как алкала и жаждала тогда правящая Германия сепаратного мира с Россией. И не только канцлер и официальные власти, но и правительствующие социалисты, Шейдеман с его Vogwärtis'ом, мечтали вслух о сепаратном мире, быть может, льстя себя надеждой на Совет... Ежедневно ставя в пример трезвость и патриотизм Шейдемана русским «Маниловым из Исп. Комитета», — буржуазная пресса вместе с тем без устали попрекала советских социалистов этими заявлениями вражьих социал-империалистов; она обвиняла Совет, не виноватый ни сном, ни духом, в питании этих надежд.

Именно в эти же дни социалистами нейтральных стран, голландской делегацией междунар. соц. бюро, была сделана попытка созвать конференцию в Стокгольме по вопросу о всеобщем мире. В Стокгольм уже выехал целый ряд социалистических лидеров. Предполагалось, что туда приедут делегации всех воюющих держав, при чем будут представлены и правые большинства и левые меньшинства. Но конференция собиралась туго и, как известно, в конце концов не состоялась. Социалисты Согласия отнеслись к ней более, чем равнодушно; но германские шейдемановцы, конечно, с соизволения начальства, уже отправлялись в путь.

Разумеется, вся пресса союзных стран подняла бешеную травлю против этой конференции вообще и била в этот последний пункт в особенности. Русские газеты, не довольствуясь просвещенным содействием собственных корреспондентов, достаточно по-

ливавших грязью начавшееся движение, — перепечатаывали ежедневно сотни строк из союзной прессы в доказательство того, что стокгольмская конференция есть германская ловушка прекраснородушных простецов. Наши буржуазные публицисты делали вид, что они трепещут от страха, как бы все начинание не исчерпалось интригой ужасного Шейдемана, который поймает в Стокгольме наших незрелых и мечтательных «пацифистов» на удочку сепаратного мира.

* * *

Но сепаратный мир, как боевая тема, как гвоздь кампании, конечно, оставляет желать многого. С этой темой многого не добьешься: она требует подготовки и чувства развитой гражданственности. Для посредственного воздействия на массы она не годится. И потому более, чем естественно, что буржуазно-бульварная пресса, а за нею и мещанские массы нашли для себя более благодарные темы, более «ударные» средства борьбы против советской демократии.

Началась отчаянная травля отдельных советских групп и отдельных деятелей в расчете за одной победой одержать следующую и по частям одолеть целое... Травля производилась под самыми различными соусами, сплошь и рядом принимая вполне личный характер. Выкапывались отовсюду самые неожиданные сплетни, перемывалось старое грязное белье, приводились «исторические справки» и делались всякие сопоставления — столь же злостные, сколь не имеющие ни малейшего отношения к общественному делу.

Собственно говоря, это почтенное занятие — по тону, задаваемому самыми почтенными органами — буржуазные группы так же продолжали в течение всех месяцев революции; но началось это именно с первых чисел апреля, со времени поражения буржуазии в ее основной борьбе за армию. В этой новой кампании участвовали и «демократические» органы, вроде «Дня»; и — печально вспомнить — к величайшему удовольствию печатных «тузов», особенную энергию здесь проявил плехановский листок «Единство».

Разумеется, на первых порах все внимание блестящих борцов было устремлено на левую часть Совета — на большевиков. Если не ошибаюсь, началось с провокаторов. Вслед за бывшим членом редакции «Правды», Черномазовым, был обличен в провокаторстве рабочий «большевик» Михайлов, секретарь союза печатников, непримиримо и неистово агитировавший против выхода газет. Затем вспомнили и знаменитого думского депутата Малиновского. И на столбцах газет — до самых «почтенных» — началась свистопляска «логических умозаключений», параллелей и намеков. «Крайние лозунги» вообще, а большевизм в частности — научно объяснялись, исторически выводились, теоретически ассимилировались с деятельностью, задачами, идеями охраны.

Малиновский был наймитом царской полиции. А кто определял «революционную линию большевизма в 1914 г.»? Иуда-Малиновский. А кто в мае того же года, отказываясь от надлежащего расследования, защищал Иуду, шельмовал грязными клеветниками предостерегающих и печатно уверял в «политической честности Малиновского»? Ведь это был

Ленин, это была «Правда», это был большевистский центральный комитет... Миллионы газетных номеров разносили все это ежедневно среди обывательских, рабочих, солдатских, крестьянских масс.

Затем начали «выплывать на свет Божий» всевозможные «пикантные факты» об отдельных лицах. Взялись за биографию Каменева, за семейное положение Стеклова. И долго, изо дня в день, занимались этим. Перья пишущих дышали жаждой построчных, сердца печатающих — классовой ненавистью, а читающие забыли про Макса Линдера для нового невинного удовольствия.

Но само собой разумеется, что в центре кампании стал Ленин... Он в это время был изолирован в советских сферах и только что начал входить в силу среди самих большевиков. Тут для самых «лояльных» и «демократических» газетчиков, непременно желавших соблюсти весь декорум, сохранить весь показной пиетет к демократии — тут и для них была открыта полнейшая свобода языка. И Лениным занялись без удержу, без отдыха, без стыда... Объект был действительно благодарный, и как мыши на епископа Гаттона — на него набросились сразу со всех сторон.

Преступления Ленина, как известно, начались еще до его приезда, и я уже писал, как использовала его поездку через Германию вся буржуазия от мала до велика. Агитация на этой почве разливалась широкой рекой и с большим успехом: лозунг «долой Ленина — назад в Германию» стал достоянием самых широких масс — около середины апреля. Он стал крайне популярен среди мещан, делающих «общественное мнение», и не только пошел по казармам, но и по заводам.

Я писал, что мне не удалось при встрече большевистского вождя разузнать на этот счет мнение воинских частей, встречавших и чествовавших Ленина. Но теперь, именно теперь, 14-го — 16-го апреля все газеты облетела резолюция искони революционнейших матросов балтийского флотского экипажа, бывших на вокзале в качестве почетного караула: «узнав, что г. Ленин вернулся к нам в Россию, с соизволения его величества императора германского и короля прусского, — писали матросы (sic!), — мы выражаем свое глубокое сожаление по поводу нашего участия в его торжественном въезде в Петербург. Если бы мы знали... какими путями он попал к нам, то вместо восторженных криков «ура» раздались бы наши негодующие возгласы: «долой, назад в ту страну, через которую ты к нам приехал»...

Но, конечно, дело не ограничилось «милостями Вильгельма». Ленина атаковали за прошлое, за настоящие его взгляды, за образ жизни (!) и т. д. Дворец Кшесинской, где якобы жил Ленин, стал у всех на языке. Целые столбцы всякой печати отводились «лениаде». Всевозможные организации, до советских включительно, стали «иметь суждение» о Ленине и его вредной деятельности. Солдатская Исп. Комиссия, московский солдатский совет, по зрелом обсуждении, вынесли резолюции о защите от Ленина и его пропаганды. Гимназисты в Петербурге устроили манифестацию «против Ленина» и т. д.

Все это, несомненно, достигло цели. Репутация большевистского вождя, как врага России и революции, была быстро упрочена. Но этого мало: агитация достигла цели и в том смысле, что вокруг Ленина

началось погромное движение, которое могло дать инициаторам желательные результаты. Около дома Кшесинской, где развевался великолепный флаг большевистского Центр. Комитета, стали ежедневно, особенно по вечерам, собираться огромные толпы людей. Они устраивали враждебные манифестации, агитировали, угрожали. Среди них действовали, конечно, настоящие провокаторы, повторявшие соседям на ухо все «умозаключения» газет насчет Ленина и развивавшие их дальше — насчет всяких социалистов и советских людей. Газеты писали, что Ленин раза два выходил на балкон, объяснял, «оправдывался», уверял, что «его неправильно понимают»... Возможно, что Ленин, не малому научившийся, действительно «разъяснял» свои позиции в смягченном духе.

Но дело становилось все хуже. По городу стали ходить толпы каких-то людей, бурно требовавших ареста Ленина. Это были уже «беспорядки» и вообще довольно большой, даже слишком большой успех черносотенной кампании. «Арестовать Ленина», а затем и «долой большевиков» — слышалось на каждом перекрестке. Запускать «движение», «дать волю народному негодованию» было нельзя. Надо было бороться.

Была пущена в ход широкая контр-агитация. Советские «Известия», к тому времени включившие в редакцию Дана, посвятили этому делу внушительную передовицу 17-го апреля (от которой всякому иному на месте Ленина-правителя должно было бы быть конфузно).

«Известия» горячо протестовали и против травли Ленина, и против борьбы с ним подобными мерами. Они горячо выступали в защиту свободы и достоин-

ства революции: «разве можно у нас, — писала редакция, — в свободной стране допускать мысль, что вместо открытого спора будет применено насилие к человеку, отдавшему всю жизнь на службу рабочему классу, на службу всем обиженным и угнетенным?»...

Того же 17-го апреля в Петербурге состоялась грандиозная манифестация инвалидов, которая произвела большое впечатление на обывателей... Огромное число раненых из столичных лазаретов — в повязках, безногих, безруких — двигалось по Невскому к Таврическому дворцу. Кто не мог идти, двигались в грузовых автомобилях, в линейках, на извозчиках. На знаменах были подписи: «война до конца», «полное уничтожение германского милитаризма», «наши раны требуют победы»... Лозунги, изъятые из употребления масс, нашли себе пристанище на больничных койках. Искалеченные люди, несчастные жертвы бойни ради наживы капиталистов, по указке тех же капиталистов через силу шли требовать, чтобы для тех же целей еще без конца калечили их сыновей и братьев. Это было, действительно, страшное зрелище!...

Но главное, что мобилизовало инвалидов, это был тот же Ленин. С надписями и возгласами «долой Ленина!» и т. п. — они пришли в Таврический дворец требовать ареста и высылки будущего диктатора. И в своих речах, в предъявленных требованиях они занимались главным образом Лениным... К инвалидам вышли Скобелев и Церетели. Отмежевываясь от Ленина за весь Совет, они усовещивали аудиторию и протестовали против погромных тенденций. Но успех их был не велик. Среди шума и возбуждения раздавались крики: «Ленин шпион и

провокатор!» Советских ораторов не желали слушать. Видя такую «ситуацию», желая вспомнить недавнее, но безвозвратно минувшее, — к инвалидам вышел Родзянко. Здесь он имел успех, как в былых состязаниях перед манифестировавшими полками.

В такой исключительной обстановке Родзянко дал себе волю: он говорил не только о «войне до конца», но и о том, что «теперь не должно быть никаких попыток ее прекращения»...

* *
*

Вообще же ораторам «правого крыла» теперь приходилось перед массами быть все скромнее. На «собеседования» с фронтовиками нередко приглашали министров. Но теперь они не столько агитировали, сколько отчитывались.

Около того же времени началось движение среди военнопленных, добивавшихся улучшения своего быта в революционной России. Буржуазные круги по этому поводу широко демонстрировали свое патриотическое возмущение, то-есть свой шовинизм и свою мстительность. Известно, как варварски содержались военнопленные в «цивилизованных» странах запада и в Германии, и в «великих союзных демократиях». По примеру их и революционный министр Гучков издал приказ (11-го апреля), в силу которого все лица и учреждения, ведавшие военнопленных, должны были дать отпор «их страным притязаниям, неумеренной требовательности, противоречащей самому понятию состояния плена...»

Однако, советская демократия не стала на такую точку зрения. Она выступила на защиту измученных неволей и никому неопасных жертв грабительской

войны. Она полагала, что создать для пленных человеческие условия жизни есть дело, достойное великой революции. И в этом она нашла поддержку со стороны широких солдатских масс...

Я помню, как Шингарев на одном из фронтовых «собеседований» в «белом зале» защищал гучковский приказ и протестовал против «излишней снисходительности» к пленным, упирая на давно прославленные «немецкие зверства». Казалось бы, фронтовым солдатам, непосредственным жертвам этих немецких зверств, непосредственно потерпевшим от врагов-военнопленных на полях сражений, — было естественно внять агитации «патриотов» против поблажек немцам и австриякам. Но этого не случилось. Шингарев решительно не имел успеха. Авторитет Совета был уже незыблем и легко преодолевал буржуазное давление, шовинистскую инерцию, обывательскую психологию. Собрание фронтовиков (это было числа 14-15-го) подтвердило свои требования об облегчении участи пленных и поддержало на должной высоте знамя и достоинство великой революции. •

* * *

Теперь не представляло для демократии никакой опасности все-то, что могла буржуазия — с ее вековым аппаратом духовного воздействия — измыслить и предпринять против Совета. С какого бы конца она ни начала атаку, какую бы кампанию ни открыла она, — все это теперь можно было, если не с полным основанием игнорировать, то с полным успехом рассеять и парализовать. Реальная власть демократии была завоевана окончательно.

Это, однако, меньше всего означает, что руководящие круги демократии и социализма почтили на лаврах. Во-первых, победа была далеко не осознана. Во-вторых, всякому было ясно, что она не только не завершает, но именно **начинает собой** дело настоящего социалистического просвещения масс. Именно теперь, когда солдат был «завоеван», когда он начал верить людям из Совета, когда стал открыт свободный доступ к его сознанию, — именно теперь была на очереди усиленная атака мужицко-солдатских мозгов. Именно теперь началась особенно интенсивная деятельность социалистических партий, стремящихся закрепить за собой массы и просвещавших их каждая на свой лад.

Партийная дифференциация и конкуренция удваивали энергию и втягивали в политику все более и более широкие массы. Но все это укрепляло общую советскую платформу, поскольку она еще существовала: пробуждавшаяся мысль каждого массовика вращалась только в пределах «советских» идей и становилась совершенно недоступной для внешнего буржуазного влияния.

Как грибы росли партийные клубы, которые посещались тысячами рабочих и солдат. «Братанье» двух этих советских отрядов революционной демократии продолжалось и увенчалось незабвенным первомайским праздником семнадцатого года. А до праздника эти два отряда обменялись такими знаменательными и трогательными доказательствами окрепшего союза.

5-го или 6-го числа Исп. Комитет постановил праздновать первое мая по новому стилю, 18-го апреля, вместе с пролетариатом Европы. Этот день приходился во вторник. Поэтому рабочая секция Совета, в заседании 8-го апреля, постановила: во из-

бежание лишнего нерабочего дня, в интересах максимальной работы на армию ради безопасности солдата — объявить рабочим днем воскресенье 16-го апреля.

В пленарном же заседании Совета, 9-го апреля, это постановление было подтверждено — при незначительном ворчании кучки большевиков... В казармах (и не только в казармах) это выступление рабочих произвело надлежащее впечатление. — Вместе с тем при Исп. Комитете была организована посылка от рабочих Петербурга первомайских подарков солдатам на фронт.

Это была одна сторона дела. С другой — дело обстояло так. Само собой понятно, какие трудности представлял вывод воинских частей из свободного Петербурга в окопы — да еще в условиях советской агитации в пользу мира, против империалистской войны. Невыносимо трудно было теперь, в эту эпоху всенародного победного торжества, оставаться в окопах. Но еще труднее расстаться с новой вольной жизнью и уйти от нее — быть может, на смерть. Кроме того, 2-го марта, как известно, правительство обязалось не выводить из столицы революционного гарнизона без действительной нужды к тому. А как доказать ее?.. Я уже упоминал, что вопрос о «выводе частей», естественно, был большим и острым вопросом в течение всех этих месяцев.

И вот при таких условиях, 13-го апреля, в солдатской секции было постановлено: допустить вывод маршевых рот по соглашению с Исп. Комитетом. А 16-го это решение было подтверждено пленумом Совета, — опять таки при мало заметном недовольстве группки большевиков, в числе которых кажется не было ни одного сол-

дата... Маршевые роты, по соглашению в каждом случае с Исп. Ком., действительно стали в эти дни двигаться из столицы на фронт. К Первомайскому празднику их отправил уже целый ряд полков. Пролетариат и гарнизон торжественно и тепло провожали уходящих. Пусть этот акт со стороны солдат не свидетельствует о надлежащем уровне социалистического сознания, — он во всяком случае говорит об их готовности добровольно принести себя в жертву революции.

Вместе с тем из армии и, в частности, из окопов стали поступать запросы и пожелания насчет участия в пролетарском празднике. Не от солдат в окопах зависело, будет ли 18 апреля радостью и торжеством или кровавой баней, в которой они сложат головы. Но армия готовилась к празднику. С передовых позиций писали, что они обовьют винтовки, украсят окопы красными лентами и знаменами и мыслями будут вместе с пролетариатом...

Такова была своеобразная судьба противосоветского лозунга «солдаты в окопы, рабочие к станкам!» Поистине, она была неожиданна и была печальна для тех, кто еще так недавно пытался под этим лозунгом вести армию против Совета. Ныне этот лозунг знаменовал собой высшую точку сплочения народных масс вокруг знамени революции, знаменовал полное единение армии и народа, а стало быть — их непобедимую силу.

* * *

Нельзя оставить без внимания и следующих фактов, имевших первостепенное значение в ходе революции, в нарастании ее сил. — Организация крестьянства шла чрезвычайным темпом, и кре-

стьянство организовалось целиком под знаменем советских партий: здесь почти монопольно воцарились эсеры... В первой половине апреля уже состоялось огромное количество местных крестьянских съездов, губернских и уездных. Съезды собирались и в крупных центрах, и в медвежьих углах. Помимо своих непосредственных нужд, они всегда занимались и «высокой политикой». Не ограничиваясь требованиями земельной реформы и «социализации земли», крестьянские съезды обыкновенно «присоединялись» к резолюциям советского «Совещания» по вопросам о войне и о Врем. Правительстве. Некоторые местные съезды оперировали с формулой «мира без аннексий и контрибуций» или требовали от правительства «дальнейших шагов» (Пенза, Тамбов).

На всех парах готовился всероссийский крестьянский съезд и, стало быть, всероссийская крестьянская организация. Это дело пытались было захватить в свои руки радикальные интеллигенты (главным образом московские) — руководители «Крестьянского Союза» 1905 года; эта группа, повидимому, совсем не имела в виду придавать крестьянской организации форму Совета Депутатов; и во всяком случае она не имела склонности культивировать контакт организованного крестьянства с Советом Р. и С. Деп... Но дело обернулось иначе.

В Таврическом дворце 13—16 апр. состоялся предварительный съезд крестьянских организаций (от 20 губерний), который решил слить организации «Союза» с крестьянскими советами. Всероссийский крестьянский съезд собрался, как советский съезд; был целиком захвачен в свои руки настоящими партийными советскими эсерами, а затем и слился

воедино с Советом Раб. и Солд. Деп. . . Речь об этом будет в дальнейшем.

Но деревня организовалась не только в советы . . . В те же дни, в половине апреля, особой комиссией при министерстве земледелия, под председательством одного из лучших русских «аграрников», проф. А. С. Посникова, было разработано, а затем и опубликовано «положение о земельных комитетах». В основу его были положены именно те мысли, которые мне в частном разговоре излагал Пешехонов. Надо думать, он и явился автором или, по меньшей мере, вдохновителем «положения». Министерство земледелия предполагало для земельных комитетов и демократический состав, и довольно широкие полномочия по урегулированию местных земельных отношений.

Но — и здесь, как и в армии, министерское творчество не поспевало за действительностью. Как энергично ни подгоняла революция упиравшихся цензовиков, все же они, во-первых, опаздывали, а во-вторых — пытались ставить для «хода вещей» такие рамки, которые жизнь немедленно сметала без остатка — хотя и не без неприятностей . . . Земельные комитеты в деревне организовались и до «положения», независимо от него. Напомню, что этот институт декретировало еще советское «Советское» — целых (!) две недели назад.

Что же касается функций, полномочий земельных комитетов, то они быстро расширялись; и это расширение имело своим пределом передачу всех земель в распоряжение земельных комитетов. «Положение» этого не предусматривало, а правительство на это, разумеется, не шло. Но это было не чем иным, как классовой близорукостью

и принесло только вред — как «государственности», так и самим землевладельцам. Передача земли в распоряжение земельных комитетов была гарантией будущей реформы; без этой гарантии крестьянство обходиться не могло и не хотело; и во многих случаях эта мера могла бы явиться единственным способом предотвращения аграрных беспорядков и эксцессов. В конце концов земельные комитеты стали проводить эту меру явочным порядком, и дело от этого не стало лучше ни с какой стороны. Все это мы увидим в двух следующих книгах.

Но как бы то ни было, наряду с «частными учреждениями», советами, деревня во мгновение ока покрылась сетью официальных органов земельных комитетов. Деревня организовалась крепко и быстро, составляя бесспорную и нераздельную сферу влияния Совета. Комментировать все огромное значение этого факта, при свете сказанного выше, нет нужды.

* * *

Но никак не меньшее, а, пожалуй, даже большее значение имело создание новых муниципальных органов, городских и сельских... Я уже упоминал, что в крупнейших центрах городские думы были кое-как наспех реорганизованы «соответственно духу времени»; а управы были радикально демократизированы почти повсюду. Но это все было проделано «на глаз»: думы были пополнены путем операций, не заслуживающих названия выборов (путем командировки гласных районными советами и т. п.); исполнительные же органы городских муниципалитетов были большею частью реорганизованы путем отставок и кооптации — согласно указаниям советов... «Несовершенство» такого порядка

и необходимость упорядочить дело — чувствовались всеми.

Но в данном случае «явочным порядком» ничего, кроме путаницы, достигнуть было нельзя. Приходилось ждать конца спешной работы комиссии по реформе самоуправления при министерстве внутренних дел. Эта работа шла с огромной интенсивностью и уже приближалась к концу. Декреты о новых муниципалитетах были «начерно» уже готовы, и в мае предполагались выборы: в городские думы и в волостные земства...

Само собою разумеется, что избирательное право было предположено более демократическим, более совершенным, чем до сих пор где-либо видел свет. Но все же ряд пунктов был опротестован советскими представителями в комиссии, о чем они и доложили Исп. Комитету в заседании 11-го апреля. В самом деле, правительственное большинство провело в комиссии, во-первых, возрастной ценз в 21 год (для обоого пола), а во-вторых — трехмесячную оседлость. С точки зрения пролетарских интересов такое «узаконение» было неудовлетворительно, и Исп. Ком. поручил своим делегатам (Брамсону), от своего лица, настаивать на отмене «оседлости» и на понижении возрастного ценза до 19-лет.

Трудно было сомневаться (и я лично не сомневался ни минуты), что при таком избирательном законе — и в сельских земствах и в городских думах — будет в огромном большинстве случаев советское большинство... Еще немного времени, и Россия получит базу, создаст опору для самого могучего и полного демократизма, покрывшись сплошной сетью муниципальных организаций, находящихся в руках той же советской демократии и социалистических пар-

тий. Еще немного, и революционная Россия снова изумит мир, покажет пример западным народам — своими муниципальными выборами...

Органы самоуправления — это уже не «частные», не классовые боевые организации: это государственные учреждения, в руках которых находится, должна находиться, вся местная жизнь, местная экономика и культура.

Создание новых муниципалитетов завершало организацию демократии; оно в огромной степени «перерождало» снизу доверху всю страну, создавало незыблемый базис для революции. Ее силы и ее возможности становились необъятны.

* * *

В Мариинском дворце, числа 15-го вечером, происходило заседание «контактной комиссии». По окончании деловых вопросов, со стороны министров начались «кстати» попреки в «нелояльности» Совета, в попустительстве «анархии», в чинимых затруднениях власти...

14-го апреля в «Известиях» безо всяких комментариев (и, надо сказать, безо всяких к тому оснований) была напечатана накануне принятия резолюция петербургского завода «Правийнен», где развивалась анархистская или, если угодно, ленинская программа: помимо «смещения» Вр. Правительства и передачи всей власти «Советам», в резолюции провозглашался захват земли крестьянами, фабрик рабочими и т. д. . . Это были первые ласточки ленинского «социализма». Резолюция была совершенно не типична, но привлекла к себе внимание буржуазных сфер. Милюков даже приводит ее в своей «Истории революции» . . .

А сейчас, в «контактной комиссии», Шингарев, цитируя резолюцию, в негодовании делал «запрос», что означает ее напечатание в официальном издании и делал из этого факта свои выводы. Советские представители выражали сожаление и обещали принять меры, чтобы этого не повторилось.

Заседание было кончено и закрыто. Тогда, не выходя из-за стола, министр-президент Львов уже в частном порядке обратился к Церетели с вопросом или за советом: какие же меры борьбы с Лениным могут и должны быть применены в наличной обстановке?

Церетели начал что-то отвечать. Я, с своей стороны, считал по меньшей мере неуместным и для себя недопустимым принимать какое бы то ни было участие в изыскании мер борьбы с Лениным — совместно с гг. министрами из кабинета Милюкова-Гучкова. Я демонстративно встал и вышел из-за стола, где продолжалась эта милая беседа. Вслед за мною вышел и направился ко мне Милюков. Мы остановились в углу зала — тоже для «частного разговора». Подошел и молчаливый свидетель его — управляющий делами Вр. Правительства, именитый кадет Набоков.

— Что, ведь у вас раскол в Исп. Комитете? — с большим и нескрываемым интересом спрашивал Милюков.

Лидер российского империализма (вместе с самим империализмом) как-никак находился и чувствовал себя в затруднении. Ему, как воздух, были необходимы сильные союзники и хоть какая-нибудь опора среди демократии. Вместе с тем, как бы Милюков ни третировал Совет во всеуслышание, — про себя он не мог преуменьшать настоящую роль

этого «частного учреждения», и он зорко наблюдал за происходящими в нем процессами — в жажде и в надежде отыскать там опору и поддержку.

Мне не улыбалось широко распространяться на тему о растущей трещине в Совете: в те дни еще не настолько были сожжены корабли, чтобы не было соблазна, перед внешними ревнивыми взорами, противопоставлять Совет буржуазии, как единое целое. С другой стороны — истину не скроешь:

— Раскол не раскол, — ответил я, — но, действительно, началось размежевание, дифференциация, которые раньше не имели значения. Теперь определилось сильное течение против циммервальда, в пользу умеренной политики и солидарных действий с правительством. Раньше эти группы легко растворялись и тонули среди сторонников последовательной классовой политики, а теперь они сформировались и возымели силу... Я лично — левый...

— Да, я знаю, — заметил Милюков, — я читал ваши книги.

В этих книгах Милюков был для меня, пожалуй, главной мишенью; но, собственно, кроме общего, циммервальдского отношения к войне они еще ни о чем не говорили: ведь Церетели, самоопределившийся ныне как надежда Милюкова, разделял взгляды этих книг.

Познания Милюкова в советских делах были, как видно, не особенно глубоки, или — самому имени циммервальда он приписывал универсальное и страшное значение... Я, однако, не хотел и не имел оснований оставлять Милюкова под впечатлением его победы и моего поражения внутри Совета. Я хотел взять реванш указанием на другой основной процесс революции, заверченный в эти дни:

— Но вы, вероятно, наблюдаете и нечто более важное, чем размежевание в Исп. Комитете, — сказал я. — Ведь общий смысл событий состоит в том, что революция развернулась так широко, как хотели мы и как не хотели вы. Превратить новую Россию в плутократические Англию и Францию, закрепить в ней политическую диктатуру капитала — вам не удалось. Исход нашей борьбы ясен. Уже совершенно определилось, что реальной силы против демократии у вас в руках нет и быть уже не может. Армия, как орудие политики, к вам не идет...

Милюков перебил меня. На его лице выразилось искреннее возмущение и, пожалуй, печаль.

— Ну, что вы говорите! — воскликнул он. — Разве можно так ставить вопрос! Армия не идет к нам!... Армия должна сражаться на фронте. Только так может стоять вопрос, и только так мы его ставим. Это вся наша политика по отношению к армии.

Милюков заговорил живо и как будто вполне искренне:

— Да и вообще — неужели вы думаете, что мы, действительно, ведем какую-то свою классовую, буржуазную политику, что мы ведем какую то, определенную линию... Ведь ничего подобного нет. Мы просто принуждены смотреть за тем, как бы все не расплозлось окончательно. Приходится всюду видеть зияющие дыры и бросаться то туда, то сюда, чтобы хоть как нибудь помочь, подправить, заштопать...

Силы небесные! Гром и молния! Не во сне ли я?.. Настала моя очередь оторопеть от изумления. Милюков, признанный Европой глава русского империа-

лизма, идеолог российской великодержавности, один из вдохновителей мировой войны, русский министр иностранных дел, достойный партнер Рибо, Ллойд-Джорджей и фон-Кюльманов, одна из активнейших и центральных фигур в текущих мировых событиях, — Милюков не знает, что он ведет ультра-классовую политику *quand-même*, — ведет, не взирая ни на что, не стесняясь ничем! Милюков, образованнейший человек, крупный ученый и профессор — не знает, что он говорит прозой! Удивительно! Непостижимо! Или, может быть, это просто неправда?

Нет, я убежден, что Милюков говорил именно так, как ему представлялось дело. И в конце концов, это вполне постижимо и совсем не удивительно. Это изумляет только в первый момент закоренелого в циммервальде собеседника. В этом и состоит вся вековая крепость и сила капитализма — строя, основанного на насилии, обмане и эксплуатации народов ничтожным правящим меньшинством. Это и есть «устой» капитализма: они заставляют служить ему, служить правящим классам не только весь аппарат управления, не только всю культуру вообще, но и маховые колеса механизма и самых выдающихся представителей культуры, которые и не подозревают, при этом, что они являются столпами насилия, обмана и эксплуатации.

Нам с Милюковым не пришлось докончить этой до крайности интересной, на мой взгляд, беседы. Из-за стола поднялись министры и советские люди, и все направилось к выходу. Не знаю, изыскали ли они способы, совместной борьбы с Лениным.

— Вот на ближайших днях будет новая большая газета — левая, в прежнем советском духе, — сказал я Милюкову, спускаясь по лестнице.

— Большая газета? — с интересом спросил Милюков. — Какая же?

— «Новая Жизнь»... Горький и вся компания «Летописи»... Будем исполнять свой долг.

— Да, — повторил задумчиво Милюков, — будем исполнять свой долг.

Впоследствии, в своей речи на нелепом «государственном совещании» в Москве — в августе, незадолго до «корниловщины» — Милюков цитировал мои возмутительные слова об армии, не желающей идти в руки буржуазии и служить орудием в руках своих классовых врагов. Цитата была не совсем точна, а контекст ее несколько тенденциозен: она оставляла впечатление большой «злости», но не имела в передаче Милюкова большого смысла... Я же хотел сказать моими словами все то, о чем написано на предыдущих страницах.

* * *

Да, армия была вырвана из рук плутократии и не могла больше служить слепым орудием в ее руках. Подавить движение демократии, раздавить его силой — больше не могли никакие его Тьеры и Кавеньяки... Диктатура капитала в революционной России была в корне подорвана, политическая сила имущих классов была сломлена. Реальная сила, с завоеванием армии, перешла целиком в руки советской, рабоче-крестьянской демократии. Силы революции в этот период достигали высшей своей точки. Они были необ'ятны, и необ'ятны были возможности революции. Еще невиданные в истории горизонты открывались тогда с достигнутых высот.

3. МЕЛКИЙ БУРЖУА И КРУПНЫЙ ОППОРТУНИСТ ЗАВОЕВЫВАЮТ СОВЕТ

Червоточина. — Новый всероссийский советский орган. — Совет и революция. — Шестнадцать новых членов Исп. Комитета. — Ф. И. Дан. — Его первые шаги. — Его общая роль в событиях 17-го года. — Дан и Церетели. — Противоречия. — Шуйца и десница Дана. — Другие новые члены Исп. Комитета. — Приезд В. М. Чернова. — Чернов и его партия. — Чернов и Ленин. — Миссия Чернова. — Его шуйца и десница. — Трагедия Чернова. — Встреча. — Приветствия. — Разговоры с Черновым. — Его шатания и его самоопределение. — Н. Д. Авксентьев. — Реорганизация Исп. Комитета. — Его работа в ту эпоху. — Правительственный и советский механизм. — Вопрос о разделении Петербургской и всероссийской организации. — «Известия». — «Однородное бюро». — Подготовка. — Заседание Исп. Комитета. — «Махинация». — Апельсиновая корка. — Церетели скачет дальше, чем следует. — Президентский кризис. — Приемы «Группы президиума». — Провал махинаций. — Сплочение и борьба оппозиции. — Тайная дипломатия. — Реванш большинства. — Работа приносится в жертву политике. — «Однородное бюро» создано. — Совет завоеван.

Силы революции были необъятны, и необъятны были ее возможности... Но возможности могут быть никогда не реализованы, а силы могут быть не использованы или могут быть употреблены во вред. Величайшая победа была достигнута. Но вопрос был в том, сумеет ли демократия ею воспользоваться

и довести революцию до конца? Или силы будут бесплодно растрачены, позорно промотаны и преданы врагам революции?

Эти силы были необъятны. Но в сердце революции была червоточина. Она раз'едала могучее ее тело, она поражала ее великий дух. Шаг за шагом она росла, расширяла поле своей тлетворной работы, разлагала, душила, высасывала все соки и окончательно погубила революцию, превратив ее через немного месяцев в жалкую и страшную карикатуру на прежнего исполина, потрясшего весь мир.

Теперь Совет был полным и безусловным хозяином положения. Судьба буржуазии, его собственная судьба и судьба революции была в его руках всецело и неограниченно. Совет же ныне, после всероссийского Совецания, был равен Исп. Комитету, вполне воплотившему в себе волю советской демократии. Ясно, что мы должны обратиться к деятельности Исп. Комитета, должны посмотреть на его внутреннюю жизнь — чтобы понять пути революции, чтобы увидеть воочию, что, как и почему сделала демократия со своей победой. Я изложу все, что я помню и как я помню об этом.

* * *

Всероссийское советское Совецание (29 марта — 3 апреля) в числе других должно было выполнить важную организационную (или, пожалуй, государственно-правовую) задачу: создать постоянный всероссийский советский орган — на место петербургского Исп. Комитета, действовавшего доньше от имени всей русской демократии. Задачу эту Совецание выполнило довольно кустарным и несовер-

шенным способом. Оно просто пополнило наш Исп. Комитет шестнадцатью своими избранниками и постановило считать это учреждение полномочным все-российским советским органом... Быть может, отчасти это решение было знаком особого доверия и солидарности с петербургским Исп. Комитетом. Отчасти же это решение диктовалось практическими соображениями — без нужды не усложнять задачи.

Выборы шестнадцати человек были организованы обычным отныне способом всех (больших) советских выборов: путем пропорционального представительства партийных фракций — при чем кандидаты намечались самими фракциями и лишь формально утверждалась пленумом... Увы! я забыл имена этих шестнадцати новых членов — за несколькими исключениями; в газетах того времени — даже в «Известиях» — я также не нахожу их перечня.

Общий «характер» этой группы, общее ее влияние на советскую политику можно представить себе на основании того факта, что эта группа была «микроскопом» Совещания, хорошо отражая его состав и его физиономию. «Совещание» же, с некоторыми колебаниями, стало на позицию нового оппортунистского большинства Исп. Комитета... Однако, это было с некоторыми колебаниями. Да и большинство Исп. Комитета также не окончательно кристаллизовалось и также допускало некоторые колебания.

Поэтому, когда 5-го или 6-го, в вечеру, в Исп. Комитет с шумом и оживлением вошла новая группа и приступила к совместным с нами занятиям, — все старые члены не только с особым интересом, но, можно сказать, с трепетом следили за каждым

выступлением, за каждым словом новичков. Кристаллизует ли эта группа окончательно мелкобуржуазное большинство, возглавляемое Церетели и Чайковским? Придаст ли ему полную устойчивость и сделает ли его всесильным? Или же она склонит чашу влево, разобьет правые группы и вселит в большинство разброд? а, может быть, даже и совершенно парализует его силы?

К величайшему несчастью для всей революции, вопрос этот — хотя опять-таки лишь после колебаний, с солидной постепенностью, без «бури и натиска» разрешился в первом смысле: в пользу оппортунистской, соглашательской «линии», в пользу Чайковского и Церетели, в пользу движения революции «постольку-поскольку» позволит и пожелает буржуазия и при том не иначе, как на крепком аркане у нее. Но после колебаний, через немного времени, вопрос уже был решен окончательно и бесповоротно. Советское большинство стало вполне оформленным, устойчивым и всесильным. Через немного времени, лишь только процесс «самоопределения» большинства был закончен, всесильный Совет, обладающий всей полнотой реальной власти, был взят на аркан, стал орудием в руках буржуазии и на всех парах потащил революцию назад.

Это было дело не легкое — даже для всесильного Совета, ибо силы революции были необъятны. Силы революции нельзя отождествлять с силами Совета, ибо силы революции заключались в развязанном движении масс. Это была сила самих масс, всей многомиллионной российской демократии, сознавшей свои интересы и уже сплотившей ряды, ставшей «в позиции» для борьбы за них. Это был дух, вызванный к жизни революцией и выпущенный на волю

самим Советом. Бороться с этим духом, с народными массами, с великой революцией — было не легко даже для всемогущего Совета. Но... всемогущий Совет, в лице нового большинства, начал со всем этим доблестно бороться; он положил все силы на эту борьбу и вышел из нее победителем. Через каких-нибудь полгода буржуазия праздновала тризну над делом «февраля»: волею всемогущего Совета от него остались одни жалкие бесформенные обломки.

* * *

Из 16 новых членов Исп. Комитета я помню по именам немногих. Большая часть их, как правых, так и левых — не оставила никакого следа в жизни Совета. Компактная группа из числа шестнадцати отошла в разряд «мамелюков»: это были обыкновенно «мартовские всеры». Несколько человек было вечно колеблющихся, — в числе которых я могу отметить меньшевика Шапиро, ставшего определенно левей перед самым «октябрем» и перешедшего к большевикам после октябрьского переворота. Левых же среди вновь избранных было никак не больше 3—4 человек; из них помню интернационалиста-солдата Борисова 2-го и большевика-матроса Сладкова...

Но, собственно, если говорить о крупных фигурах, способных хоть краешком войти в историю, то блестящим исключением из всех «шестнадцати» являлся только один человек. Зато это была фигура очень крупная. Это был Дан...

В настоящую минуту я не представляю, насколько в дальнейшем изложении, в самом процессе рас-

сказа о событиях мне придется «выяснить» эту личность. Поэтому, мне бы хотелось немедленно остановиться на ней и «предварительно» сказать несколько слов о Дане. Должен сознаться, что сделать это мне не легко: пример Дана хорошо убеждает меня в том, что крупная фигура и крупная роль ее в событиях — могут отлично мириться с недостаточной ясностью и фигуры, и роли для самих участников событий.

Один из родоначальников меньшевизма, столп ликвидаторства — Дан в сибирской ссылке занял с самого начала войны интернационалистскую позицию. В Петербург Дан приехал к Всероссий. Совещанию; его роль в меньшевистской фракции Сопещания мне неизвестна; но в его пленуме, на людях, он не принимал активного участия и не привлек к себе особого внимания...

И в Исп. Комитете Дан развернулся не сразу. Может быть, он также колебался (хотя во вне он ничем не обнаружил никаких шатаний); а может быть, он в первые дни сознательно выжидал, знакомился, осматривался. В эти дни, кстати сказать, наш президиум и Церетели были в отъезде. Но во всяком случае Дан пока не был ни таким активным, ни таким «центральным», каким он стал в недалеком будущем. И еще менее в это время он позволял разглядеть в себе авторитетнейшего лидера, универсального работника, идейную и практическую опору мужицко-оппортунистского большинства, погубившего февральскую революцию. В недалеком будущем Дан стал именно таковым. Его крупнейшая роль в событиях семнадцатого года была, на мой взгляд, роковой ролью. А размерами всей его фигуры с моей точки зрения определяется не что иное, как

количество того вреда, какой он принес в этих событиях...

Я пишу эти строки в тот момент, когда я считаю себя единомышленником, политическим другом Дана и являюсь его фактическим сотрудником по работе в Росс. Соц.-Дем. Раб. Партии (меньшевиков). Мало того: я питаю надежду, почти уверенность, что мне суждено остаться его соратником и в будущем, чередом новыми событиями мирового значения¹). Но все это ни на иоту не притушает во мне острого и горького сознания его прежних ошибок, — точнее, его ошибки 17-го года.

О прошлом Дана теперь, когда наша борьба давно окончена, когда наше общее поражение общими ныне торжествующими противниками должно позволять спокойно и трезво оглядываться назад, — теперь в качестве политического друга Дана я думаю об его прошлом, совершенно так же, как думал я в пылу битвы, когда Дан был моим злейшим политическим врагом. И сказать сейчас об его тогдашней роли я могу и должен то же самое, что говорил всегда.

Я не знаю, как справился бы с революцией Дан без Церетели в качестве лидера мужицко-обывательского, беспомощно-капитуляторского советского большинства. Я, признаться, не знаю и того, взял ли бы на себя Дан без Церетели это мало почтенное бремя, и даже не знаю, такова ли без Церетели была бы теоретическая «линия» Дана,

¹) Увы, — этим надеждам не суждено было осуществиться. Через полтора года после написания этих строк мне пришлось разорвать с партией Дана и Мартова — в результате глубокого принципиального расхождения. О новых надеждах на будущее, при таких условиях, было бы говорить неуместно.

которую он всенародно проводил на практике в 17-м году.

Но я твердо знаю, что Церетели был бы как без рук, если бы Дан не пошел с ним, 'или — не пошел бы за ним. И Церетели пришлось бы совсем плохо, если бы Дан удержался на циммервальдской, последовательно-классовой позиции и пошел бы против Церетели... Увы! конечной судьбы революции это не изменило бы: она зависела не от личностей, хотя бы самых гигантских, а от глубочайших причин, от общего характера революции и ее объективных рамок, от первоначально данного толчка, от «первородного греха» революции... Но все же роль Дана была настолько велика, что его позиция имела весьма существенное значение.

Несомненно, — окажись Дан во главе советской левой оппозиции; сплоти он вокруг себя, в качестве старого меньшевистского лидера, лево-марксистские элементы; потащи он за собой, волей-неволей, многих болотных правых меньшевиков, которые были рыхлы, беспомощны и не имели бы «куда деваться»; изолирует он Церетели в среде советской социал-демократии; — и одно из крыльев правящего советского блока было бы дезорганизовано, имело бы совершенно иной удельный вес. Если бы Дан пошел против Церетели, а не пошел против Мартова, приехавшего только через месяц, когда судьба революции уже была вполне определена, если бы Дан выступил сначала вместо Мартова, а потом вместе с Мартовым, то он мог бы достигнуть чрезвычайно многого и значительно видоизменить соотношение сил внутри совета.

Однако, весь свой вес, все силы, все дарования — Дан употребил во зло революции. Явившись столпом

капитуляторской «линии совета», Дан не покидал этой линии до конца, до того момента, когда сомнения стали брать даже иных «мамелюков», когда «разумные» правые меньшевики, вроде Богданова, уже давно откололись от руководящего ядра Совета, когда пресловутая «линия» уже давно вышла за пределы элементарного здравого смысла, когда пропасть уже разверзлась перед самыми глазами, и крах можно было предотвратить только экстренной и радикальной переменной позиций... Даже и тут Дан продолжал линию капитуляции перед буржуазией.

Это — одна сторона дела. Другая та, что Дан явился достойным соратником Церетели в области полного игнорирования воли широких масс, а в частности — в сфере примитивных и грубых приемов подавления советского меньшинства. С этими приемами мы встретимся в дальнейшем. Дан, по крайней мере, в публичных, пленарных выступлениях всегда защищал эти приемы, поддерживая и питая политику раскола советской демократии.

Этим Дан далеко не снискал себе популярности в советских сферах, даже среди тяготеющих к большинству. Кстати сказать не в пример «обаятельному», «благородному», «идеальному» Церетели, с которым столько носились разного рода поклонники — Дан был мало общительным и приветливым, холодноватым и резким человеком, — и частенько без особой к тому нужды давал вокруг себя знать свою тяжелую руку.

И вот в связи со всем этим начинаются трудности, неясности, странности... Все было бы просто и ясно, если бы Дан повторял собою Церетели. Этот последний, у которого я отнюдь не хочу отни-

мать ни его «идеальности», ни его «благородства», представляется мне в виде закусившей удила и слепо «несущей» лошади, не видящей и не желающей знать ни косогоров, ни оврагов. Одержимый идеей, вернее маленькой, утопической, примитивной идейкой — этот замечательный вожак человеческого стада был очень маленьким политическим мыслителем. Он был именно слеп и скакал с кавказской первобытной прямолинейностью — не разбирая ни своих препятствий, ни чужих желаний и интересов. Нет ничего удивительного в том, что никчемная идейка, во-первых, ослепила Церетели, а во-вторых — заполнила его целиком, до краев, через край. Кавказский же темперамент заставил его скакать, не замечая действительности, прямо в пропасть... С Церетели все это мне представляется довольно ясным, и я надеюсь — мы во всем этом на деле убедимся в дальнейшем рассказе о ходе событий.

Но с Даном дело обстоит не так. — Во первых, Дан — выдающийся представитель «высшей школы» политики и социализма в современном Интернационале. Если бы даже считать Церетели блестящим учеником этой школы, то Дана надо признать ее профессором. Если он и не творец больших идей и новых слов, то все же он, несомненно, один из самых крупных работников в лаборатории политико-социалистической мысли. Казалось бы, все горизонты и перспективы он мог охватывать с высоты своей школы. Казалось бы, он достаточно располагал ключом к тому, чтобы теоретически исследовать все «движения воды» в революционном море, чтобы распознавать скалы и тайные мели, учитывать обстоятельства, взвешивать препятствия, оценивать явления...

Во-вторых, — не блестящий, но незаменимый деловой писатель, не первоклассный, но незаменимый деловой оратор — Дан всегда представлялся мне наиболее государственным человеком из всего нового руководящего советского ядра. Человек, которого не могло что-либо ослепить, человек крайне «основательный», кладнокровный, уравновешенный, — он среди правящей советской группы представлялся мне не только способным наилучше теоретически мыслить, но и практически управлять, лавируя между подводными камнями и нащупывая правильный фарватер.

В третьих, при всех этих свойствах, Дан не пришел в революцию извне и даже не пришел в нее из мелкобуржуазных сфер и партий (как то было, напр., с Керенским, у которого, впрочем, и не было означенных свойств). Дан — человек, вся жизнь которого органически слита с революционным движением и при том именно с рабочим, социал-демократическим. Что торжество классовых пролетарских интересов для Дана превыше каких бы то ни было иных соображений — в этом сомневался едва ли кто из добросовестных противников Дана. И не в пример иным, совершенно зарвавшимся своим коллегам, он по временам давал это чувствовать на живом деле. Враг Дана, ненавидящий, предубежденный, не ждущий ничего доброго из Назарета — я помню не один случай, когда я горячо аплодировал его выступлениям...

И вот все эти несомненные для меня свойства, — теоретическая мысль, классовый инстинкт, практическая «государственность» — все пошло прахом, все вместе взятое не помогло ему, не спасло его от роковой и преступной «ошибки» 17-го года...

Объяснить эту «коллизию» я бессилён. Я сказал то, что я думаю об этой крупнейшей фигуре революции и ничего прибавить не имею. Пусть другие объяснят это противоречие.

Его можно объяснить, доказав, что я жестоко ошибаюсь в оценке Дана: увы! мне лично будет очень трудно воспринять такое доказательство — после большого личного опыта. Можно также уничтожить противоречие, доказав, что Дан в 17-м году вовсе не совершил ошибки: увы! поверить этому для меня окончательно невозможно, так же как поставить крест на самом себе, а в частности — на этих «записках», построенных целиком, сначала до конца, на «базисе» «ошибки» Дана и его прежних соратников.

Но не исключены и иные объяснения... Когда в те времена я спрашивал себя, где же центральная фигура, основная движущая сила в среде правящей советской группы, державшей в руках судьбу революции, то я отвечал почти без колебаний: «10 миллионов штыков» находятся скорее всего и больше всего — в распоряжении Дана. Но я был тогда уже в рядах бессильной оппозиции, я был далек от правящего механизма и его закулисных сфер. Впоследствии же Дан говорил мне, что в этих невидных «народу» сферах он также был всегда в оппозиции. Это было для меня неожиданно. Но пока что мне ничего это не разъяснило. В будущем это может разъяснить многое и исправить мои ошибки¹⁾.

* * *

¹⁾ Все это написано три года назад. С тех пор я, во-первых, написал следующие книги — до политической ликвидации Дана; т. е. тем самым, я тщательнее проследил и уяснил себе его роль

Вступлением в Исп. Комитет 16-ти новых членов по выборам Сопещения не ограничилось пополнение и конституирование центрального советского учреждения в эти дни. Вступило еще несколько человек от солдатской Исп. Комиссии — право-болотных и бесцветных. Затем появились давно избранные рабочей секцией 9 человек рабочих. Но большинство их, кажется, не привилось и как-будто вскоре было отправлено в какие-то командировки... Кроме того заседания стали систематически посещаться членами Экономич. Отдела, сотрудниками «Известий» и другими высшими представителями «третьего элемента». В общем Исп. Комитет разросся в коллегию от 80 до 90 человек...

В один прекрасный день явился небезызвестный втородумец Алексинский и, основываясь на своем депутатском звании, требовал допущения его в Исп. Комитет. Однако, после обсуждения, в виду его прошлой деятельности, не в пример прочим, ему было отказано.

8-го апреля, в конце долгого и утомительного рабочего дня, Исп. Комитету было доложено, что сегодня вечером приезжает из-за границы эсеровский вождь Чернов... Необходима была опять торжественная встреча. Представлять Исп. Комитет избрали меня и Гоца. При выходе из дворца меня дернул за рукав Александрович:

— Вы ему прямо так и скажите, — заговорил он, держа кулак перед злобно сверкающими глазами,

в событиях. А во-вторых, за эти годы мне довелось войти с Даном в довольно близкие личные отношения. В соответствии с этим, мне многое объяснилось. В моих «предварительных» замечаниях многое написано не так. Но пусть останется, как думалось. Дальше читатель встретит корректив.

— прямо в приветственной речи... Что, мол, тут чорт знает что, в Исп. Комитете. А он — циммервальдец и чтобы сейчас же вместе с нами открыл кампанию против этих... Пусть он сразу знает... Вы как следует ему... Сразу!..

Александрович, что-то еще ворча, побежал дальше... Я и сам был бы не прочь — так «сразу», если бы не был делегатом Исп. Комитета и если бы не имел сомнений в нынешних позициях Чернова, после стольких горьких разочарований.

* * *

Чернова — как и Ленина, Мартова, Троцкого — я «слышал» за границей в 1902—1903 г.г. Потом в 1905—1907 г.г. я был знаком с ним и лично, в России и в Финляндии, встречаясь с ним по политическим, а больше по литературным делам. Затем мы расстались до самой нижеописанной торжественной встречи, — поддерживая (довольно слабо) «литературную» переписку между Москвой, Архангельском, Петербургом — с одной стороны, и Италией — с другой.

Чернов, несмотря на мои крайние ереси, всегда бывал рад моему сотрудничеству в редактируемых им журналах. По его словам, он высоко ценил меня, как «аграрного теоретика» и журналиста; и даже утратив надежды на меня, как на эсеровского «идеолога», он продолжал оказывать мне внимание и давать свидетельства своего лестного мнения о моей деятельности. Поощрениям Чернова я вообще в сильной степени обязан развитием моего писательства...

Со своей стороны, я всегда воздавал должное выдающимся талантам Чернова и вполне разделял тот

шетет к нему, которым в дореволюционные времена были проникнуты довольно широкие круги нашей революционной интеллигенции...

В создании эсеровской партии Чернов сыграл совершенно исключительную роль. Чернов был единственным сколько-нибудь крупным ее теоретиком — и при том универсальным. Если из партийной эсеровской литературы изъять писания Чернова, то там почти ничего не останется, и никакой «идеологии» «молодого народничества» из этих остатков создать будет нельзя.

Без Чернова вообще не было бы эсеровской партии, как без Ленина не было бы большевистской, — поскольку вокруг идейной пустоты вообще не может образоваться серьезная политическая организация. Но разница между Черновым и Лениным та, что Ленин не только идеолог, но и политический вождь, Чернов же только литератор. Ленин создал всю партию, а Чернов только некоторые, хотя и безусловно необходимые элементы ее...

Отрицать крупнейший литературный талант Чернова едва ли найдется много охотников. Можно не одобрять внешних приемов его писаний, можно признать его эрудицию более или менее «начетнической», а его теоретическую мысль гораздо более пригодной к комбинаторским упражнениям, чем к оригинальному творчеству. Но его литературный талант, его разносторонняя эрудиция, его комбинаторские способности — все же остаются налицо.

К тому же нельзя забывать о существовании, о характере, об основных целях литературного творчества Чернова. Ведь в течение всей его деятельности перед ним неотвязно стояла до крайности трудная, а вернее — невыполнимая, ложная, внутренне-про-

тиворечивая задача: пропитать новейшим, научным, международным социализмом черноземно-мужицкую российскую почву; или — отвоевать для нашего черноземного мужика, для нашего «самобытного» народолюбчества почетное место и равные права в рабочем интернационале Европы. Было бы крайне странно оспаривать, что, выполняя эту задачу, Чернов проявил не только чрезвычайную энергию, но и огромное искусство. Те, кто видит в этом деле историческую заслугу, должны незыблемо закрепить ее за Виктором Черновым.

Но Чернов — не в пример Ленину — выполнял в эсеровской партии только половину дела. В эпоху дореволюционной конспирации он не был партийным организационным центром. А на широкой арене революции, несмотря на свой огромный авторитет среди эсеровских работников, Чернов оказался несостоятельным и в качестве политического вождя. На широкой арене революции, когда «идеология» должна была уступить место политике, Чернову суждено было не только истрепать свой авторитет, но и, пожалуй, сломать себе шею. Может быть, еще как-нибудь и заживет. Но — увы! — к несчастью, такие переломы без следа не залечиваются.

Дальше, встречаясь с Черновым очень часто, мы увидим, как он терял не только авторитет, но терял и приверженцев, и свое руководящее положение в «самой большой русской партии». Мы увидим, как пришлось ему метаться, извиваться, теряться и не находить себе места среди людей, событий, движений и течений. Мы увидим, как под непосильным бременем он довел до нелепого, наивного и смешного свою личную тактику умыwania рук. Мы уви-

дим создателя и лидера эсеровской партии в положении, достойном слез и смеха...

Но надо быть не только справедливым; надо правильно понять причины и источники трагедии (если угодно, пожалуй — трагикомедии) Чернова.

Надо понять, что дело тут не только в слабости и несостоятельности его, как политического вождя. Дело тут столько же — *soit dit* — в излишней силе Чернова, как социалиста и европейски воспитанного социалистического теоретика... Слов нет: Чернов не проявил ни малейшей устойчивости, натиска, боеспособности, твердости руки и твердости «линии» — свойств, — необходимых в условиях революции для политического вождя. Он оказался внутренне дряблым и внешне непритягательным, неприятно-смешным. Но это только одна сторона дела. Не меньшую роль, по моему убеждению, сыграла именно вышеуказанная ложность, внутренняя противоречивость его «доктрины», идеологии, мировоззрения.

Пока можно было писать и только писать — дело шло отлично. Но как «извернуться» в революционной практике, среди грохота молотов и наковален? Ведь до революции Чернов, к несчастью, не успел завершить своей миссии — насаждения на русских «снегах нежных роз Феокрита», насаждения (хотя бы и казуистического) международно-социалистических принципов в головах деревенских хозяйчиков и городской радикальной обывательщины.

Чернов ведь именно к ним пришел со своими заморскими (да еще чуть ли не немецкими!) выдумками. А они естественно указали ему заско-рулым пальцем на свою благонамеренную, «патриотическую» программу — земли, государственности и порядка. И даже со всей доступной деликатностью,

сквозь зубы, не громко и не демонстративно, но все же достаточно внятно стали бормотать отчасти знакомое Чернову приветствие: «не суйся!»...

Чернов хотел насадить пролетарский, европейский, да еще циммервальдский социализм на российской почве мелкобуржуазной темноты и обывательщины. Это было дело безнадежное. Но Чернов не мог оторваться ни от своего социализма, ни от своей почвы. В этом никак не менее важная сторона черновской драмы.

С самого начала войны Чернов стал на циммервальдскую позицию. Порвав со многими и многими, если не с большинством своих соратников и друзей, собрав под циммервальдское знамя лишь незначительное меньшинство своей партии, преодолевая огромные общественные и личные трудности, — Чернов издавал за границей интернационалистскую газету и участвовал в циммервальдских конференциях. Это была уже несомненная и бесспорная заслуга — не только перед эсеровской партией, но и перед Интернационалом... И теперь, едучи на Финляндский вокзал для торжественной встречи эсеровского вождя, — я думал:

— Куда он придет — в это моховое болото — со своим циммервальдом! Как распорядится он со своим интернационализмом в обстановке нарождающегося блока между его кровными мужицко-солдатскими, радикально-интеллигентскими группами и империалистской буржуазией!..

Перед глазами уже были печальные прецеденты. Уже были испытаны горькие разочарования. Я был далек от оптимизма.

* * *

Финляндский вокзал в общем представлял ту же картину, что и при встрече Ленина, пять дней тому назад. Однако, несмотря на свою большую популярность в массах, эсеры не только не затмили большевиков пышностью встречи, но значительно отстали от них... Убранство вокзала отличалось тем, что на каждом шагу мелькала «народническая»: «земля и воля» и эсеровское: «в борьбе обретишь ты право свое». Порядка было значительно меньше. Когда я пробирался через толпу в «царские» комнаты, меня обогнал Керенский в сопровождении адъютантов, энергично пролагавших путь и провозглашавших: «граждане, дорогу министру юстиции!»... Керенский, видимо, хотел быть «настоящим» с.-ром, что ему вообще удавалось довольно плохо. Он хотел оказать честь своему партийному шефу, но не дождался запоздавшего поезда и поручил Зензинову приветствовать Чернова от его имени.

На платформе и в «царских» комнатах снова была масса знакомых «народнических» физиономий: на всей встрече вообще был резкий «интеллигентский» отпечаток, хотя были и войска, были (где-то на втором плане) и представители рабочих... Приветствующих ораторов набралось очень много. В «царской» комнате, на этот раз переполненной разными людьми, образовалась «комиссия», решавшая, кому дать и кому не дать слова и как распределить ораторов по порядку. Мне, от имени Исп. Комитета, предоставили говорить не то вторым, не то третьим — после центральных партийных приветствий. Около «комиссии» был шум и препирательства.

Улыбающийся, как всегда, лучезарный Чернов, немного поседевший с 1907 года, с букетом в руках, едва пробрался через толпу в «царскую» комнату

— под клики и марсельезу. В «царской» комнате мгновенно образовалась давка и духота. Во время первой речи, Н. С. Русанова, говорившего довольно патетически на тему о партийном единстве, — я увидел позади Чернова знакомые лица Авксентьева, Бунакова-Фундаминского, Льва Дейча. Тут же кто-то указал мне на незнакомую англазированную фигуру, оказавшуюся известным авантюристом Савинковым, который еще долго числился в эс-ерах, но уже давным давно продал свою сомнительную шпагу кадетам и был постоянным сотрудником «Речи».

Все эти люди, как оказалось, приехали вместе с Черновым — или, скорее, Чернов приехал с ними: все махровые «патриоты» — они могли свободно проехать через Англию при полном содействии британских властей; Чернову же как-то случайно удалось примазаться к ним и благополучно транспортировать свой циммервальдизм под густым прикрытием шовинизма.

Для меня, однако, было совершенно неожиданным появление за спиною Чернова всех этих именитых людей. Это поставило меня в затруднительное положение: во-первых, Исп. Комитет вовсе не поручал мне от его имени приветствовать второстепенных деятелей революционного движения и первостепенных шовинистов, — да я и не взял бы на себя подобного поручения; во-вторых, к ним совершенно невозможно было адресоваться с тем, что я был намерен сказать Чернову... Я решил обратиться с речью только к Чернову, а в заключение ограничиться голым приветствием к остальным.

Чернову я демонстративно указал на его заслуги по отстаиванию принципов последовательного интернационального социализма; отметил, что эти по-

зиции ныне, в революции, подвергаются жестокой опасности, и выразил надежду, что, независимо от партийных делений, единым фронтом мы пойдем на защиту их и от внешних (классовых), и от «внутренних» врагов... Александрович остался не очень доволен моей речью, но все же признал, что должные «намекы» там были.

Чернов же, пока я говорил, смотрел на меня с таким явным недоумением, — даже как будто не сколько пятясь от меня назад, — что в конце концов это меня смутило. Он потом рассказал мне, в чем дело¹).

Приветствия продолжались долго. Чернов ответил на них длинной речью; содержания этой речи (если она его имела) я совершенно не помню; но помню, что она не одного меня смертельно утомила; и не один я, а и многие другие эсеровские партийные патристы морщились и покачивали головами, что это он так неприятно поет, так странно жеманится и закатывает глазки, да и говорит без конца ни к селу, ни к городу!..

Затем были речи на площади перед толпой. А потом вся компания, кажется, отправилась на Галерную, в эсеровскую резиденцию — для товарищеской беседы и трапезы. Вероятно на Галерной — не в

¹) Он помнил меня (десять лет назад) с небольшой бородкой. А недавно, после революции, он видел в «Matin» портрет снятого вместе с Чхеидзе «Суханова», который был с очень длинной бородой. Чернов отказывался верить глазам и понимать что-нибудь, когда его приветствовать вышел бритый человек, похожий скорее на портреты Керенского... Меня, действительно, не раз в толпе принимали за Керенского, а Суханов с длинной бородой — это думский депутат-трудовик, очень досаждавший и попрекавший меня, зачем я называюсь его «собственным» именем.

пример дворцу Кшесинской — в эту ночь не было громоподобных докладов о путях революции. Но, несомненно, было шумно и весело вокруг развеселого Чернова. Точно знаю, — я там не был.

* * *

На другой день, 9-го апреля, Чернов выступал не только на воскресных митингах, но и в Морском корпусе, в пленуме петербургского Совета, где уже была огромная эсеровская фракция. Совет не ограничился шумным приемом новой первоклассной фигуры революции: он избрал Чернова своим новым представителем в Исп. Комитет. Не в пример многим «почетным» членам, до сих пор имевшим только консультательные права, — Чернов получил в Исп. Комитете решающий голос.

А еще через день или два, Чернов, еще не появившийся в Таврическом дворце, позвонил мне по телефону и выразил желание повидаться со мной для основательного разговора. Я пригласил его обедать... к И. И. Манухину: эти обеды у меня уже вошли в обычай, и, вероятно, не меньше двух раз в неделю, между заседаниями Исп. Комитета, я забегал обедать в этот сверх-радушный дом, — при том зачастую не один. Манухин любил, когда со мной приходили разные деятели из Исп. Комитета и набрасывался на них с расспросами не менее ожесточенно, чем они — на обед. Приводил я к Манухину Церетели, который в это время чувствовал себя нездоровым и даже собирался на Кавказ, а Манухин непременно хотел его «послушать»... На основании подобных прецедентов я пригласил и Чернова.

После веселого обеда, преисполненного анекдо-

тов и прибауток, мы, уединившись, вели действительно основательный разговор. Чернов был пока занят только партийными, главным образом, литературными делами. В частности, он имел утопический план возобновить эсеровский ежемесячник «Заветы», имевший шумный успех в 1913—1914 гг. и закрытый полицией с началом войны. Чернов звал меня в редакцию. Но что за ежемесячники в революцию, когда за месяц теперь сменяются эпохи? Мы не знали, что делать со своей «Летописью», которая имела успех еще более шумный и которую приходилось ликвидировать за непригодностью в новой обстановке...

Странно: Чернов звал меня работать и в «Дело Народа»... У меня была почти готова своя «Новая Жизнь», а над эсеровским центральным органом я только посмеивался, называя его в то время органом Родзянки. Чернов признавал всю недопустимость такого ведения газеты и, надо сказать, уже за два-три дня своего пребывания в Петербурге, он успел вдохнуть в «Дело Народа» немного жизни и новую струю.

— Да, да, — говорил он, — совершенно верно. Газета никуда не годится. Да, собственно, и нет газеты. Сейчас же по приезде мне стало ясно, что никакой газеты нет. Ее еще надо создать... Но создать ее необходимо: партия живет и растет. Партия растет страшно, неудержимо, прямо угрожающе. Я положительно боюсь этого роста.

В устах Чернова все это были благоприятные симптомы; но мне хотелось говорить с ним не о партии. Я подробно рассказал ему о положении дел в Исп. Комитете, апеллируя к Чернову, как к циммервальдцу, но далеко не имея уверенности, что

мы фактически окажемся соратниками. Я рассказал Чернову и историю и новую ситуацию; описал опасность со стороны советской правой, со стороны именно «эсеровско-народнических» групп; но не оставил без внимания новейшую, левую опасность — со стороны Ленина. Я настаивал на необходимости крайнего усиления левого центра, не большевистского интернационализма.

Чернов опять-таки, казалось, слушал вполне сознательно. Мало того: он определенно заявил, что насколько он ориентировался в положении, насколько он слышал о нем с разных сторон, — он намерен занять именно позицию левого центра и намерен форсировать натиск на министерские сферы и на советское большинство. Я, однако, не чувствовал в его словах большой твердости. Напротив, мои сомнения решительно окрепли, когда Чернов стал рассказывать о своих планах и методах «натиска».

— Что вы думаете о Керенском? — спросил он. — Ведь его влияние, несомненно, огромно. Сейчас, когда речь идет о дальнейших шагах в пользу мира, на Керенского можно возложить очень многое. Он может служить незаменимым рычагом...

Я только махал рукой.

— Напрасно вы так думаете!... Я имею данные утверждать. Я подробно говорил с Керенским... Вот на-днях мы устроим заседание Совета, и Совет сделает постановление об обращении к союзникам насчет мирных переговоров. И это будет под председательством Керенского...

— Помилуйте! ничего сколько-нибудь похожего на это случиться не может!...

— А вот увидим, — говорил Чернов, рассказывая по комнате. — Увидим!...

— А вот увидим, — вздохнул я в сознании бесплодности такого разговора.

Но окончательно довершили мое разочарование мысли и планы Чернова относительно «правых народников». Чернов заявил, что эсеровский центральный комитет открывает с ними переговоры не то о слиянии, не то о союзе.

— Такие попытки здесь уже делались, — сказал я, — но как собственно вы мыслите платформу соглашения? Ведь «правые народники», включая сюда большинство эсеров, это сейчас главная опора советской реакции, главные застрельщики в капитуляции, главный тормаз в борьбе за мир. Перед «народническим» циммервальдом, казалось бы, стоит задача именно расколоть «народников» и изолировать в Совете трудовиков, энесов и примыкающих. Или вы; что же, — надеетесь всю эту плесень склонить к циммервальду?...

Увы! Чернов надеялся именно на это или — делал вид, что надеется, будучи не в силах бороться с непреодолимой тягой направо своих товарищей по партийному центральному комитету. Туда же, надо думать, тянул его и Керенский...

Чернов еще долго говорил в защиту «народнического» блока, — говорил, напуская на себя оптимизм и самоуверенность, которых на деле не было. Но для меня беседа потеряла уже всякий, по крайней мере, практический интерес. Мы поговорили еще о разных предметах и расстались, напутствуя друг друга хорошими словами, но без малейших надежд стать друзьями и соратниками.

В Исп. Комитете Чернов, пококотничав очень немного, всецело примкнул к большинству и вошел в правящую группу, тянущую революцию к про-

пасти. Не думаю, впрочем, чтобы Чернов хорошо чувствовал себя в этой группе и играл там благодарную роль. По этому поводу снова приходят на ум параллели с Лениным: два типа, два калибра, две судьбы.

Советские эсеры были, конечно, очень довольны: они не только приобрели себе известного и годного для «представительства» лидера, но даже и «приспособили» его к своему образу и подобию. Соглашения или слияния с «правыми народниками», однако, не состоялось: только поговорили. Но по существу дела оно вполне могло состояться, — препятствия были, несомненно, только дипломатического свойства.

Александрович, которому не давали прохода с насмешками по поводу Чернова, махал рукой и крепко ругался вслух, несколько не стесняясь:

— Ну его к черту!... Опутали, конечно, — куда ему!... Да что там: вот Натансон приедет!...

* *
*

Кроме Чернова в Исп. Комитет вступил и будущий «глава всероссийского трудового крестьянства», будущий министр внутренних дел, президент «предпарламента», член сибирской директории и прочая, и прочая... Это — Авксентьев. Он представлял в Исп. Комитете центральный комитет эсеров. Он заменил Зензинова или кого-то еще. Впрочем, партийных «народнических» представителей вообще развелось в Исп. Комитете невероятное количество: одни заменяли других, но в конце концов участвовали в заседаниях и те, и другие... Что ж поделаешь? Я

обращал на это внимание, но советское большинство, подобно английскому парламенту, теперь уже не могло разве только превратить мужчину в женщину.

Знаменитого Авксентьева я почти не знал лично до революции, но достаточно познакомился с ним на деле в 17-м году. Это старый, честный и убежденный деятель эсеровской партии, без сомнения мнящий себя революционером, социалистом и демократом. Тут никакой хитрости, дипломатии, посторонних мыслей и целей быть не может. Этот симпатичный в обращении человек — можно поручиться — не мог мудрствовать лукаво. По своим убеждениям, направлению, складу — это начитавшийся книг, размагниченный, тяготеющий к «народу», «патриотически» настроенный обыватель. По своим государственным и политическим способностям — это круглый нуль, без сучка и задоринки... Других у эсеров не было. Авксентьев же имел подходящую для «представительства» фигуру и прославленные ораторские таланты: его речи всегда напоминали мне красавиц с обложек и реклам мыла или табака.

* * *

Появлением Авксентьева, как-будто, закончилось «конституирование» нашего Исп. Комитета (по крайней мере в заметных глазу частях его) до самого июньского советского с'езда.

Насущным и неотложным делом Исп. Комитета было упорядочение его организма и его работ. С этим делом ждали только Совещания, которое могло радикально изменить состав центрального советского органа. Но теперь, после того как этот орган

был утвержден и пополнен СовеЩанием, отклады-
вать дело упорядочения работ было совершенно не-
возможно. И, если не ошибаюсь, это был первый
вопрос, который был поставлен на разрешение но-
вого — уже не петербургского, а всероссийского
Исп. Комитета, сейчас же после появления новых
членов в его стенах.

Исп. Комитет, несмотря на наличность (техниче-
ского и довольно слабо работавшего) бюро, несмотря
на энэргичную работу многочисленных комиссий,
— решительно не мог справиться с огромной массой
поступавших в него дел. Это было вполне понятно
и с непреложностью вытекало как из государствен-
но-правовой, так и из политической конъюнктуры
тогдашней Рóссии. Я уже писал о том, что Совет,
без малейшего сознательного к тому стремления, си-
лою вещей, «стихийным» ходом событий — все более
и более расширял свои функции. Чем дальше, тем
больше он становился государством в государстве.

К нему обращалось население по всем делам,
со всеми своими нуждами, с требованиями, с част-
ными, групповыми, общественными и политическими
интересами. Но к нему же чем дальше, тем больше
обращалась за всякого рода содействием и официа-
льная власть, всевозможные правительственные и му-
ниципальные учреждения.

С одной стороны, как снежный ком, росли попу-
лярность и авторитет Совета среди самых широких
городских и деревенских масс. С другой — не только
в эти массы, но и в «общественные» круги, обслу-
живающие частные и государственные учреждения,
внедрялось сознание действительной силы, реаль-
ных возможностей Совета, наряду с сознанием бес-
силля власти и ее органов.

Официальная правительственная машина чем дальше, тем больше, в одной своей части за другой, начинала работать холостым ходом. Помимо желания обеих сторон — официальный механизм вытеснялся Советом.

Не только представители нового советского большинства — из «высоких» политических соображений, но и я, левый и мне подобные — в интересах правильной и экономной, необходимой для страны организационной работы, в интересах устойчивости права, во избежание дезорганизации, — усиленно боролся с этим процессом. Но остановить его было невозможно. А между тем Исп. Комитет совершенно не располагал такими организационными формами, которые соответствовали бы такого рода политической и государственно-правовой конъюнктуре.

Ведь правительственный механизм располагал многими десятками, если не сотнями, больших и малых, десятилетиями созданных учреждений, полномочных решать всякого рода «дела» и специально для того приспособленных. А между тем теперь эти «дела» — вместо всех ведомств и учреждений или наряду с ними — стали чем дальше, тем больше стекаться в Исп. Комитет. Как бы кустарно ни разбираться в тех делах, от которых было нельзя отмахнуться, все же для них требовался отнюдь не Исп. Комитет, как политическое учреждение, а требовалась система органов при Исп. Комитете, примерно отражающая в себе систему министерств и их органов. Ничего этого, вообще говоря, в скольконибудь упорядоченном виде, еще не было. Настоящей же работе Исп. Комитета это страшно мешало и дезорганизовало ее.

Все это, вместе взятое, уже давно заставляло меня

лично настаивать на скорейшей «реорганизации» Исп. Комитета. «Реорганизация» эта, как видим, вытекала из общей конъюнктуры и должна была быть проведена на основе общих соображений о задачах и функциях Совета... Тем не менее, когда я в начале обсуждения попросил слова, Богданов счел необходимым выразить свое удивление по этому поводу: как! он хочет говорить по организационным вопросам, в которых он ровно ничего не понимает...

Настоящей схемы я, действительно, не имел, как не имели ее и другие. Я хотел только настоять на общей тенденции учредить «отделы», параллельные существующим министерствам.

Некоторые из таких отделов в зачаточном виде уже существовали. Напр., существовал уже созданный по инициативе Ларина, под его руководством, «отдел международных сношений». Он уже давно моволил глаза Милюкову и обращал на себя внимание «прогрессивной прессы». Еще бы! этот отдел решительно не желал проходить под ярмом всего «дипломатического» аппарата иностранных дел, унаследованного полностью от Штюрмеров и Сазоновых и оставленного Милюковым (как потом и Терещенкой) в полной неприкосновенности; советский отдел международных сношений действительно поддерживал постоянную связь с социалистической Европой, давал свою собственную, немилюковскую информацию и даже рассылал собственных курьеров. Как было не забеспокоиться «патриотическим сферам?»

Были в Исп. Комитете и еще «отделы» или «комиссии», соответствующие отраслям государственного управления. Но все это было случайно, кустарно,

несовершенно. Я предлагал основательно разработать такого рода схему.

В первую же голову я настаивал на одном предварительном пункте: мне представлялось во всех отношениях рациональным отделить «всероссийскую» часть Исп. Комитета от местной, петербургской. Достигнуть этого можно было хотя бы путем выборов. Результаты же такой самостоятельной организации двух учреждений представлялись мне довольно существенными. Во-первых, функции и весь характер деятельности петербургского и всероссийского Исп. Комитетов должны быть совершенно различными; и если каждое из этих учреждений «специализируется», приобретет свой особый «угол зрения», свои собственные интересы, — то это должно весьма благотворно отразиться на общем развитии каждого из них. Во-вторых, чисто практически — смешение функций, их расплывчатость и неопределенность означают и растрату сил, и несовершенную работу. Зачем всероссийскому органу без особых к тому поводов, систематически заниматься местными петербургскими делами? От этого не могут не страдать и «высокая политика», и всероссийские интересы. С другой стороны, если петербургский Исп. Комитет станет систематически заниматься общими делами, то неизбежно придет в упадок его собственное хозяйство. Практически, — это было, пожалуй, самым важным аргументом. Я уже упоминал о начавшемся разрыве между Исп. Комитетом и петербургскими массами. И при отсутствии самых ревностных попечений о местных делах, об агитации, пропаганде и организации столичных масс, — эта трещина неизбежно должна расти и превращаться в пропасть. Надлежащих ре-

зультатов здесь можно было достигнуть только в специальной, особой к тому приставленной организации...

Я настаивал на полнейшем разделении местного и всероссийского органов и на их самостоятельном дальнейшем развитии, разветвлении, почковании. При этом, рассуждая, как мне казалось, с точки зрения здравого смысла, я лил воду на мельницу большинства и говорил, собственно, против интересов оппозиции.

Мои предложения были, однако, найдены логичными, но не практичными. Они не были осуществлены до окончания июньского советского съезда, который избрал всероссийский Центр. Исп. Комитет. Только тут, в самом конце июня, петербургская организация получила самостоятельное существование...

Может быть, я действительно ничего не понимаю в подобных вопросах. Но я не думаю, что революция, Совет, а главное само злосчастное оппортунистское большинство что-нибудь выиграло от того, что в течение этих двух месяцев в Таврическом дворце не потрудились, как следует, над созданием специальной и крепкой петербургской советской организации. Через два месяца трещина была уже непроходимой. Совет Чхеидзе, Церетели, Дана, Авксентьева и Чернова уже был безнадежно дискредитирован в глазах столичных масс.

Разумеется, основная причина тут не в организации, а в «линии Совета»: никакая организация тут не спасла бы дела. Но трудно отрицать, что кое-что надо отнести и на счет полной заброшенности петербургских масс неприспособленными советскими органами.

В заседании спорили довольно долго и ни к чему не пришли. Избрали комиссию, дав ей — в виду неотложности дела — трехдневный срок. Из новых членов в эту комиссию вошел Дан. Но через три дня она не представила своих заключений. Она затянула работы до приезда из Минска советских лидеров — числа до 10-го или 11-го. Тогда этот вопрос о «реорганизации» имел свое продолжение.

* *
* *

Наряду с общей «реорганизацией» новому Испол. Комитету пришлось немедленно заняться специальной реорганизацией «Известий». Они, хотя и немного улучшились с первой половины марта, но все же были из рук вон плохи; и их тираж, в частности, неудержимо падал. Для суждения о том, что сделать с советским рупором, была также избрана комиссия, в которую вошли — Станкевич, я и опять таки Дан... Мы имели суждения, довольно поверхностное. Я предлагал придать «Известиям» по преимуществу информационный характер, сделать из органа исчерпывающие известия о деятельности и жизни Совета. В таком органе настоятельно нуждалась не только история, но и текущая практика. Между тем, газета в этом отношении была совершенно неудовлетворительна: странно, смешно и стыдно, — но я, при писании этих записок, встречаю несравненно больше сведений о Совете в прочих, даже в буржуазных газетах, чем в советском офицозе того времени...

Публицистику же я предлагал сократить до минимума и сделать вообще не обязательной для «Из-

вестий». Здесь уже я преследовал «свои» интересы, интересы оппозиции, советского меньшинства. Ибо не было решительно никаких оснований, игнорируя это бессильное, но все же очень значительное (процентов в 40) меньшинство, отдавать официальный орган, для борьбы с этим меньшинством, в распоряжение одной части Совета. Защищая интересы оппозиции, я все же полагал, что не выхожу за пределы здравого смысла, равно как и необходимой корректности.

Однако, с моими доводами решительно не согласился Дан. Он, напротив, настаивал, что «Известия» должны быть «боевым органом» Совета. А к Дану «склонился» и трудовик Станкевич. Доклад комиссии об «Известиях» был сделан Исп. Комитету без промедления, 6-го—8-го числа, и был решен до приезда президиума. Стеклов был оставлен редактором «Известий», но для «усиления» Стеклова в редакцию был делегирован Дан... Это было временное решение. О дальнейшей судьбе советского органа будет речь дальше.

* * *

Не могу припомнить — 10-го или 11-го числа в Исп. Комитете появились наши делегаты с минского фронтового съезда: президиум, Церетели, Гвоздев. Они приехали накануне и тогда же, не теряя времени, приступили к делам. Мы сейчас увидим, что они — по крайней мере, некоторые из них — уже успели в день приезда сделать довольно много.

Утром, в один из этих дней, я прогуливался по Екатерининской зале с Церетели, который рассказывал мне о неожиданно грандиозных успехах со-

ветских людей и советских идей на минском с'езде. Для Церетели, как и для меня, не было сомнений в том, что армия завоевана Советом, и что реальная власть ныне — в его руках...

Но мы не кончили беседы. Подошел Эрлих и отозвал меня для конфиденциального и серьезного с ним разговора. Мы с Эрлихом уединились и имели действительно разговор — довольно краткий, но очень содержательный.

— Поговорить с вами мне поручила группа членов Исп. Комитета, стоящих на позиции большинства. Дело находится в связи с реорганизацией Исп. Комитета. Как вы знаете, Исп. Комитет слишком разросся для того, чтобы быть работоспособной организацией. Мы не можем решать то огромное количество дел, которыми мы завалены. Кроме распределения по отделам, для общего руководства и текущих дел придется выделить бюро. Но надо, чтобы это бюро было вполне работоспособным, чтобы оно не растекалось в бесплодных речах, не погибло в пучине праздных слов. Сейчас у нас по каждому деловому вопросу поднимаются бесконечные принципиальные споры, которые практически нисколько не влияют на решения, но вместе с тем совершенно парализуют работу. В бюро этого быть не должно. Поэтому группа лиц, от имени которой я говорю с вами, считает необходимым создать бюро из таких лиц, которые не стали бы убивать время на бесплодные словопрения общего характера. Надо, чтобы у этих людей не было к тому ни нужды, ни охоты... Надо, во-первых, чтобы эти люди могли добросовестно понимать друг друга и могли бы сговариваться без труда; а во-вторых, надо чтобы они умели не приносить дела в жертву своим фракционным

соображениям... Вас лично мы считаем человеком достаточно умным, чтобы оценить общее положение дел, и во всяком случае человеком добросовестным. Поэтому, мы предлагаем вам войти в это бюро. И кроме того мы надеемся, что вы окажете содействие образованию этого делового и работоспособного учреждения...

— А можете ли вы назвать мне остальных кандидатов в это бюро? — спросил я Эрлиха.

Мой собеседник перечислил мне около десятка имен. Это были люди разной партийности и разного колица; но их объединяла сугубая преданность «идеям» нового большинства и их несомненная готовность активно бороться с левыми. Всего списка я не помню. Но из оппозиции в нем фигурировал только один я.

Дело было в общем ясно. В Исп. Комитете образовался «комплот», который пытается развязать себе руки, ликвидировав вообще оппозицию; он пытается, путем закулисной «махиации», узурпировать власть, чтобы без помехи хозяйничать в Совете и в революции, действуя именем Исп. Комитета.

Собственно, ничего удивительного во всем этом нет: это — естественные стремления «инициативной группы» лидеров, получившей в свое распоряжение доверие и поддержку бессловесных масс. Но удивительно, как быстро, грубо, беспардонно, примитивно пошла по этому пути группа наших советских лидеров. Ведь она даже не дала себе времени окончательно убедиться в окончательной кристаллизации, в полном укреплении своего большинства. Очевидно, некий «темперамент» и некая «идейка» — гонят на пропалую и не дают ни отдыха, ни срока.

Не особенно понятно, для чего понадобился я этой

почтенной группе... На мою солидарность с ними они рассчитывать, казалось бы, не могли; на приятное и гладкое сотрудничество со мной — точно также: мой характер совсем не из приятных. В качестве «заложника» — так, как Керенский был нужен Львову и Гучкову — я был годен только совсем на худой конец. Ибо за мной — по прежнему нефракционным человеком — не стояло никакой солидной сплоченной группы, и мое участие в бюро отнюдь не смягчало бы оппозиции...

Но, с другой стороны, ни один заметный партийный деятель из левых заведомо не вошел бы в такое «бюро». А иметь в нем представителя оппозиции, в демонстративных целях, было все же очень желательно. Очевидно, более подходящего, чем я, не нашли.

Эрлиха я, с своей стороны, также считал достаточно умным и добросовестным человеком. Но, очевидно, авторитет и натиск Церетели легко преодолевали такого рода препятствия... Мне пришлось ответить Эрлиху безо всяких колебаний и без лишних слов, — что созданию «делового и работоспособного бюро» с перечисленным составом я не только не окажу содействия, но по мере возможности помешаю ему. Сам же к такому бюро «не подойду ближе, чем на пушечный выстрел»... Наш разговор на этом кончился.

Но история «однородного бюро» конечно, только начиналась. Это во многих отношениях не очень веселая история. Но из песни слова не выкинешь. А я, как известно, вообще не имею ни малейшего намерения выкидывать какие бы то ни было слова из моей песни. Я очень жалею, что не помню всех деталей этой истории. Еще более буду жалеть,

если мне докажут, что я помню и излагаю не так, как то было в действительности. Но пусть это докажут и пусть меня опровергнут. Я же расскажу, по обыкновению, все, что я помню, и именно так, как это сохранилось в моей памяти.

Часа в 3—4 открылось заседание Исп. Комитета, где должно было «продолжаться слушанием» дело о реорганизации. Мне помнится, что вместо доклада и проекта нашей официальной комиссии, кто-то от имени группы, объединившейся около президиума, предложил схему будущих «отделов»; главное же внимание этот оратор уделил организации бюро и огласил список кандидатов.

Все это уже не было неожиданностью почти ни для кого из присутствующих. Предварительная приватная агитация велась весь день довольно широко. Правое большинство уже, повидимому, было целиком осведомлено обо всех планах. А из правящего большинства новость не могла так или иначе не просочиться и в сферы оппозиции. Я с своей стороны также по мере сил старался подготовить левую.

Краткое, почти не мотивированное «сообщение», разумеется, было принято слева в штыки. Я лично, взяв слово, выражал свое крайнее недоумение по поводу проекта «группы президиума». Что касается конструкции отделов, то мне она представлялась неудовлетворительной и требовала особого обсуждения. Но сейчас была важнее политическая сторона дела. Список кандидатов составлен исключительно из представителей советской правой. Там были представители и крупных, и мелких правых партий. И при том были такие, которые отнюдь не проявляли до сих пор какой-либо активности в

советской работе. Все же права, все мнения и самое существование левой оппозиции — совершенно игнорировались проектом «группы президиума».

Между тем, левая оппозиция достигает 35—40% всего Исп. Комитета. Ее участие в работах не только очень велико: оно дает огромные практические результаты. До сих пор «линия» советской политики проходит по равнодействующей, а далеко еще не по линии большинства. До сих пор меньшинство еще висит тяжелыми гириями на плечах «группы президиума». До сих пор оно связывает большинство по рукам и ногам.

Правда, тем понятнее стремление окончательно, одним махом, разделаться с оппозицией. Тем более необходимо, с точки зрения правых, парализовать левую. Но ведь при всех указанных условиях, передача всей власти (фактически) в руки «группы президиума» была бы равносильна *coup d'état*, хотя и была бы основана на голосовании пленума Исп. Комитета... Нет, оппозиция не признает своего упразднения и будет решительно бороться за свои права.

— А в частности, — спрашивал я, — как могло, напр., случиться, что при наличии в списке кандидатов почти неизвестных в Совете людей, там не выставлена кандидатура столь заслуженного и активного работника, как Стеклов, который до сих пор занимает ответственный пост редактора «Известий»?... Редакция советского органа, по предлагаемой схеме, приравнивается к «отделу». Все же заведующие отделами являются членами бюро. Значит ли это, что Стеклов увольняется «по 3-му пункту», без мотивировки, одним поднятием рук, солидарных с «группой президиума»?...

Помнится, именно тут, после обстрела слева, произнес свою речь Церетели. Надо думать, почтенная инициативная группа желала провести свой план без шума, «тихой сапой». Вероятно, она питала надежду, что будет оглашен проект, потом будут подняты в достаточном количестве послушные руки, и все будет кончено. Впоследствии, в недалеком будущем когда большинство окончательно окрепло и стало всеильным, именно так проводились самые ответственные решения. Сейчас так не случилось, и волей-неволей пришлось пустить в ход тяжелую артиллерию.

Для Церетели характерна не только слепая прямолинейная скачка. Для него характерно и то, что в этой скачке он проявляет завидное, не многим доступное мужество и прямоту. Он ведет самую недопустимую закулисную игру: он строит самые сомнительные «махинации» — ради поставленных целей. Но он не стесняется делать это заведомо для всех, — можно сказать, у всех на глазах. И он с большим мужеством, с большой — «цинической» — прямотой, в случае нужды, заявляет об этом открыто. Принимай его, каков есть: хочешь иди за ним, хочешь иди против...

За ним несколько месяцев шли в Совете, так как он хорошо вел милую наличному большинству, мужицко-обывательскую, соглашательскую политику. И эти личные его свойства — его «циническая» смелость, его примитивно-откровенное политиканство — отнюдь не умаляли его авторитета и популярности. Широкие круги находили в этом «оттенок благородства». И я, с своей стороны, не буду спорить против этого... Но если Церетели не мешали эти свойства, то слепота не только погубила его в конечном

счете: она заставляла его конфузно спотыкаться и во все время скачки.

Сейчас, убедившись, что дело не пройдет тихо и гладко, Церетели выступил с речью. И здесь, публично, он и не подумал прибегнуть к тем смягчающим, дипломатическим приемам, какими действовал Эрлих даже в приватном разговоре со мной. Церетели поставил все точки над и... Да, по каждому вопросу меньшинство поднимает принципиальные споры и тормозит работу Совета. Да, меньшинство только мешает, потому что «линия Совета» вполне определилась, и оппозиция меньшинства ни к чему на практике не приводит. Поэтому меньшинства и не нужно в бюро. Тогда бюро, принципиально отражая волю всего Исп. Комитета, волю большинства демократии, будет работоспособным и деловым... Меньшинству это не нравится. Что же делать! Боритесь за преобладание в Совете, создайте себе большинство и тогда диктуйте свою волю.

Общая позиция, тенденции, «принципы управления» — были совершенно ясно сформулированы... Большевики имели все основания намотать себе на ус эти золотые слова. На первых порах большевистского господства в петербургском совете, еще до октября, я и называл Троцкого и Каменева плохими учениками Церетели. Впоследствии, став у власти, они, разумеется, далеко превзошли своего учителя.

— Что же касается, в частности, Стеклова, — продолжал Церетели, — то группа президиума хорошо знает его деятельность в Совете; но по совершенно особым причинам она считает невозможным выдвигать Стеклова на высшие, ответственные, руководящие посты...

Если большинство было уже достаточно крепко, если группа президиума на что-нибудь да рассчитывала, внося свой проект, если она для его прохождения приняла надлежащие предварительные меры, — то Стеклов тут явился совсем не кстати подоброщенной апельсинной коркой. Но поскольку на таком пустяке «группа президиума» ухитрилась только благодаря Церетели, который зарвался в своей слепоте.

Стеклов, разумеется, немедленно потребовал объяснений, и все дело приняло неожиданный оборот. «Объяснения» были даны. Церетели храбро заявил, что «особые причины» заключаются в личной биографии Стеклова: оказывается, он переменял фамилию, еврейскую на русскую, и официально подавал об этом прошение Керенскому, который удовлетворил Стеклова.

Последовал взрыв изумления. Стеклов, получив слово, долго доказывал, что инкриминируемый поступок есть его совершенно личное дело, что ни малейшего отношения к общественности это дело не имеет. Он ссылался и на здравый смысл, и на многочисленные прецеденты, называя европейски известных лиц, также закрепивших за собой произвольные имена. Дело было, вообще говоря, ясно. В деяниях Стеклова, повидимому, даже большая часть правых не находила ничего предосудительного. Армия Церетели дрогнула и растерялась.

Начали высказываться записавшиеся ораторы — больше левые, если не одни левые. В речах то и дело мелькали слова «возмутительно», «позорно». Помню, очень резко говорили Красиков и Юренев. Никто как будто не отважился на поддержку смехотворно-нелепого выступления Церетели. «Группа

президиума» усиленно перешептывалась между собой. Наконец, от ее имени кто-то из лидеров заявил:

— В виду того, что в собрании обнаружилось резкое течение против группы президиума, и даже раздавались по ее адресу также слова, как «позор», президиум считает невозможным далее вести собрание и должен удалиться для обсуждения, что ему делать.

Был объявлен перерыв. Президиум удалился. Вместе с Чхеидзе и Скобелевым вышел Церетели. Он, правда, не был в составе президиума и вообще не занимал никакого официального поста: даже не имел решающего голоса в Исп. Комитете. Но — он, очевидно, считал себя призванным решать дела президиума... Собрания это не касается. Насколько помню, кроме названной тройки не вышел никто. Но не ручаюсь.

Среди меньшинства было настроение такое, что если «президентский кризис» был рассчитан на панику и отступление, то эти расчеты были совершенно ошибочны. Большинство же, еще не окрепшее, еще не имевшее организационной сплоченности и дисциплины, терялось все больше и не знало, что делать. Не помню, — в отсутствие ли президиума или по его возвращении — один из незаметных сторонников большинства солдатский депутат (а вообще говоря — музыкант, случайный человек в политике), Заварин, произнес взволнованным голосом речь, умоляющую старых революционеров, вождей и учителей прекратить распрю и не производить смятения среди молодых и неопытных деятелей, не знающих, как реагировать на все происходящее...

Кажется, Дан оставался в зале во время перерыва. Чернова же, насколько помню, не было совсем.

«Группа президиума» наивно зарвалась, смешно попала в просак. Вопрос о Стеклове, конечно, не стоил того в ее собственных глазах... Собственно говоря, Стеков был в этот период совершенно «лоялен» по отношению к большинству и поддерживал как будто прежние политически-дружественные отношения с президиумом. Именно этот инцидент навсегда отбросил Стеклова от правящей группы; по крайней мере, он положил начало прочному пребыванию Стеклова в оппозиции и его кочеваниям среди интернационалистских групп.

Но все же стремление отделаться от него не было удивительно. Стеков был не надежен. А кроме того это — такой странный личный тип, который исключает тесный (даже чисто деловой) контакт с ним, — хотя против такого контакта иногда и крайне трудно было бы подыскать теоретические возражения. Это тип одиночки, который при всем своем искреннем желании приспособиться и войти в контакт — все же никак не «растворяется» ни в какой среде. Нам придется об этом вспомнить, когда речь будет идти о редакции «Новой Жизни».

В правящей группе Чхеидзе-Дана-Церетели Стеков был тем более немыслимым инородным делом. Но средства, которыми в данном случае хотели от него отделаться, были не допустимы, да и не стоили цели.

Кроме того, мне вспоминается еще один предварительный инцидент со Стековым. Но характерен он не для Стеклова, а опять таки для Церетели, и обходить его молчанием нет оснований... Еще в дни всероссийского Совецания я застал однажды Церетели в зале Исп. Комитета, одиноко сидящим на диване: на нем, как говорится, не было лица.

— Что же это, — ведь так же невозможно: — остановил он меня, почти задыхаясь от досады и гнева и продолжая свои мысли. — Его надо отставить, — Стеклова. Он совершенно не может исполнять дело...

— Какое дело?

— Да никакое... очевидно, не может. Вот уже три дня я от него требую, и он все не выполняет.

Оказалось, что Стеклов почему то не печатал в «Известиях» какой-то речи Церетели, кажется, искаженной в буржуазной печати. Церетели не замедлил вынести это «дело» в пленум Исп. Комитета и получил удовлетворение...

Личной приязни во всяком случае не было между двумя почтенными деятелями. Разумеется, этому нельзя приписывать образ действий Церетели при составлении «однородного бюро»: для этого Церетели был слишком честным деятелем. Но этот фактор все же не мешает учесть: ибо даже эта история с напечатанием речи свидетельствует о том, что у Церетели было слишком много темперамента...

В точности я не помню, но как будто бы в отсутствии президиума сторонники большинства поставили вопрос о доверии. Вся левая во всяком случае либо воздержалась, либо голосовала против. Но, кажется, набралось кое-какое большинство, и об этом было послано сообщить «группе президиума»... Они вернулись и сообщили, что при таких условиях они считают возможным остаться на своих постах. Было ужасно противно все вместе взятое, и было ужасно конфузно. И было жаль Чхеидзе.

Однако, даже голосовавшие за «доверие» вовсе не обязательно признали своим вотумом правоту группы президиума. И тем более — этот вотум не означал

принятия предложений этой группы. Напротив, если раньше «махинация» с однородным бюро была подготовлена, то теперь она определенно была сорвана. Инцидент со Стекловым прорвал блокаду меньшинства. И Исп. Комитет уже собирался приступить к выборам бюро в обычных формах — отчасти по индивидуальности кандидатов, отчасти по соотношению партийных сил. Во всяком случае представительство в бюро меньшинства было теперь обеспечено.

Но время было уже позднее. Отложив выборы на завтра, все расходились в возбуждении, продолжая споры, переваривая довольно сильные, но мало приятные впечатления дня... Здесь — не то после заседания, не то во время «ухода» президиума — я помню свое первое столкновение с Даном, хотя не могу припомнить его деталей. Кажется, я сказал что-то весьма неодобрительное по адресу «группы президиума» и настаивал на «твердой» позиции по отношению к ней. Дан же как будто резко оборвал меня, сказав что-то насчет «деликатности»... Да, это понятие «деликатности» в политической борьбе неизбежно приобретает крайне относительное и субъективное, иной раз прямо готтентотское значение. Но кто из нас был прав тогда — не знаю.

Реорганизация Исп. Комитета и история с «однородным бюро» продолжались еще дня два или три. Лидеры большинства были вынуждены к уступкам и к более осмотрительной политике. Но они далеко не сдавались и еще продолжали нападать. С другой стороны, вся оппозиция сплотилась воедино и была готова к самому решительному сопротивлению. Борьба в эти дни была самая ожесточенная. Два крыла Исп. Комитета по долгу заседали в эти дни

в разных концах Дворца. Разрабатывали планы атак, тщательно обсуждали кандидатуры, распределяли роли. Крупнейшую роль в оппозиции Исп. Комитета теперь играли большевики. Их фракция теперь насчитывала около 10—12 человек и они были сплочены, действуя под предводительством Каменева, который обыкновенно и председательствовал на собраниях оппозиции — в низенькой комнате наверху, вероятно в бывших апартаментах потемкинской челяди... Остальные же члены левой были довольно распылены, а частью и неустойчивы.

Неприятность для оппозиции и реванш для правой создало продолжение дела Стеклова. Услужливые газетчики или другие услужливые люди поспешили на помощь с сенсационным открытием: оказывается, Стеков не ограничился «переменой фамилии» после революции при содействии Керенского, а еще при старом режиме подавал на этот счет прошение самому царю, но безуспешно...

Конечно, все это свидетельствовало о большой личной слабости Стеклова к своей злосчастной фамилии. Но все же это попрежнему не имело никакого общественного значения. Это нисколько не опорочивало 28-летнюю революционную деятельность Стеклова и не должно было бы никак влиять на его дальнейшее положение в революции. Подача прошения «на высочайшее имя» насчет фамилии была пустой формальностью, вытекавшей из различных узаконений в этой сфере: до царя эти прошения, разумеется, не доходили и только адресовались на его имя; и конечно они не заключали в себе никакой обязательной мотивировки политического характера.

Огромная ошибка Стеклова состояла только в

том, зачем он делал тайну из своих дел о фамилии, зачем он допустил, чтобы товарищи узнали обо всем этом в порядке «разоблачения». Узнай об этом Исп. Комитет естественным путем, едва ли кто придаст бы этому большее значение, чем придаются вообще людским личным слабостям... Но «сенсационное разоблачение» изменило дело.

Разумеется, вся большая пресса подняла вой. Все вечно холопствующее мещанство сделало вид, что для него подача прошения на высочайшее имя есть ужасно одиозный и позорный акт. Да и в советских кругах большинство стало усиленно играть на этом одиозном понятии, отождествляя этот акт с политическими раскаяниями бывших революционеров. С глазами, полными деланного ужаса и неподдельного злорадства, советские правые останавливали левых:

— Ведь вот как обстоит дело! Стало быть, Церетели только защищал достоинство Совета. Разве же можно Стеклова — на ответственный пост!...

И все это подействовало на многих левых. Несколько человек категорически отказывалось голосовать за Стеклова. Вообще, во всем контексте событий, это отразилось на «духе» и общей устойчивости левой. А между тем, любопытно вспомнить, что в это время Стеклов совсем и не был обязательным и признанным членом оппозиции. В совещаниях левой наверху, в низенькой комнате, он не участвовал.

На второй день «группа президиума» представила уже другой список кандидатов в бюро. Не могу припомнить, фигурировал ли там Стеклов, но в нем во всяком случае было уже несколько представителей оппозиции. Однако, левая решила помириться только на пропорциональном представитель-

стве. Собственно, никаких твердых сил для того, чтобы настоять на этом, у оппозиции не было. Но ей придал духу случайный моральный урон большинства...

Теперь, именно в силу моральных причин, уступки уже были вырваны. И второй «льготный» список, казалось бы, должен был пройти голосами большинства — несмотря на все рвение оппозиции. Но делу, в создавшейся неустойчивой атмосфере, снова помогли причины «морального» характера: Церетели снова зарвался и снова — в своем слепом стремлении развязать себе руки для объятий с буржуазией — проскакал дальше, чем были готовы за ним следовать иные элементы советской правой. Церетели выставил неприличное требование — закрытых (от членов Исп. Комитета) заседаний бюро. И он, в своей мотивировке, откровенно провел аналогию между комитетским пленумом и парламентом, между бюро и министерством. Все это было и не «научно», и не законно, и не корректно. В этом смысле кратко, но резко выступали Каменев, я и кто-то из большинства. Предложение Церетели было провалено.

И уже создавалось ощущение наклонной плоскости, на которой стоит большинство. Оппозиция ударила в атаку и ликвидировала второй список. Пропорциональное представительство в «министерстве», казалось, было уже обеспечено...

Большинство стало изыскивать обходные пути и комбинации, чтобы сохранить идею «однородности» и захватить власть. Состав бюро был расширен: во главе отделов было решено поставить уже по два, а иногда и по три человека — с тем, чтобы ни одним отделом не заведывал представитель оппо-

зиции. Это прошло при голосовании. Прошло и решение выбирать в бюро не только членов Исп. Комитета с решающими голосами, но и «совещательных» сотрудников: это развязывало правящей группе руки для полного произвола при комплектовании «министерства». И, наконец, применительно к новым обстоятельствам, были внесены «коррективы» в самую схему отделов.

Здесь большинство, спасая свою «линию», целиком принесло в жертву политике сколько-нибудь разумную организацию Исп. Комитета. Отделы были созданы совершенно беспринципно; иные из них были фиктивны, а их заведующие были чисто «политическими министрами». Так были созданы наседающие друг на друга отделы: продовольственный, аграрный и экономический, при чем во главе последнего был поставлен Либер!

Вообще, политиканская игра «группы президиума» развертывалась во всю: летучие «махинации», во время самых заседаний, сменяли одна другую. И одна из них имела совершенно неожиданный успех. После какого-то «подвоха» со стороны большинства, в оппозиции разразилась буря негодования. И тут большевики заявили, что «при таких условиях» они совершенно отказываются входить в бюро. Уже избранные их товарищи сняли свои имена из списка. А к большевикам присоединились и многие члены небольшевистской оппозиции.

Я протестовал насколько мог энергично, но безуспешно. Ничего не поделаешь: это высшая большевистская мудрость, проявляемая ими по малейшему поводу всегда, когда они в меньшинстве, — отовсюду уйти, все бойкотировать, ни в чем не участвовать... Напрасно убеждал я и других интер-

националистов: иные были слишком возмущены, чтобы рассуждать хладнокровно, иные ссылались на то, что оппозиционный блок и наши совещания обязывают к солидарным действиям. Это было совершенно неправильно: в данных пределах мы были совершенно не связаны, и ни о чем подобном речи в совещаниях не было. Если же кто нарушил обязательство, то это были большевики, сделавшие свое выступление совершенно самостоятельно, импрессионистски, для всех неожиданно, без предварительного сговора.

Несмотря на все это, я был в затруднительном положении. Но в конце концов поступил согласно своему праву и своему разумению: я чуть ли не один из всей оппозиции остался в бюро.

Большинство, неожиданно для себя, в конечном счете праздновало победу: оно имело «однородное бюро». Правда, не всякий склонен и способен побеждать такими средствами. Но все же тут статисты большинства могли утешать себя и рыцарски сожалеть о судьбе противника: что ж, ведь сами не захотели...

Однако, победа все-таки была кажущаяся, не реальная. Конечно, не потому, что Стеклов таки остался в редакции «Известий», а кажется, даже и в бюро. Нет — без шуток — победа была не реальна: потому что из бюро совершенно не вышло ни «министерства», ни вообще такого учреждения, на какое рассчитывало большинство. Ни по своим функциям, ни по своему весу, ни по своей фактической деятельности — бюро не вытеснило Исп. Комитета. Я забыл упомянуть о требовании Церетели, чтобы Исп. Комитет заседал отныне не то раз, не то два раза в неделю; в этом ему также было отказано.

Но так или иначе «инициативная» группа рассчитывала, что Исп. Комитет ныне станет фиктивным учреждением и будет вытеснен «однородным бюро». Это не случилось ни в какой степени. Напротив, бюро, как политический орган, было совершенно фиктивно. Все политические функции попрежнему сохранились за Исп. Комитетом, который за редкими исключениями попрежнему заседал каждый день.

Все это, собственно, означает, что идея реорганизации Исп. Комитета более или менее потерпела крах... «Отделы», правда, кое-как, очень слабо работали. Я был, вместе с Гоцом, назначен заведующим аграрным отделом (не знаю, почему им не стал Чернов). Вместо «логичного» выделения всей петербургской организации был создан «практичный» «городской отдел» Исп. Комитета — во главе с «совещательным» втородумцем Анисимовым, которого до той поры огромное большинство членов не знало в лицо...

Но почти не осуществилась идея упорядочения общей работы Исп. Комитета и его разгрузки от непосильных текущих дел. Исп. Комитет был попрежнему завален ими и попрежнему, в своем пленуме, растекался в широких принципиальных спорах, попрежнему, убивал массу времени совершенно бесплодно — на всевозможные большие и малые, общие и чисто практические вопросы.

Я описал, как и почему это вышло. Сейчас только и было возможно — либо такое положение дел, либо полная диктатура «группы президиума», опирающейся на мелкобуржуазное, мужицко-согласительское большинство. «Группа президиума» рассчитывала на последнее, но ошиблась в расчетах:

большинство еще не окончательно затвердело для слишком примитивных, «цинических» экспериментов. Чем дальше, тем «группе президиума» становилось все легче, почва для нее становилась все тверже; дальнейшие «махинации» проходили все глаже...

Победа большинства с организацией однородного бюро, повторяю, была кажущейся: бюро, хотя и было без оппозиции, но не имело никакого значения. Однако, эта фиктивность победы большинства в этом отдельном предприятии, конечно, не могла изменить и ничуть не изменила общего течения дел. Работы Исп. Комитета были не упорядочены, но большинство все крепло, все твердело и все более выявляло черты советской мелкобуржуазной, соглашательской диктатуры, отдающей интересы демократии в руки буржуазии и толкающей революцию в болото.

4. НА НАКЛОННОЙ ПЛОСКОСТИ

«Первое мая» в Исп. Комитете. — Прием англо-французской делегации. — Деловые переговоры. — Комиссия. — Итоги переговоров. — Гражданин Тома и прочие иностранцы. — «Свободная Ассоциация Наук». — Железнодорожники и «Комиссия Плеханова». — Аграрные дела в Совете. — Аграрные дела вообще. — Продовольственная разруха. — Солдатики. — «Контактные дела». — Арест Троцкого. — Задержание Платена. — «Дальнейшие шаги» к миру. — Выступление Чернова. — Новая нота. — Приезд Ленина перед судом министров. — Мои «бестактности». — Милюков нарушает договор 2-го марта и ограничивает политическую свободу. — «Контактная комиссия» перед судом Исп. Комитета. — Нотариус и два писца необходимы для Церетели. — Гучков об армии. — Надо прекратить разговоры о мире. — Гучков понимает, но не хочет понимать. — «Заем свободы». — Агитация и пресса о военном займе. — В Исп. Комитете. — За и против. — Решили поддержать, но не поддерживают. — Последние колебания большинства. — «Бережение Вр. Правительства». — Военный заем в Совете. — Последний компромисс. — «Новая Жизнь». —

Кажется, на другой день после дебюта Ленина в «объединительном» собрании социалдемократии, Исп. Комитету пришлось избрать делегатов на минский фронтальный съезд, а затем заняться вопросом о предстоящем первом мае. Вопрос о том, когда именно праздновать первое мая, по старому или по новому стилю, насколько помню, не возбудил споров. Было решено праздновать со всей рабочей Европой, 18-го

апреля. Но я припоминаю маленький инцидент с вопросом о знамени Исп. Комитета.

Какой лозунг выставить, какую сделать надпись на этом официальном советском знамени?... Предлагались различные варианты, и спорили об этом довольно долго. Одна сторона — больше левая, чем марксистская — защищала надпись: «пролетарии всех стран, соединяйтесь!» Другая отстаивала эсеровскую мораль: «в борьбе обрешь ты право свое!» Маленьким советским группкам хотелось при таких условиях выдвинуть и свою партийную лавочку (н.с.-ы писали «все для народа, все через народ»); но они помалкивали — за безнадежностью — во время спора крупных держав. Дело начало склоняться к тому, чтобы поместить на советском знамени обе надписи — и социалдемократов и соц.-революционеров...

Я, будучи внефракционным, категорически выступил против такого проекта, отстаивая для советского знамени единый лозунг: «пролетарии всех стран, соединяйтесь»... Я говорил, что между ним и эсеровской формулой нет ничего общего: один — партийный девиз одной из фракций российского социализма, тогда как другой — международный лозунг, исторически слитый с мировым рабочим движением, от его колыбели до настоящих дней. Этот лозунг и должен быть на знамени Совета.

Если же, вместо того, выбирать наши российские партийные девизы или их комбинации, то почему отвергать, почему не включить в комбинацию и н.с.-ов? Я прибавил, что в качестве самого правого эсера я не протестовал бы против моего предложения; наоборот, я приветствовал бы его, что-

бы подчеркнуть связь с международным рабочим движением той партии, которая себя считает социалистической, а другими квалифицируется как мелко-буржуазная.

Мое выступление, неожиданно для меня, взорвало эсеров. Добродушный Гоц говорил мне потом, что он «не забудет» мне этого выступления. А не столь добродушный Зензинов, без прямого к тому повода, пропечатал (в статье за своей подписью) — этот «инцидент» в «Деле Народа». В чем заключалась суть его обвинения, — я до сих пор не понимаю.

Незначительным большинством были приняты для советского знамени оба лозунга. Вотум этот обязан едва ли не «мягкосердечию» Каменева, который недавно появился в Исп. Комитете и начал с «социал-предательской» любезности правым эсерам...

Надо было, однако, создать организацию первого мая. И вот на исходе заседания, когда членов оставалось немного, избрали комиссию для организации торжества; комиссия была из одного человека, и этим человеком был я... Это была почти шутка и издевательство. Устройство первого мая — это была грандиозная организационная задача, и я был для нее вероятно наименее подходящим из всех присутствующих. Мои протесты не привели ни к чему, и эти милые выборы, при общем смехе, были занесены в протокол.

Но, собственно, положение было не шуточное... Я немедленно отыскал «похоронного студента» с его комиссией, поговорил еще с несколькими лицами из художественных сфер, а кроме того атаковал двух-трех всезнающих и практических людей, вращавшихся вокруг Исп. Комитета. Все они вместе и составили действительно «комиссию по организации

первого мая». Эта комиссия развернулась в большое учреждение, работавшее две недели денно и нощно, не покладая рук, и с блеском выполнившее свою задачу. Я не принимал в этой работе никакого участия, — только осведомлялся по временам, как обстоит дело и все ли благополучно с первым мая.

С первым мая было более, чем благополучно. Во всех смыслах, со всех сторон организация праздника оказалась на высоте; а самый праздник затмил все, когда-либо и где-либо виденное в области народных торжеств в капиталистическую эпоху...

Знамение апрельского периода революции, характеристика «кон'юнктуры», символ неслыханных побед демократии: впервые в истории буржуазное правительство объявило день смотра пролетарских сил общенациональным п р а з д н и к о м.

А кроме того, потомству оставлен такой документ революции, не требующий комментариев:

«ПРИКАЗ по Петроградскому военному округу, за № 170-а, от 17 Апреля 1917 г.: Завтра 18 Апреля (1 Мая) по случаю всемирного рабочего праздника в войсках вверенного мне Округа занятий не производить. Войсковым частям, с оркестрами музыки, участвовать в народных процессиях, войдя в соглашение с районными комитетами.

Подписал: Главнокомандующий войсками Округа,
Генерал-лейтенант КОРНИЛОВ».

* * *

В эти же дни Исп. Комитету пришлось уделить много времени еще одному делу, довольно неприятному и тягостному не только для мне подобных,

но, кажется, и для огромного большинства. Это были приемы иностранных делегаций.

7-го или 8-го числа английские и французские гости снова явились в Исп. Комитет — уже для деловой беседы. Они передали нам письмо от французского социалистического меньшинства, представителей которого г. Рыбо не пустил в Россию... Приступив к делу, гости излагали свои собственные взгляды на войну и мир, а затем долго и тщательно расспрашивали нас о позициях и планах Совета.

Марсель Кашен, говоривший от имени французов, обнаружил, что он достаточно ориентировался в обстановке за эти дни; и несомненно, он проявил и дипломатические таланты, и действительное стремление найти общий язык, понять противника, нащупать почву для компромисса с теми, кому он определенно не сочувствовал. Его поддерживали и товарищи, Муте и Лафон, — впрочем, почти не говорившие. Вообще французы проявляли величайшее внимание, тщательность, пожалуй, даже напряженность в этих беседах, и было видно, что они крайне серьезно относятся к своей миссии.

Может быть, так же относились к ней и англичане; но нельзя сказать, чтобы они с тем же искусством выполняли ее. О'Греди от имени английской делегации произнес речь без малейшей дипломатии по отношению к «циммервальдскому» Совету. Вся его дипломатия состояла в том, чтобы прикрывать (надо думать, не сознательно) грабительские планы своего правительства обычной фразеологией насчет германского милитаризма, защиты свободы, права, цивилизации и пр. Это была дипломатия Ллойд-Джорджа и Милюкова. И вся его речь в Исп. Комитете была почти точной копией с публичных речей

союзных правителей, — разве только с более частыми ссылками на авторитет и желания английского рабочего класса. В тех местах речи, когда на митингах обычно раздаются аплодисменты, проявлял признаки жизни рядом сидевший, нестерпимо скучавший и откровенно дремавший грузный Торн, который издавал в этих случаях невнятные, но определенно одобрительные звуки. На нас же — вероятно, не только на меньшинство — выступление англичан произвело неприятное впечатление. С этим — можно было во всяком случае не ехать так далеко...

Я совершенно не помню, кто и что отвечал иностранным гостям. Вероятно, все же им дали понять, что с голой империалистской фразеологией апеллировать к нам нет смысла, что мы — не дети, а это собрание — не митинг. Положение стало более затруднительным, когда начался допрос (преимущественно — со стороны французов) о взглядах Исп. Комитета на различные вопросы конкретного характера.

Пока речь шла об одной стороне дела — о взглядах на вооруженный отпор германским насильникам, на боеспособность армии, на работу заводов для обороны и т. п., — до тех пор ответы были точны и ясны. Вместе с тем они вполне удовлетворяли, «утоляли» и одушевляли иностранцев. На основании этих ответов они публично, в печати заявляли потом, что наши разногласия не так велики, что общая платформа может быть без труда найдена, и что первоначальные их опасения не оправдываются. Вполне точные и опять-таки благоприятные ответы мог дать Исп. Комитет относительно сепаратного мира.

Но начались существенные затруднения, когда

речи повелись в плоскости борьбы за мир. Иностранные делегаты в особенности интересовались советской платформой мира и, в частности, конкретным содержанием формулы «без аннексий и контрибуций»... С этим у нас дело обстояло плохо. Относительно самостоятельной разработки условий мира у нас в Исп. Комитете только поговаривали; но еще ничего конкретного для этого сделано не было. Какие переделки европейской карты являются аннексиями и какие, по мнению Совета, не подходят под это понятие? Что думает Исп. Комитет относительно Эльзас-Лотарингии, Польши, Армении, колоний. В каких пределах и в каком смысле понимать термин «самоопределение»? Какое отношение существует между понятиями контрибуции и возмещения убытков?...

По всем подобным вопросам Исп. Комитет не мог дать тут же в заседании ни исчерпывающих, ни точных, ни единодушных ответов. Поскольку они все же давались, они уже не удовлетворяли иностранцев. Ибо эти ответы — в общей, а не конкретизированной форме — вызывали с их стороны заявления, что они с нами совершенно единодушны, что они с энтузиазмом поддерживают нас и т. д. Помилуйте! Англия никогда не имела и мыслей ни о каких насилиях, ни о каких аннексиях и контрибуциях! А французских социалистов не только не может испугать совместная борьба за отказ от всяких завоевательных целей, но может только глубоко обрадовать подобная позиция Совета: ведь они у себя на родине делают тоже самое, или вернее... делали бы, если бы их правительство задалось подобными целями... И т. д.

Наши сколько-нибудь общие ответы так же не

удовлетворяли иностранцев, как и нас отнюдь не радовали такого рода заявления наших гостей. Обе стороны отлично чувствовали, что эта внешняя, чисто словесная солидарность скрывает глубокое внутреннее расхождение. В их выражениях солидарности с нашими общими формулами мы видели не более как попустительство (с их стороны) империалистской идеологии. С точки зрения циммервальдской части Исп. Комитета — это было не что иное как социалистическая классовая несознательность наших гостей. Иностранцы же, с своей стороны, хорошо чувствовали, что советские «пацифисты» вкладывают в свои ответы свое особое, мало благоприятное для них содержание.

По длинному ряду конкретных вопросов сговориться и понять друг друга до конца — было совершенно невозможно. Поэтому дело кончилось тем, что Исп. Комитет избрал особую комиссию для подробных переговоров с англо-французской делегацией... Официальные лидеры Совета были в отъезде; остальные — либо не придавали значения всему этому делу, либо без лидеров чувствовали себя распыленными, расхлябанными и не имели достаточно сил, — но состав этой комиссии вышел необычным и странным для того времени: она была составлена из недостаточно определившегося представителя большинства Дана, колеблющегося Стеклова и двух интернационалистов — Гриневича и меня. Между тем, дело было важное: ведь комиссии приходилось выступить в роли истолковательницы русской революции перед союзным социализмом.

Иностранцы явились в комиссию точно в назначенный час, с переводчиками, с ассистентами и с записными книжками в руках. Мы же далеко не

оказались на высоте: мы не подготовились к беседе и заранее не формулировали ответов на конкретные «проклятые» вопросы. Кроме того, Дан совсем не явился в заседание.

Беседовали долго и обстоятельно. Французы записывали все наши объяснения. Довольно много внимания уделили на этот раз предполагаемой социалистической стокгольмской конференции. Англичане, кажется, на этот счет больше отмалчивались, как от дела для них по меньшей мере темного. Французы же, после тщательных взаимных реплик, после устранения всех сомнений, выразили согласие содействовать во Франции созыву конференции и настаивать на официальном участии в ней французского социалистического большинства.

Потом французские делегаты подтвердили это свое обещание в пленуме Исп. Комитета, а по возвращении во Францию действительно выполнили его... На практике это, как известно, не привело к желательному результату. Но все же с нашей стороны это был значительный дипломатический успех, а со стороны французов это было свидетельством их искреннего стремления найти общую почву с русской революцией.

Наша долгая беседа в комиссии едва ли выяснила все вопросы так полно и точно, как было бы желательно делегатам. Но члены комиссии естественно не могли идти слишком далеко в своих заявлениях от имени всего Совета. Формулы так и остались не расшифрованными до конца. Но тем не менее иностранцы уехали из России с достаточным материалом — и об объективном положении дел вообще, и о советских «мирных» планах того времени, в частности...

Будучи крайне предубежденными против англо-французских делегатов, мы все же — по мере более близкого знакомства с ними — убеждаясь в их искренности и добросовестности, становились по отношению к французам все более терпимыми и благожелательными. Англичане были слишком непроницаемы и чужды. Во французах же многие из нас, даже левых, чем дальше, тем больше стали видеть уже не агентов своего империализма, а его жертвы. Мы попрежнему не соглашались друг с другом, попрежнему отказывались друг друга понимать. Но мы определенно вошли в полосу взаимного доверия. И как будто в конечном итоге не ошиблись. Я не знаю, научились ли чему-нибудь теперь О'Греди, Торн и Сандерс; но французские крайние социал-патриоты не только агитировали впоследствии за стокгольмскую конференцию: по возвращении домой они вообще стали сильно леветь и перешли к концу войны на позиции интернационалистского меньшинства. А в эпоху версальского мира они приняли на свою голову все громы и молнии своих бывших союзников за свой «большевизм» и за свои «измены отечеству». Возможно, что здесь не осталось без влияния их непосредственное знакомство с русской революцией.

* *
* *
* *

Посещениями англо-французской парламентско-социалистической делегации не ограничились приемы иностранцев в Исп. Комитете. 9-го апреля приехал французский министр-«социалист», Альберт Тома. Приехал он, конечно, с теми же целями информации, агитации и воздействия. Как человек

из недр самого французского правительства, т. е. из недр самого союзного империалистского аппарата, Тома, надо думать, имел намерения и полномочия делать самые внушительные представления нашему кабинету по части «союзных обязательств».

Встретили на вокзале именитого гостя — Милюков и еще кто-то из министров, но никто из Совета. Вообще это был гость Мариинского дворца, но не Таврического. Однако, в качестве «социалиста», Тома не замедлил явиться и в Таврический. Исп. Комитет, досадуя на то, что его снова без настоящей к тому нужды оторвали от настоящего дела, — не один раз вынужден был принимать этого почтенного деятеля и снова выслушивать уверения в преклонении перед русской революцией, в самых почтенных, благородных и мирных намерениях правителей прекрасной Франции.

Французский министр, с видом российского мужиковатого земца, энергично агитировал, убеждал, опровергал, полемизировал. С ним за компанию снова приходили Кашен, Муте и Лафон. Но их посещения и все эти разговоры не могли по существу дела дать уже ровно ничего. Осадок же они оставляли неприятный: люди, с ног до головы опутанные тенетами империализма, ходят к нам просить поддержки своему неpravому делу, и томительной, никчемной фразеологией пытаются убедить нас забыть хорошо усвоенную нами грамоту. Особенно неприятно действовали — даже на иных «мамелюков» — различные ассистенты, секретари, атташе посольства, которые приходили с Тома и с очаровательной вежливостью, но без всяких оличностей ловили отдельных членов Исп. Комитета и ставили им вопросы: может ли армия, по их мне-

нию, наступать, какова теперь производительность снарядов и т. д. При виде этих господ, я не мог избавиться от представления, что к нам явились агенты Шейлока — требовать за свои червонцы живого мяса и высасывать кровь из нашей революции.

В эти же дни, с теми же целями, в Исп. Комитет явился бельгийский социалист Дебрукер. Он привез обращение к русским рабочим от Вандервельде и бельгийского «генерального совета». Он повторил все старое и не прибавил ничего нового. В газетах он, кроме того, напечатал патриотическое воззвание к русским, исходящее от «бельгийских рабочих». . . Исп. Комитет реагировал на все это опубликованным в печати «ответом» бельгийцам. Кто составлял его, я не помню; но это был прекрасный «ответ», соблюдающий и принципы интернационализма и достоинство революции.

Через несколько дней после своих визитов все иностранные гости отправились знакомиться с положением дел в Москву, а затем в действующую армию. Они к нам еще вернутся — умудренные опытом. Пока же нельзя не отметить одного существенного результата наших переговоров: числа 12-го или 13-го в Европу полетела (не знаю, кем посланная) телеграмма. Она гласила, что французская делегация столковалась с Советом Р. и С. Д. относительно Эльзас-Лотарингии: Совет признал, что в будущий мирный договор должен быть включен пункт о возвращении этих провинций в лоно Франции. . . «Отделу международных сношений» пришлось, телеграфным же способом, опровергать этот вздор. Первая телеграмма, несомненно, дошла до сведения европейских демократических масс. Вторая едва ли.

* * *

В воскресенье 9 апреля было назначено в морском корпусе (теоретически) важное заседание Петербургского Совета. На этом заседании Исп. Комитет должен был сделать доклады о всероссийском Совещании; Совет же должен был высказать свое отношение к резолюциям мартовского с'езда, а кроме того он должен был санкционировать пополнение Исп. Комитета, ныне превращенного во всероссийское учреждение.

Я отправился в морской корпус, но сильно запоздал. Мне надо было забежать в Михайловский театр, где происходило торжественное заседание «Свободной Ассоциации Наук», учреждения, с которым уже давно носился М. Горький.

В ученном и художественном мире, несомненно, происходило бурное движение: академики, профессора и всякого рода художники были, действительно, воодушевлены событиями и верили в то, что освобождение страны от царизма открыло новые огромные горизонты духовной культуре народа. Все бросились в организационную работу; создание министерства наук и искусств или чего-то в этом роде, кажется, уже принимало реальные очертания.

Секретарь «Свободной Ассоциации», д.-р. Манухин, настоятельно просил меня выступить на этом заседании от имени Совета. Узнав, что гг. министры имеют намерение демонстрировать там свою преданность наукам, — я охотно согласился сделать то же самое и от лица советской демократии. Заседание было действительно очень торжественное, при переполненном огромном зале. Буржуазная аудитория очень тепло и дружно встретила и проводила меня. Все еще не увяли розы...

Выйдя из Михайловского театра и видя, что я

сильно опоздал в Совет, я остановил проезжавший мимо автомобиль, где я заметил знакомые лица незнакомых, но советских людей. Они охотно взялись подвести меня до морского корпуса.

Незнакомые советские люди оказались «железнодорожниками»; они ехали к Г. В. Плеханову для переговоров с ним об его участии в комиссии по выработке тарифов для железнодорожных рабочих... В то время о Плеханове много говорили и писали, как о будущем министре труда в существующем цензовом кабинете. Проект организации этого министерства был, действительно, почти готов, но с министром судьба решила иначе. Пока что Плеханов, по просьбе Некрасова, согласился только председательствовать в комиссии железнодорожников. Эта «плехановская комиссия» в скором времени выработала тарифы. Но все же с железнодорожниками Исп. Комитету пришлось иметь не мало хлопот и затруднений: не раз мы были в эти месяцы на волосок от железнодорожной забастовки и вели, в качестве «представителей государства и революции» нескончаемые тяжбы с профессиональными союзами железнодорожников.

Когда я явился в Совет, прошло уже больше половины заседания. Уже представились Совету и отбыли из него приехавшие накануне Чернов и его товарищи. Уже подходили к концу и доклады о Совецании. После них оставался еще только вопрос о праздновании первого мая: я уже упоминал, что в этом заседании было принято решение объявить рабочим днем следующее воскресенье 6-го апреля — вместо вторника, на которое приходилось первое мая по новому стилю.

Как только я показался в дверях, председатель-

ствовавший Богданов стал делать мне с кафедры непонятные знаки.

— Сейчас ваш доклад по аграрному вопросу, — непрерываемо заявил он, когда я пробрался к председательскому месту.

Ни о каком моем сегодняшнем докладе мне до сей минуты ничего не было известно. Я с успехом мог еще опоздать или не явится вовсе. Работа в советском пленуме шла все также кустарно, халатно и не серьезно.

Тем не менее сделанный мною аграрный доклад далеко не был принят равнодушно и не был утвержден механически. Огромная эсеровская фракция Совета, по примеру того, что было на Совещании, затеяла шум и скандал — все по тому же поводу: зачем в советской резолюции не содержится требования передачи в собственность государства мелких крестьянских земельных участков. Молодые эсеры, «интеллигенты», неистовствовали по этому поводу и успели каким-то способом хорошо взвинтить солидных солдат-бородачей, «трудовых крестьян», которые также выражали свое негодование и беспокойство.

Порядок удалось кое-как водворить, напомнив, что резолюция принята Совещанием лишь условно, — «для обсуждения на местах». Петербургский совет мог специально поставить аграрный вопрос в чорядок дня, и тогда эсеровская фракция могла защищать любое его решение. На этом, в виду позднего времени, кое-как согласились.

Но за то эсеры настояли на немедленном рассмотрении «кстати» их проекта «о запашках»: «иначе крестьяне запоздают с началом работ»... Сущность проекта сводилась к тому, что крестьянам должно

быть предоставлено право немедленно запахивать пустующие помещичьи земли и пользоваться для этого владельческим инвентарем; условия этого устанавливались местными продовольственными комитетами...

Оглашенный проект был составлен в довольно общих выражениях. Он, с одной стороны, ничему не мешал, а с другой — был совершенно не нужен. Молодые эсеры несколько запоздали: их проект в общем покрывался второй частью резолюции Совещания, которая была посвящена текущей земельной политике и была ими, в пылу негодования, пропущена мимо ушей. А кроме того и официальное положение о земельных комитетах (не говоря уже о существующей практике) вполне покрывало собой резолюцию эсеров... С такими комментариями я дал заключение от имени Исп. Комитета: для принятия этой резолюции с его стороны препятствий не имеется. Эсеры были в полном восторге, и уже для этого следовало принять их резолюцию «о запашках».

* * *

Однако, надо сказать, что аграрные дела именно с этого времени стали внушать некоторые опасения. Экспессов и беспорядков было, повидимому, не так много, как можно было ожидать и как старались представить иные. Но всё же тут понемногу начал запутываться узел. Правительство все еще хранило в тайне свое мнение об основах будущей реформы. Подготавливается ли она? как идут работы и в каком направлении? Все это было неизвестно, и все это беспокоило крестьян.

С другой стороны, началась земельная спекуляция. Кулаки, пользуясь паникой, начали скупать земли в качестве «крестьян». Имения, на самых различных (конечно, почти всегда фиктивных) основаниях стали дробиться и доводиться в каждой своей части до предполагаемого пореформенного максимума. Стали заключаться массовые сделки с иностранцами, опять таки больше фиктивные. В общем, при таком положении вещей, от земельного фонда через несколько месяцев должно было остаться немного.

Это уже совсем выбивало крестьян из колеи. Ходки массажи являлись в Исп. Комитет — просили, требовали, грозили. Были необходимы немедленные гарантии реформы и немедленные меры по охране от расхищения земельного фонда. Резолюций на этот счет было совершенно достаточно. Но правительственных мероприятий еще не было. Мало того: стали появляться непреложные свидетельства того, что правительство князя Львова это дело определенно «саботирует», что правительству князя Львова этого дела решительно не одолеть... Острый конфликт на этом фронте революции стал назревать очень быстро.

Не особенно благополучно было и на другом фронте, на продовольственном. Об идеях Громана, о планах советского экономического отдела, об «организации народного хозяйства», о «регулировании промышленности» — не было и речи. В этом направлении не делалось ничего. Правда, 10-го апреля в министерстве торговли и промышленности состоялось совещание о введении угольной монополии; там между прочим указывалось, что введение ее не вызовет особых технических затруднений, так

как, во-первых, аппарат для этого уже имеется на лицо, а, во-вторых, эта отрасль производства крайне централизована, и потому организация государственного распределения здесь очень проста. Тем не менее все подобные разговоры не имели никакого реального значения, а разве только — демонстративное. После отпора, вызванного введением хлебной монополии, кабинет Гучкова и Коновалова уже не собирался серьезно идти «на поводу у г. Громана и К-о».

Но помимо этих, так сказать, принципиальных неблагоприятий, не особенно гладко шло дело и в текущей продовольственной политике. Громан и другие советские делегаты обвиняли новые продовольственные органы в узко классовых тенденциях и в саботаже насущнейших мероприятий. Они жаловались на неправильную организацию и на неурядицу в новых учреждениях. «Органическая работа» в них была далеко не так продуктивна, как упорна была в них классовая борьба.

14-го апреля появился декрет правительства «о гарантии посевов». В признании его необходимости, кажется, Шингарев сходил с Громаном. Этот декрет, в наличных условиях, был мерой действительно рациональной в продовольственном отношении: он должен был предотвратить паническое сокращение посевов всеми сколько-нибудь крупными хозяевами (и, между прочим, он также предоставлял право запашек пустующих земель местным крестьянам — в целях расширения посевной площади)... Но ясно, что декрет этот был продиктован не столько интересами продовольствия, сколько желанием оградить «сельских хозяев» от «крестьянских беспорядков и насилий»... Такого рода

аграрные мероприятия не заставляли себя ждать со стороны правительства князя Львова.

Между тем продовольственные затруднения стали проявляться в некоторых тяжелых для населения объективных формах. Пришлось прибегнуть к «временному», сокращению хлебного пайка. Были введены карточки на мясо. Цены на ненормированные продукты стали бешено расти. На рынках началась доселе невиданная скудость.

При таких условиях «обуздать» рабочее движение в пользу повышения тарифов было объективно немислимо. Дороговизну и бестоварье надо было как-нибудь «догонять». Правда, для рабочего это означало почти погоню за собственной тенью. Но таковы были объективные противоречия, созданные войной, отчаянным падением производительных сил и неспособностью буржуазии вести действительно «государственную» экономическую политику... Радикальные меры были неотложны, или крах был неизбежен.

В то же воскресенье 9 апреля, пока Совет заседал в морском корпусе, многотысячная манифестация солдаток явилась в Таврический дворец и потребовала к себе представителей Исп. Комитета. Солдатки жаловались на «невозможность жизни» и требовали увеличения своего денежного пайка до 20 руб. Требовали также уравнивания в правах гражданских жен с законными. Сделать это правительство революции еще не удосужилось. За то г. г. министры не преминули вынести смехотворное постановление, вызвавшее бурю негодования среди советских масс: 12-го апреля они назначили пенсии бывшим министрам — «в размере не свыше 7 тыс. рубл.»...

Встретившие солдаток члены Исп. Комитета обещали принять меры к удовлетворению их требований. Была немедленно образована комиссия «о пайке». Но ведь денежные средства находились в руках правительства...

«Неблагополучие» наблюдалось во всех областях его политики. Но ведь они вытекали из его классово-природы. Чтобы поправить дело, были необходимы радикальные меры со стороны тех, в чьих руках была сила и средства изменить положение. Был ли намерен и склонен, был ли способен Совет принять эти радикальные меры?..

* * *

Накопились дела у «контактной комиссии». — Прежде всего, просвещенные «власти великой союзной демократии» арестовали в Галифаксе, на пути в Россию, русских граждан, наших товарищей: Троцкого, Чудновского и еще нескольких интернационалистов. Союзная полиция тем показала свою отличную осведомленность в течениях русской социалистической мысли; а высшие власти наглядно доказали свое утверждение, что никаких различий между эмигрантами они не делают и готовы всем оказывать одинаковое содействие по возвращению на родину.

Исполн. Комитет, с своей стороны, уже 8-го числа отправил британскому правительству телеграмму с решительным протестом. Кроме того, телеграмма была послана и в английские газеты — с обращением к английским рабочим поддержать протест Совета против средневекового образа действий британ-

ского правительства. О судьбе этой телеграммы я ничего не знаю... Но во всяком случае было необходимо, чтобы Врем. Правительство потребовало освобождения арестованных.

Числа 10-го возникло еще одно дело — того же порядка. Швейцарский интернационалист, Платтен, который сопровождал Ленина в запломбированном вагоне, но остался на время в Стокгольме, — был задержан на русской границе «революционными» властями при попытке посетить Россию... Министр Милюков лично встречал на вокзале французского «социалиста» г. Тома. Прочие иностранные социал-патриоты были у нас желанными гостями и принимались с распростертыми объятиями в Мариинском дворце. Брантинг, Кашен, О'Греди, Дебрукер и проч. — чувствовали себя там в родной сфере и составляли с нашими министрами единый фронт против Совета. Интернационалиста же «революционное правительство» совсем не пустило на российскую территорию...

Дело тут было, конечно, не в «различном отношении к различным течениям». Это был вообще недопустимый и нетерпимый акт огромного принципиального значения. Милюков с коллегами, спекулируя на новую кон'юнктуру в Совете, делал серьезный опыт и, надо думать, хорошо понимал его общий политический смысл. Советская оппозиция, по почину партийно-заинтересованных большевиков, настояла на том, чтобы «контактная комиссия» потребовала немедленного пропуска Платтена в Россию.

Кажется, были и еще какие-то практические дела с советом министров. Но самое важное дело касалось основного вопроса «высокой политики»...

Уже я писал о том, что в это время «мирные» лозунги стали разливаться по всей России широкой рекой. Не только рабочие, но и крестьяне и солдаты в бесчисленных резолюциях выражали свою волю. И я писал уже, что в этом отношении массы стали обгонять Совет, стали требовать от него больше, чем хотело новое советское большинство.

При этом «мирные лозунги», под влиянием левой партийной агитации, были довольно хорошо разработаны, были конкретизированы в устах массы. Рабочие и солдаты указывали вполне конкретные и при том вполне «разумные», «трезвые», реальные пути демократической внешней политики. Исходя из правительственного акта об отказе России от завоеваний (27 марта) и считая его только предварительным шагом, — резолюции настаивали на «дальнейших шагах» — в виде обращения к союзникам насчет такого же отказа от аннексий, контрибуций и насчет мирных предложений врагам.

При такой объективной внешней конъюнктуре, оппозиция энергично давила внутри. И вождям так или иначе пришлось прислушаться к голосу масс: право окончательно ослепнуть и оглохнуть еще не окончательно было закреплено за советским большинством...

Надо сказать, что внутри Исп. Комитета делу сильно помог Чернов. Только что появившийся на арене революции — он, с одной стороны, еще твердо сидел на президентском кресле «самой большой партии», а с другой — был еще преисполнен не только оптимизмом, но и циммервальдским духом. Войдя, по своему рангу и положению, в теснейший контакт с «группой президиума», Чернов, по своему настроению, «давил» на нее дипломатическими сред-

ствами. Но помимо красноречия и дипломатического искусства, в руках Чернова было и еще одно, пожалуй, более сильное средство: это были голоса эсеровских солдат в Исп. Комитете.

Так или иначе, правому крылу во главе с Церетели, который уже «сделал главное для мира», — пришлось уступать. Принимая в расчет все описанные факторы, правое крыло, кажется, даже не довело дело до формального голосования. Но, Боже мой, в чем уступать пришлось ему! Стоит вспомнить, что происходило в Исп. Комитете хотя бы три недели назад, чтобы понять всю разницу общей советской конъюнктуры и ощутить наклонную плоскость, на которую стало движение.

Уже тогда, около 20-го марта, дело было плохо: — уже тогда советская демократия потерпела «ширрову победу» — при первом выступлении в борьбе за мир. Но тогда речь шла о массовом, самом реальном наступлении на империалистское правительство, о мобилизации всех сил демократии для решительной классовой борьбы за всеобщий мир. Это было провалено в Совете и заменено «внутренним давлением», соглашательской сделкой...

Сейчас о массовых советских выступлениях нет и речи. Борьба идет против дипломатического воздействия на правительство, т. е. вообще против каких бы то ни было шагов в пользу мира. И победой слева ныне является согласие большинства на словесное и ни к чему никого не обязывающее «почтительнейшее представление»...

* * *

«Контактная комиссия» отправилась в Марининский дворец. Судя по некоторым газетным откликам на этот визит, — он состоялся тут же по приезде наших делегатов из Минска, вечером 11-го или 12-го числа... С нами, конечно, пожелал ехать Чернов, который и выговорил себе первое слово о «дальнейших шагах».

Заседание началось именно с этого пункта. Чернов твердо решил поразить наших доморощенных министров своим дипломатическим искусством. Долго долго, долго рассказывал он о своих наблюдениях за границей и высказывал свои соображения о международной политической кон'юнктуре. Подходя вплотную к своей теме, он сообщал о своих беседах с видными французскими и английскими политиками и уверял Милюкова в том, что желаемое выступление русского правительства будет вполне сочувственно принято в союзных сферах. На какое же именно выступление?..

Тончайшая дипломатия Чернова тут стремилась найти линию — по возможности, безо всякого сопротивления. Помилуйте! Ведь акт 27 марта есть только обращение к русскому народу. Он издан только для внутреннего употребления. Союзники не только не имеют основания на него реагировать, но и не обязаны о нем знать. Конечно, никто не сомневается, что акт 27 марта есть вполне искренний акт правительства. Но чтобы желания самого Милюкова стали близки к осуществлению, надо сделать дальнейший шаг: надо официально довести акт 27 марта до сведения союзных правительств. Это, собственно, тот же самый шаг. Но все же он — дальнейший.

А затем — неужели можно предположить, чтобы

какой-нибудь человек не желал, чтобы его сосед думал так же, как думает он сам? И разве может наше искреннее правительство, жаждущее мира, не желать, чтобы союзные правительства так же искренне, как оно само, высказались о целях войны и о завоеваниях. И разве с точки зрения союзников такое наше желание может быть сочтено не естественным, а такое наше предложение — предосудительным.

Чернов, непременно желая убедить собеседников, разливался рекой — то воздействуя серьезностью и деловитостью тона, то проявляя революционно-патриотический пафос, то каламбуры и остря... У нас в «контактной комиссии» не были в обычае такие «широкие» выступления. Чернова слушали с интересом.

Прений я не припоминаю. Помню только, как Милюков, ссылаясь на то, что ему, собственно, также приходится сталкиваться с мнениями союзных правящих сфер, и он высказал свое глубокое сомнение в том, что такого рода русское выступление будет принято союзниками благожелательно. Чернов на это ответил, что он «имеет данные» для своих утверждений. Милюков сказал, что он также «имеет данные»...

Но вопрос был исчерпан тем, что Милюков выразил согласие обратиться к союзникам с нотой в связи с актом 27 марта. Я не помню существенного обстоятельства: было ли условлено, что эта нота, подобно акту 27 марта, будет предварительно сообщена Исп. Комитету?... Что она будет выработана по соглашению с союзными дипломатами — в этом сомневаться не приходилось. Но будет ли она опубликована по

соглашению с Исп. Комитетом или независимо от него, будет ли официальная редакция ноты предварительно одобрена в Таврическом дворце или на свой страх выступит один Мариинский, — на этот счет в «контактной комиссии», насколько помню, речи не было.

Вопрос об аресте Троцкого и других интернационалистов был решен в два слова. Милюков объяснил это чистым недоразумением и обещал принять меры. Эмигранты действительно были освобождены — со ссылкой на желание русского правительства. Британские власти пересолили: Милюков считал «дипломатичным» только держать интернационалистов вдали от родины, а их засадили в тюрьму. Это, по нашим новым правам, уже было слишком. К тому же Троцкий и его товарищи не давали ни малейших поводов обвинять их в какой-либо «нелояльности»...

Не так кончилось о Платтене. Запрос о нем — не помню кем, — был сделан в очень мягкой форме и был увенчан нерешительной просьбой: не найдется ли возможным правительству пропустить швейцарского социалиста в Россию. В ответ на запрос Милюков дал объяснения такого рода: Платтен не пропущен на том основании, что в министерстве иностранных дел имеются сведения об его сношениях с германскими властями; кроме того, как известно, Платтен оказал дружескую услугу враждебному правительству, устроив проезд Ленина через Германию. Что же касается просьбы отменить распоряжение и пропустить Платтена, то Милюков просто и кратко ответил отказом...

Никаких возражений и протестов со стороны наших официальных ораторов не последовало:

«группа президиума» не реагировала на все это никак.

Между тем, независимо от вопроса о пропуске Платтена, милюковская трактовка его роли в проезде Ленина через Германию — была замечательна. Конечно, гг. министры про себя могли толковать эту роль как им угодно; пусть они пребывают во внутреннем убеждении, что Ленин — германский агент и что возвращение его в Россию с начала до конца объясняется интересами немецкого генерального штаба. Но совершенно неприлично им в таком смысле официально говорить с нами, а нам молчаливо слушать подобные речи.

Я потребовал слова. Мои коллеги по «контактной комиссии», как всегда в таких случаях, поморщились и насторожились.

— Я нахожусь в полном недоумении, выслушав объяснения министра иностранных дел, — сказал я. — Платтен оказал услугу неприятелю своим содействием проезду Ленина. Но кто такой Ленин? Ленин — российский гражданин, который, несмотря на полную политическую свободу в России, никаким способом не мог вернуться на родину без содействия Платтена. Министерство иностранных дел оказалось бессильным предоставить Ленину эту возможность. Если Ленин — преступник, то почему он не был арестован на границе и сейчас находится на свободе? Если же Ленин — полноправный гражданин, то содействие его возвращению на родину может трактоваться только как услуга ему самому, а также — как услуга нашему министерству иностранных дел, которое не имело возможности выполнить свои функции по отношению...

Мне не удалось закончить речь — как впослед-

ствии на большевистских митингах. Министры подняли шум, их лица выражали возмущение, сожаление и конфуз. Они пожимали плечами, махали на меня руками, выпускали возгласы протеста и изумления. Больше других волновался и громче других кричал, насколько помню, Некрасов:

— Довольно!... Послушайте, Николай Николаевич, перестаньте!... Не сойдемся. Здесь мы не сойдемся... Довольно!...

Мои товарищи, опустив глаза вниз, хранили мертвое молчание. Меня не поддержала ни одна душа. Очевидно, и с точки зрения советских людей я совершил величайшую бестактность и полное неприличие, — не в первый раз и не в последний.

Вопрос о Платтене был кончен, и собрание перешло к очередным делам... При раз'езде из дворца, в вестибюле, уже одетые мы столкнулись с Милюковым.

— Мне не удалось в моем выступлении дойти до самого Платтена, — сказал я ему. — Завтра в Исп. Комитете я сделаю доклад о сегодняшнем заседании. Ваш отказ пропустить Платтена я буду трактовать единственным возможным способом: это есть нарушение принципа политической свободы в России, а стало быть и нарушение договора 2-го марта. Я считаю, что это прецедент огромного принципиального значения. Не сомневаюсь, что Исп. Комитет будет на это реагировать...

Милюков как будто не ожидал всего этого.

— Как, — неопределенно ответил он, — какое же это нарушение свободы... Ведь мы живем в условиях войны...

Конечно, война это — не только первый попавшийся, но и вполне естественный, очень хороший

аргумент. К сожалению, он не меняет дела с политической свободой, — и при том он — увы! — предусмотрен 2-го марта.

Я, действительно, твердо решил сделать завтра подробный доклад Исп. Комитету о «контактной комиссии».

* * *

На этот раз доклад о заседании «контактной комиссии» вообще был неизбежен: нельзя было не доложить о том, что было достигнуто по большому принципиальному вопросу — о «дальнейших шагах». Поэтому, вопреки обычаю, Церетели получил слово для официального доклада о вчерашнем заседании. Церетели изобразил дело в самых розовых красках: правительство, как всегда, во всем идет на соглашение. Нота к союзникам будет изготовлена в ближайшие дни. Правда, Платтена правительство решило не пускать в Россию; но, оказывается, в министерстве иностранных дел имеются сведения об его сношениях с германским правительством.

Я потребовал слова для дополнительного сообщения.

— С контактной комиссией, которая отражает в себе общие взаимоотношения Совета и Вр. Правительства, дело обстоит совершенно неблагоприятно, — заявил я. — Контактная комиссия объясняется с Советом министров в каких-то приватных, интимных тонах и формах — особенно в последнее время. Мы предлагаем правительству вопросы и обращаемся к нему с просьбами, как могла бы это сделать любая организация и группа. Министры нас выслушивают, сообщают факты, высказывают свои

соображения и большею частью отказывают в просьбах. Мы на это не реагируем никак и даже не докладываем о наших переговорах Исп. Комитету. Совет вообще не реагирует на действия правительства, несогласные с его волей. Поэтому я считаю необходимым обратить особое внимание на деятельность «контактной комиссии», а кроме того настаиваю на следующих конкретных мерах. Во-первых, Исп. Комитет немедленным постановлением должен обязать комиссию к постоянной подробной отчетности. Во-вторых, немедленно придать официальный характер ее деятельности — хотя бы путем ведения официальных протоколов «контактных» заседаний и путем точной регистрации всех ее постановлений и ответов правительства.

Я предложил избрать из среды Исп. Комитета двух присяжных протоколистов («нотариуса и двух писцов»!). А затем, изложив дело Платтена именно так, как я освещал его Милюкову, я настаивал, что Исп. Комитет должен реагировать на недопустимый прецедент и добиться пропуска Платтена всем своим авторитетом.

Мне возражал опять Церетели: ему уже как будто начали давать слово без очередей, когда он того пожелает, хотя пока он еще не был министром... Церетели говорил, что мое освещение деятельности контактной комиссии совершенно неверно: правительство чаще соглашается, чем отказывает, когда же оно отказывает, то хорошо мотивирует, и вообще оно настроено крайне благожелательно.

Главное же Церетели — с обычным прямолинейным «мужеством» — возражал против официальных протоколов. Почему? Во-первых, в менее официальном порядке достигнешь большего; во-вторых, бе-

седы без протоколов вообще продуктивнее и полезнее: министры будут говорить гораздо охотнее и откровеннее, — они никогда не скажут того, что сказали бы без протоколов, если будут знать, что каждое их слово будет зафиксировано.

Невероятно, но факт, который не рискнут опровергнуть свидетели — несмотря на всю его невероятность: именно такова была аргументация Церетели. Здесь дело уже не в том, как прелестна она была, эта примитивная, «циническая» аргументация. Здесь важно другое: как же понимал, как толковал Церетели взаимоотношения Совета и правительства? Как представлял он себе место Исп. Комитета и самой контактной комиссии перед лицом министерства Милюкова и Гучкова?

Эти толкования и представления имели сейчас огромную важность для революции. Ибо Церетели был выразителем и вождем той обывательской массы, которая составляла большинство Исп. Комитета. Эта масса внимала, как истинной мудрости, его гнилым, дряблым мыслишкам, которые скрывали под собой вязкую, непролазную трясину, уготованную для революции.

Напрасно пытались образумить «одержимого» лидера, напрасно пытались убедить «мамелюков» в том, что контактная комиссия не есть комиссия пронырливых репортеров, которым необходимо залезть в душу высоких собеседников и выпытать у них государственные тайны. Напрасно раз'ясняли, что советская делегация существует не для интимных бесед с высокопоставленными лицами, что все их заявления, сделанные неофициально, сделанные ради прекрасных глаз заслуживающих доверия делегатов, не только не должны быть целью перегово-

ров, но должны игнорироваться, как не имеющие политического значения. Напрасно напоминали о том, что контактная комиссия есть только технический посредник между классовыми врагами, между двумя сторонами, ведущими если не «страшную» и одиозную борьбу, то во всяком случае даже для большинства естественную и допустимую тяжбу. Все напрасно.

Мои предложения были отвергнуты. Было только постановлено, чтобы члены контактной комиссии... сами вели протоколы!...

* *
*

Военный министр Гучков несколько дней был болен и не выходил из своей квартиры в военном министерстве на Мойке. Числа 15—17-го «контактная комиссия» получила приглашение посетить его. Такое же приглашение получили и советские представители в «военной комиссии», о которой я часто упоминал в первой книге.

С тех пор эта «военная комиссия» была уже несколько раз преобразована, меняя и свой состав, и свои функции. С делами «военной комиссии» довольно часто надоедали в Исп. Комитете. Я был не в курсе этих дел, но подозрительно относился к этому учреждению. Оно уже давно попало в руки враждебных элементов и в общем играло довольно двусмысленную роль...

Совсем недавно, 8-го апреля, в Исп. Комитете рассматривался проект реорганизации «военной комиссии». Этот проект был представлен комитетом Гос. Думы, но у нас был отвергнут. Вместо него было принято постановление: составить военную комис-

сию на паритетных началах — всего из 20 человек: 10 от Совета Р. и С. Д. и 10 от военного министерства; функциями же этого учреждения было постановлено считать «согласование деятельности и урегулирование взаимоотношений между военным министерством и Советом». Чем кончилось дело — я не знаю.

Несколько советских членов «военной комиссии» поехали с нами к Гучкову... Но дело оказалось не специально военное, а обще-политическое. Гучков хотел поделиться с нами своими мыслями, своими тревогами; хотел поговорить с нами откровенно, как с честными и любящими родину людьми.

Он не сообщил нам, правда, ничего такого, что не было бы хорошо известно, по крайней мере, большинству из нас. И тревога Гучкова, собственно, ничем не отличалась от тех чувств, какие нам неоднократно выражали другие министры. Но все же Гучков, решившись «просить у нас помощи» и видя в этом «последнее средство», — исходил из правильно понятой сущности ситуации, — он правильно оценил остроту ее. Он только неправильно питал надежды на эти разговоры, если он действительно питал их. И совершенно неправильно выбрал самый тон разговора: я уже упоминал, что обычные приемы Гучкова в обращении с советскими людьми громко кричали об его несокрушимой вере в возможность «обернуть нас вокруг пальца» своей дипломатией, взять нас голыми руками.

Нет, таких среди нас все-таки было не много. Были такие, которые без всякой гучковской дипломатии, в силу собственного убеждения, были готовы обернуться вокруг его пальца. Но были и такие, которые ни под каким видом в руки Гучкову не

давались... Во всяком случае беседа была теоретически наивна, а практически бесполезна. Но все же она началась.

Дело было в том, что армия становится ненадежной при боевых операциях. После первой встряски наступило улучшение, и армия считалась в боевой готовности. Но теперь снова положение ухудшилось. Начались гибельные братания. Зарегистрированы случаи прямого неповиновения приказам. Некоторые части не пожелали выступить на передовые позиции для смены товарищей в окопах. Приказы предварительно обсуждаются в армейских организациях и на общих митингах. Об активных операциях в таких-то частях не пожелали и слушать: говорят, мы будем вести только оборонительную войну и потому наступать не станем. Это объясняется коренным, но довольно понятным заблуждением: политические цели войны здесь смешиваются с военнотехническими задачами. Но разяснить это недоразумение темным массам будет до крайности трудно, если вообще это возможно.

Чтобы помочь тут делу, надо вообще оставить всякие разговоры о целях войны. Нельзя такие вопросы выносить в темные массы. Но необходимо посмотреть еще глубже на положение в армии.

Наступательные и оборонительные операции это — частность. Армия же, ее дисциплина и боеспособность колеблются вообще. И причина для этого имеется общая. Дело заключается в том, что солдатская масса проникается пацифистскими настроениями. Она начинает не только ждать мира, но и сама требовать его. Это — смерть для действующей армии, как таковой.

Гучков ссылался на свой личный опыт, приобретенный в прежних войнах. Он говорил: все идет прекрасно, пока не произнесено слово «мир». Как только оно произнесено, как только начинают вместо войны думать о мире, ждать его, надеяться на него, — так наступает перелом. Солдаты перестают быть стойкими бойцами, армия разлагается. Ведь это совершенно и неизбежно: когда завтра будет мир, то сегодня нельзя заставить себя сложить голову?

Какой же вывод? Где же выход? Единственный и неизбежный вывод диктуется всем предыдущим — для каждого человека, любящего родину: надо перестать говорить вслух о мире.

Вот об этом и хотелось сговориться Гучкову с Советом. Министр ссылался на контакт между Советом и его министерствами — в общей работе по реорганизации армии на новых началах. Он указывал на министерские учреждения, специально над этим работающие. Ведь они создали именно те основы армейского быта, какие сами солдаты отстаивали в Совете. Может быть, все это сделано слабо? Не удовлетворяет?... Хорошо: Гучков уйдет сейчас же, по первому нашему слову. Пусть мы заявим. Пусть мы скажем, что мы сами хотим взять власть. Гучков не только с радостью уступит место: он с радостью пойдет в помощники, в адъютанты, в канцеляристы к любому из нас. Все свои силы, способности, знания он отдаст этой работе и помощи новым людям. Но — пусть, ради успеха общей работы, не делают того, что подрывает эту работу в корне и что разрушает армию. Так говорил Гучков.

Если прав Ленин в том, что при помощи «контактной комиссии» нельзя кончить мировую войну,

то — нельзя «контактными» переговорами и сокрушить основу всего мирового рабочего движения данной эпохи. И нельзя при помощи «контактных» переговоров выбросить из нашей революции добрую половину всего ее содержания — с тем, чтобы подписать смертный приговор и остальной половине ее.

К сожалению, я не имел времени пробыть у Гучкова до конца беседы. Я не знаю, чем она кончилась и не слышал ответных речей моих товарищей. Но лично я не преминул совершить бестактность — тем, что до ухода сказал с своей стороны несколько слов. Я сказал прямо и определенно, что расхождение здесь коренное. Гучков рассматривает все события и факты под углом продолжения войны; мы — под углом скорейшего заключения всеобщего мира.

Факты, передаваемые Гучковым и нам уже известные, крайне печальны: армия должна сохранить боеспособность, должна быть пригодной для любых военных операций, и Совет для этой цели делает все, что он может. Но он не может принести этому в жертву самого себя, т. е. интересы революции и демократии. Выход — единственный, но он противоположен указанному министром. Не заставить солдат забыть о мире, а поставить мир в порядок дня правительственной политики. Когда солдатские массы не будут иметь ни тени сомнений в том, что и правительство стремится к миру, а не к войне, когда массы увидят, что российская власть все делает для мира, а враг все-таки не складывает оружия и действительно угрожает их очагам, их новой, вновь приобретенной родине, — тогда армия окрепнет и возродится, тогда она будет боеспособна.

А Совет только тогда приобретет твердую почву в своей работе над боеспособностью армии.

Военное министерство действительно не стоит на дороге у Совета в этой работе. Но у военного министерства стоит на дороге министерство иностранных дел. Оно ежедневно доказывает солдатским массам, что война ведется не ради свободы и не ради обороны, а ради чуждых и непонятных целей; и массы видят, что эта война будет бесконечна, будет продолжаться до гибели их завоеваний. Сговориться мы могли бы только на одной «платформе»: на платформе решительной мирной политики правительства. Тогда лозунг мира в устах солдатских масс будет излишен. В случае неуспеха мирной политики он механически будет вытеснен лозунгами обороны и боеспособности. А вне этого пути не только бесполезны разговоры, но и безнадежно общее положение. Совет может только тогда перестать говорить о мире, когда правительство будет делать мир.

Гучков как будто хорошо слушал и, казалось, вполне понимал все это. Но... он не хотел понимать этого и хранил такой вид, как будто все это совершенно не относится к делу. Ему было необходимо удержать беседу в другой плоскости. Удалось ли ему сделать это после моего ухода, я не знаю. Но что разговоры эти во всяком случае не привели ни к чему, — в этом не замедлили убедиться все их участники.

* * *

Затяжной характер приобрело дело о «займе свободы». Мелко-буржуазное большинство еще не упра-

вляло диктаторски и еще не могло решить дело по хотенью мамелюков, по веленью их предводителей «из марксистов». Как и все внутри Совета, дело о военном займе стало на круто-наклонную плоскость в этот двухнедельный период, с 4-го по 17-ое апреля. Но для окончательного его решения в желательном духе — у большинства в этот период еще не хватило сил.

Я уже упоминал о том, как в Мариинский дворец вызывали «контактную комиссию», чтобы понудить Совет содействовать «займу свободы». В результате этого визита вопрос был поставлен в Исп. Комитете еще 6-го—7-го апреля, еще до отъезда в Минск нашей «группы президиума»: мне помнится, что на первом обсуждении этого вопроса председательствовал Чхеидзе.

Вопрос считался крайне важным. Шум из-за займа свободы, как я уже писал, был поднят невероятный. Агитация, устная и печатная, шла, как при больших парламентских выборах: в ней участвовал даже святейший синод. Большая пресса, ежедневно печатая массу аршинных плакатов, статей, заметок, информации, — решительно запрещала кому бы то ни было сомневаться в том, что «заем свободы» — это экзамен нашей политической зрелости, испытание нашего патриотизма, проба нашей любви к свободе. Казалось, обыватель уже вполне твердо усвоил себе все эти истины. Конечно, не настолько твердо, чтобы подписываться и обеспечить займу надлежащий успех: подписка шла довольно туго. Но все же — настолько твердо, что на Невском проспекте отрицательное отношение к займу котировалось наравне с запломбированными вагонами. Все с нетерпением ждали, что скажет Совет.

Вопрос считался крайне важным. Вместе с тем для самого Исп. Комитета, с точки зрения его общей политики, вопрос о займе имел большое принципиальное значение. Но когда началось обсуждение, членов было очень мало, всего около трети пленума. И при том не было на лицо ни Церетели, ни многих других столпов большинства. Не было и никакого доклада. Чхеидзе предложил желающим высказаться, но желающих от большинства не оказалось.

С большой неохотой я взял слово и крайне слабо, вяло, путано, неинтересно говорил против поддержки займа. Впрочем, немногим лучше говорил против меня, в пользу поддержки — Войтинский. Вообще большого оживления не было... Большинство 21 голоса против 14 было решено «поддержать заем свободы».

К этому заседанию мысли еще не дошли до сути вопроса — ни у большинства, ни у оппозиции. Решение было принято безо всякой подготовки. Правда, общие позиции совершенно определились, и более зрелое обсуждение не дало бы иных результатов. «Ответ» на эту политическую задачу был ясен сам собой для обеих сторон. Но надлежащего «объяснения» ее еще не было; аргументация была совершенно не разработана. А между тем задача была далеко не так проста, чтобы как следует решить, чтобы хорошо «объяснить» ее экспромтом. Напротив, задача была сложная.

Дело имело две стороны: финансовую и политическую. Правые сторонники поддержки займа упирали на первую, левые противники — на вторую. Но экономика и политика здесь тесно переплетались и перепутывались. И все это давало безграничный

простор прениям, превращая вопрос о займе в сказку про белого бычка.

Правые начинали и кончали непререкаемой истиной: государству необходимы средства. Ныне свободное революционное государство близко к банкротству. В данный момент нет никаких иных источников для покрытия расходов. Как может демократия не дать необходимых средств и не поддерживать, не спасти от краха новое, созданное ею государство?.. Такова была экономика советской правой.

Ее политика гласила примерно так. Ведь Совет поддерживает Вр. Правительство «постольку, поскольку» оно — и т. д. Эта поддержка декретирована высшим советским органом — Совещанием. Но им декретировано и другое, а именно — поддержка армии, работа на вооруженную защиту революции. Это обязательная «линия» Совета. Но для этого необходимы денежные средства. В обязанности дать их не может быть сомнений у Совета... Вокруг всего этого вращалась аргументация большинства.

Но все это совершенно не убеждало тех, кто стоял на классовой точке зрения. Что касается финансовой стороны дела, то заем ни в каком случае не представлялся единственным источником пополнения государственных средств: не дожидаясь общей налоговой реформы, было возможно и должно принять чрезвычайные меры в области прямого обложения. Утверждают, что чрезвычайный военный или общеполитический налог дадут не много. Но надо испробовать, надо прибегнуть к ним раньше, чем прибегать к добровольному займу, который в конечном счете ляжет на плечи неимущих.

Но допустим, что заем есть на самом деле единственный и необходимый источник получения средств. Поможет ли он делу при данных условиях? спасет ли он от заведомого государственного банкротства и полной финансовой разрухи? Если война стоит государству 54 миллиона в день, если долг к концу бюджетного года достигает 40 миллиардов, и его росту не видно конца, — то все «займы свободы» ничему не помогут и явятся такой каплей в море, о которой не стоит говорить.

Но допустим, заем и необходим и окажет реальную поддержку нашим финансам. Может ли самому займу реально помочь поддержка Совета? Ведь те слои, к которым будет апеллировать Совет, для которых его слово будет иметь значение, — эти слои не только не могут обеспечить успех или неуспех займа, но не могут в данных условиях оказать ему сколько-нибудь заметную реальную поддержку. Добровольные гроши, отданные государству под влиянием советского призыва, составят поистине величину, не стоящую внимания. И несомненно, что само понуждающее правительство рассчитывает совсем не на финансовую помощь Совета: оно ценит совсем иную сторону поддержки займа демократией.

Если бы действительно от Совета зависело, дать или не дать средства государству, то стоило бы разговаривать о том, надо ли идти на огромный политический компромисс ради этой цели. Сейчас же, когда никаких средств для спасения от банкротства все равно не хватает, а советская поддержка не может иметь никакого финансового значения, — сейчас это даже не компромисс, а просто политически ложный шаг.

Сейчас вообще советская поддержка займа есть исключительно политический акт. И при том, с одной стороны, это есть акт политической капитуляции перед правительственным империализмом, с другой — это акт, совершенно не вытекающий из директив советского Совецания. Это — акт не только не соответствующий официальной советской «линии», но противоречащий ей, видоизменяющий ее, уклоняющий ее от (хотя бы словесного, формального) циммервальда в сторону социал-патриотической позиции англо-французского социал-патриотического большинства.

Сласти российские финансы может только скорейшее окончание войны и ничто больше. Вр. Правительство не вступает на путь политики всеобщего и почетного мира. Оно ведет империалистскую политику, вместе со своими союзниками. Гроши советской демократии нужны ему для того, чтобы по возможности еще в большей степени переложить на крестьян и рабочих вожделенное завоевание Армении, Галиции и Дарданелл. А несравненно важнее — советская поддержка займа нужна ему, как залог солидарности с его политикой перед лицом Европы. Советская поддержка займа — это символ священного единения имущих классов с демократией в деле империалистской войны.

Совет поддерживает заем как раз в то время, когда Милюков направо и налево «раз'ясняет» свой лицемерный акт 27 марта. Ничем не помогая российским финансам, Совет поддерживает Милюкова со всем его лицемерием, со всей гибельной для революции захватнической политикой. Это есть акт солидарности, поддержки и укрепления всего мирового империализма. Это есть фактор укрепления шовинизма и

бургфридена в Германии. Это есть предательский удар в спину не только германскому пролетариату, который мы обвиняем в бездействии, но и всему рабочему классу Европы, поднимающему знамя борьбы за мир.

Ничего подобного не поручало нам советское Соевещание. Оно требовало и от правительства политики мира. Оно требовало от нас защиты революции от империализма. Мы же, передавая правительству рабочие и крестьянские деньги, открывая ему «военный кредит» — безо всяких условий, несмотря на его новые враждебные демократии акты, — мы не только дискредитируем революцию в глазах европейских масс, но и окончательно, формально изменяем прежней циммервальдской «линии Совета». Пусть даже кредит Милюкову, в глазах многих, еще не приравнивает Совет к Шейдеману и его германским соратникам: пусть Шейдеман стоит на страже германского полу-абсолютистского строя, тогда как Совет действует в пользу республики и свободы. Но Тома, Кашены и Ренодели также спасают свободную республику. И поддержка Советом «займа свободы» окончательно и формально ставит Совет на почву союзного шовинизма, на позицию союзного социалистического большинства.

Вся эта аргументация не была полностью развита в заседании 6—7 апреля. Я лично в общих чертах развил ее значительно позднее, уже при втором обсуждении займа в Исп. Комитете — после «апрельских дней». Но в частных разговорах, в отдельных частных спорах, в первой половине апреля, крупицы всех этих аргументов, несомненно, просачивались в некоторые группы нашего советского большинства. Как шейдемановщина, так и англо-фран-

пузский «социалистический» шовинизм еще недавно были чужды и одиозны многим элементам нашей правдой. В эту яму Совет скатиться еще не решался. Он еще только катился в нее по наклонной плоскости.

И пока еще было не мало представителей советского большинства, которые, голосуя «в принципе» за поддержку займа, — чувствовали, что в этом деле не все в порядке. Они чувствовали, что правительству в данной обстановке нельзя открывать политический кредит безо всяких условий, независимо от его политики и по крайней мере, без ответных мирных актов с его стороны...

Сейчас готовилась новая нота союзникам. И вот, естественно, покорные элементы большинства считали нужным, по крайней мере, связать поддержку займа с этим актом, с этим «дальнейшим шагом» к миру. Раньше, чем окончательно вотировать поддержку займа, не посмотреть ли, что это будет за «нота»?.. В числе тех, кто думал так, насколько я понимаю, не было Дана, но был Чхеидзе.

Под действием таких сомнений вотум 6—7 апреля не имел сколько-нибудь существенных реальных последствий. Буржуазная пресса по этому поводу стала скоро недоумевать и делать запросы. В самом деле, не особенно значительным большинством Исп. Комитета было решено заем поддержать; но не было ни революции для всенародного сведения, не было ни агитации, ни плакатов в социалистических газетах, не было даже статьи в официальных «Известиях». Решили поддержать, но не поддерживают.

12-го апреля жаловалась «Речь». «Несмотря на кажущуюся ясность», решили не единогласно, а большинством. «Пусть так, — но засям постановление

было оглашено только в «Единстве», которое и исполнило постановление, напечатав призыв»... Кроме того была напечатана лишь кисло-сладкая статья в «Деле Народа», говорившая не столько о необходимости поддержать заем, сколько о том, что нужно контролировать расходование денег. Выказалась «Земля и Воля», — но «вовсе не для того, чтобы бороться с преступным индифферентизмом и зажечь энтузиазм», а для того, чтобы теоретически исследовать доводы за и против. Лучше других московский «Труд»; но и этот не ограничился разговорами о займе, а твердит «о немедленном переустройстве финансовой организации, о введении прогрессивно-походного налога и т. д.» Вообще все эти газеты, вместо того, чтобы «раз'яснить, что в данном случае личная выгода совпадает с патриотическим долгом, занимаются академическими рассуждениями и скучнейшими спорами». А другие левые газеты и «совсем не упомянули о постановлении Совета»... «Так сильны отзвуки старого»...

Писали о займе и другие левые газеты. Не говоря о «Правде», «Рабочая Газета» также высказалась отрицательно. Таковы были в этот период настроения по отношению к «займу свободы».

* *
* *
* *

Судя по социалистической прессе, руководящие круги демократии в этом важном принципиальном вопросе пребывали не столько на наклонной плоскости, сколько в неустойчивом равновесии. Но так только казалось извне. Внутри, в Исп. Комитете союз Чайковского и Церетели был очевидной га-

рантней, что никакого «равновесия» уже нет, — «и не будет уж вечно».

Между прочим, в это время «кисло-сладко», но недвусмысленно стал тянуть вправо Чернов... В заседании Исп. Комитета он однажды стал говорить об изнасиловании Вр. Правительства. В кулуарах я по этому поводу имел с ним столкновение.

— Оставьте ваши опасения, не возбуждайте напрасных надежд у левых, — обратился я к Чернову, стоя с ним в очереди у жбана с супом. — Никуда они не уйдут, пока их не удалят. Будут сидеть на местах и держаться за них, пока их не вытеснит реальная сила. Некуда им уходить теперь от власти. Ведь теперь своим уходом правительство уже не может сорвать революцию. И они до последней крайности будут защищать свое классовое дело. Ради сохранения целого, они еще многое, многое уступят Совету. Вы только не верьте басням об уходе и не складывайте оружия...

— Нет, — сердито возразил Чернов, — не говорите, чего вы не знаете. Я имею основания...

— Керенский? — спросил я. — Вероятно, вам говорил Керенский?...

— Да, хотя бы и Керенский.

— Помилуйте! Зачем же придавать значение частным разговорам вместо того, чтобы взвесить общее положение... Ведь с Керенским это уже не впервые. Это бывало не раз до вашего приезда. Керенским пользуются, как орудием вымогательства — как только наступает к тому нужда. Нельзя же строить политику на таком песке...

Керенский в последние дни, — быть может в связи с ожидаемой «нотой», быть может, в связи с положением в армии, с утратой реальной силы,

с общим колебанием почвы, — стал действительно снова пугать уходом правительства и вести на этом игру с советскими лидерами...

Уход правительства Львова, хотя бы *in cogrore*, день ото дня становился все менее страшным для революции. Но именно потому на него день ото дня все уменьшались шансы. А наши лидеры именно в это время все разрабатывали и углубляли свою теорию «бережения правительства». Увы! — и эта теория, и вытекавшая из нее политиканская практика были гораздо более жалкими, чем в эпоху «бережения Думы». Думские лидеры, лидеры плутократии боялись сильного правительства и берегли «парламент». Советские лидеры, лидеры демократии берегли фикцию и боялись самих себя. Боясь своей силы, они были готовы преувеличить ее. Трепеща от страха, как бы не остаться без цензовой власти, они в то же время показывали, что считают эту власть жалкой марионеткой, игрушкой в их собственных руках. Горькое заблуждение и при том двойное!

Оппортунистские лидеры Совета заблуждались, полагая, что они погибнут вместе с революцией, если цензовое правительство покинет их. Но не меньше заблуждались они, когда считали это правительство хрупкой вещью, которую легко сломать одним прикосновением, и когда они боялись шевельнуться, как бы не сломать ее. Цензовое правительство было телом очень упругим, очень эластичным и могло выдержать еще очень большее «давление». А если бы оно не смогло выдержать необходимый минимум революции — мир, хлеб и землю, — то теперь было бы необходимо не беречь, а немедленно раздавить его.

* * *

Колебания и выжидания некоторых элементов большинства отразились и на судьбе «займа свободы» в пленуме петербургского совета. Вопрос уже давно был поставлен в порядок дня, но не обсуждался. Сами массы «рабочих и солдатских депутатов», проявляя к этому делу интерес, под влиянием прессы, уже требовали скорейшего его обсуждения. 13-го апреля, несмотря на отсутствие доклада от Исп. Комитета, несмотря на просьбу председателя Чхеидзе отложить вопрос, — в пленуме Совета было принято предложение большевиков: выяснить и решить немедленно вопрос о «займе свободы». Выступала с большой речью А. М. Колонтай; она внесла резкую большевистскую резолюцию против займа и не встретила солидной оппозиции. Но затем, не помню почему, резолюция была снята, и вопрос остался открытым.

А в следующем заседании, в воскресенье 16 апреля, когда дело снова дошло до займа, председатель Чхеидзе обратился к Совету с такими словами. «С тех пор, как правительство заявило об отказе от захватной политики, прошло много времени. Совет Р. и С. Д. признал это решение положительным шагом. Но он имеет значение в зависимости от того, последуют ли за ним дальнейшие шаги... Нашим делегатам в Мариинском дворце Вр. Правительство заявило, что вопрос уже поставлен на обсуждение, и решение о тех практических выводах, которые вытекают из декларации об отказе от завоеваний, последует не позже трех дней. Исп. Комитет нашел поэтому правильным обсудить вопрос о займе не ранее, чем Вр. Правительство даст исчерпывающий (удовлетворительный) ответ по интересующему нас вопросу. Исп. Комитет предлагает отложить обсуждение вопроса о займе на три дня».

Я не помню, чтобы такое формальное постановление было сделано в Цсп. Комитете. Скорее — это фракции большинства сговорились между собой о том, чтобы выступить в Совете с точкой зрения оппозиции... Большевики, в лице Каменева, все же настаивали на немедленном решении вопроса: они не без основания опасались, что всякая правительственная нота будет признана в Исп. Комитете «дальнейшим шагом» и удовлетворит большинство.

Выступал Церетели, видимо, изнасилованный своими коллегами по «группе президиума». Ему пришлось присоединиться к предложению Чхеидзе. Но ему непременно хотелось взять хоть какой-нибудь реванш. Поэтому, выводу о том, что вопрос надо отложить, Церетели предпослал мотивировку, направленную к тому, что вопрос не надо откладывать, а надо его решить немедленно — в положительном смысле...

— Слухи о том, — говорил Церетели, — что правительство отказывается в вопросе о целях войны идти по намеченному пути, не основательны. Терещенко в Москве заявил, что правительство от избранного пути не отклоняется. Социальное заявление об отказе от аннексий и контрибуций будет на днях отправлено нашим союзникам, что свидетельствует о новом завоевании российской демократии...

Жалкие, тошнотворные, наивные, лживые речи «благородного вождя» дряблой, темной обывательской массы!...

Конечно, подавляющим большинством голосов было постановлено вновь отложить решение вопроса об займе — впредь до новых мирных шагов

правительства. Это, несомненно, было победой оппозиции. И это была ее последняя победа.

* *
* *

Я не был в заседании Совета и узнал об его решении только на другой день, 17-го числа. В эти два-три дня я был почти целиком поглощен работой вне Исп. Комитета: 18-го апреля (1-го мая) должна была, наконец, выйти «Новая Жизнь».

По дороге на Петербургскую Сторону, в государственную типографию, где набиралась газета, я соображал, как бы потолковее, покороче и подипломатичнее составить заметку о займе свободы под углом этого вынужденного компромисса со стороны большинства. Начинать «Новую Жизнь» с открытой полемики против Совета (в лице его руководящих партий) — нам всем не очень хотелось. Но относительно «займа свободы» в редакции не было двух мнений. Надо было как-нибудь высказаться поопределеннее, но на первый раз полегче.

В типографии я написал строк 60, где высказал удовлетворение, что советские правители, правильно оценив положение, в последний момент присоединились к оппозиции. В последний момент я втиснул эту заметку в завтрашний, в первый номер.

* *
* *

Необходимо сказать два слова о «Новой Жизни». Правда это будет не совсем «о революции». А поскольку это — «о революции», постольку было бы естественно уделить соответствующее место и дру-

гим газетами того времени, хотя бы и очень немногим, с'игравшим в событиях не меньшую роль, чем «Новая Жизнь». Но ведь я, как известно, пишу личные записки. Пусть моя экскурсия в одну из редакций напомнит об этом обстоятельстве тем, кто о нем забывает, кто упорствует в своей склонности оценивать эту книгу, как историю революции, кто требует от меня непременно исторического материала и упрекает меня за «суб'ективизм». Я уже предупреждал категорически: кто считает неуместным и не интересным, чтобы рассказ о великих событиях был тесно связан с моей личной деятельностью, тот пусть не читает этой книги. Я не брался писать историю...

А кроме того — имею же я, в самом деле, право, и на литературные воспоминания?... Если так, то миновать «Новую Жизнь» никак нельзя. Со времени своего выхода и даже раньше, она стала поглощать очень много моего времени. Она очень сильно отразилась на моем участии в делах Совета. Теперь не только не могло быть речи о настоящей «органической работе» в советских учреждениях, но и мое «политическое воздействие», мое участие в заседаниях Исп. Комитета резко сократилось.

«Новая Жизнь» ставилась на широкую ногу. Это был единственный в своем роде пример комбинации, — «большого», широко-информирующего, широко-литературного органа и вместе с тем органа строго социалистического, интернационалистского и, хотя не партийного, но боевого органа рабочего класса. Этим широким задачам совершенно не соответствовал наличный опыт организаторов и руководителей газеты. У меня лично, как и других, не было совсем никакого газетного опыта. Несмотря

на двенадцатилетний литературный стаж, мое участие в газетной работе было ничтожным и совершенно случайным, — да и то исключительно в качестве стороннего поставщика нескольких статей в разные газеты.

Это значит, что хлопот с «Новой Жизнью» было очень много. В редакции, за счет Исп. Комитета, зачастую приходилось бывать по полдня. А к рабочим дням теперь прибавились и рабочие ночи: трижды в неделю я теперь стал проводить эти белые петербургские ночи в государственной типографии, и только в пятом, а то и в шестом часу возвращался домой на Карповку. Хорошо, что это было по соседству...

Поделив себя между Советом и газетой, я как следует, не успевал ни здесь, ни там. Это обстоятельство я считаю характерным для моей работы того времени — как для чисто политической, так и для газетной. Но все же не скажу, чтобы я жалел о таком положении дел, если не в отдельных случаях, то в конечном итоге. В Исп. Комитете я ныне уже не состоял в ядре, делающем политику; я был далеко отброшен от руководящего центра. Конечно, и в оппозиции могло быть широкое поле для работы и для проявления активности. Но если теперь такая работа еще была продуктивной и не была неблагодарной, то в самом близком будущем она утратила и надлежащий практический смысл, и всякую привлекательность.

Оппозиция в самом близком будущем стала окончательно бессильной, и ее роль внутри Совета стала незаметной. Борьба с мелкобуржуазной диктатурой не давала никаких результатов и становилась все более тягостной. Особенно это относилось к не-

большевистской оппозиции, которая была раздроблена и совершенно ничтожна внутри Исп. Комитета. Пребывание в ее рядах уже не отражалось и не могло отразиться никак на ходе советских дел; но вместе с тем оно было тяжело и изнурительно.

Это не значит, что под действием этих причин я забросил работу в Исп. Комитете и стал манкировать по доброй воле. Напротив, я упорно занимался этой работой и пребывал на своем не слишком славном посту, поскольку позволяли обстоятельства. Но я не жалел, когда меня от этой работы отрывала «Новая Жизнь».

Естественно, что полное бессилие на «парламентской» почве заставляло перекинуть работу в массы. Пропаганда и агитация среди масс были естественным и обязательным выходом из положения. Большая газета являлась для этого незаменимым орудием, и «Новая Жизнь» вполне оправдала себя. Работа в ней оказалась достаточно продуктивной и благодарной, несмотря на нижеследующие обстоятельства.

«Новая Жизнь» была органом последовательного марксистского интернационализма. Она, стало быть, представляла собой то самое течение, которое было самым ничтожным, самым бессильным внутри Совета и вообще потерпело полный крах в революции. Сначала весь успех и вся власть достались на долю мелкобуржуазных групп — эсеров и оппортунистов-«соглашателей». Потом народная волна, через голову марксистского пролетарского интернационализма, перекатилась прямо к ленинской стихии, к его также «мелко-буржуазному хапанью».

Течение «Новой Жизни» было всегда в ничтожном, бессильном меньшинстве, травимом и преследуемом

всеми партиями, стоящими у власти, т. е. партиями наиболее сильными, популярными, за которыми шли массы. С своей стороны, «Новая Жизнь» не жаловала ни одного из «народных», революционных правительств. Она не поддерживала ни одного из них, а травила и свергала все — одно за другим. И все эти правительства, по мере своих сил, платили тем же нашей газете.

«Новую Жизнь» закрывал демократ Керенский со своим достойным тогдашним наперсником, г. Пальчинским, — закрывал в то время, когда Троцкий сидел в Петропавловке, а Ленин был в бегах. Потом закрывал Ленин со своим достойным прозелитом, Троцким, — когда Пальчинский сидел в Петропавловке, а Керенский был в бегах.

Но при всем этом, при всей своей «непопулярности», «Новая Жизнь» была незаменимой трибуной, завидной для каждого журналиста и политика. Ее читали «все». Главное же — ее читали рабочие массы. За небольшими исключениями, за скоро проходящими периодами — тираж «Новой Жизни» был максимальный ~~из~~ всех петербургских газет, не исключая ни самых старых, «заслуженных» и привычных, ни партийных, рассчитанных на широкое обязательное потребление. Российская общественность хорошо слышала голос «Новой Жизни». И многие десятки, а иногда и сотни тысяч ежедневных читателей, распределенных по разным партиям, прислушивались к ней и, несомненно, испытывали на себе ее влияние.

Другие факторы оказались сильнее. Это не только не удивительно, но всякое иное положение — теоретически не мыслимо. Пропаганда и агитация вне-партийного кружка «интеллигентов» не могла

пересилить ни темной стихии, ни классовых тяготений, ни идейно-организационных давлений со стороны партий. К тому же эта пропаганда, и при Керенском, и при Ленине, была направлена по линиям очень большого сопротивления... Но если оставить в стороне неизбежное и непреложное, если взять только вообще доступное «вольной» газете «вольного» кружка, то надо будет признать, что «Новая Жизнь», всегда плывшая против течения, достигла максимума. Это была хорошая трибуна, и это была хорошая, «настоящая», благодарная работа.

«Новая Жизнь» была и «задумана» и основана редакцией «Летописи», состоявшей из четырех лиц: Горького, Базарова, Тихонова и меня. Деньги дал Горький. Я лично, да и другие, не имевшие отношения к хозяйственной части, не знали и не интересовались: сколько денег, принадлежат ли они лично Горькому или взяты им взаймы, и у кого именно. Горький создавал материальную основу газеты и предоставлял ее редакции. Это было совершенно достаточной гарантией — как «корректности» финансирования газеты, так и полнейшей независимости ее позиций.

Правда, газета стала сразу окупать себя, и скоро было приступлено к погашению основного капитала. Но и без того никому не пришло бы в голову утверждать, что «большевистскую» «Новую Жизнь» содержат для своих целей капиталисты. На этой почве могли открыть гнусную травлю только бессильные в идейной борьбе большевистские изверги — раньше чем закрыть «Новую Жизнь» навсегда. Буржуазная же пресса при всем желании не могла в свое время сильно играть на немецких

деньгах, и лишь немногие «безответственно»-бульварные органы пытались иногда делать на этот счет легкие намеки.

Редакция «Летописи», до революции, в эпоху войны работала удивительно, даже до странности гладко и дружно. А вместе с тем за это время наш кружок хорошо разработал свою идейную почву и чувствовал себя очень твердо в новых условиях. Но для газеты этих сил, даже в качестве центральных, было недостаточно: к тому же только газете себя никто из нас посвятить не хотел...

Горький привлек в наш кружок своего старого приятеля, бывшего большевика Десницкого-Строева. А затем мы услышали, что большую социалдемократическую газету основывают известные читателю — Стеклов, Гольденберг и Авилов. И мы решили предложить им объединиться. Это было довольно легкомысленное решение. Объединение состоялось; но со Стекловым мы не ужились лично, и через месяц он оставил газету; а Гольденберг не чувствовал с нами надлежащего внутреннего, идейного контакта и уже не вернулся в редакцию после своей заграничной командировки в качестве советского делегата. Только Авилов остался до конца, окончательно порвав с большевистской партией немедленно после ее присоединения к Ленину.

В первый период существования «Новой Жизни» ее редакцию составляла названная «восьмерка». Но для фундаментальной и неотступной работы, и в частности, для ночного выпуска была выделена «тройка», состоявшая из Десницкого, Тихонова и меня.

Наши организационные собрания начались уже давным давно. Наличных сотрудников уже были де-

сятки — разных способностей и специальностей. Особо ценных и постоянных были, впрочем, немногие единицы. Основное ядро составляли сотрудники «Летописи». Но, с другой стороны, многие из них теперь разошлись по своим партийным органам; а взамен их явились новые: Рожков, Бенуа, Цыперович и др.

Конечно, привились далеко не все те, кто был намерен сотрудничать у нас. Иные бежали влево: в частности — Урицкий, который держался в редакции настолько странно, что мы охотно содействовали его бегству еще до появления газеты. Но больше бежали вправо: это были обыкновенно не публицисты, а служители Аполлона и разные вспомогательные сотрудники. Подцензурную «Летопись» они, очевидно, понимали так же плохо, как и цензора; теперь же, перепуганные на смерть нашим «большевизмом», они стали заполнять наши столбцы своими письмами о невозможности для себя работать в «Новой Жизни».

В наших предварительных и более тесных организационных собраниях зачем-то принимали участие будущие большевистские министры Гуковский и Красин. Горький и Тихонов, будучи давно с ними знакомы, вообще как будто очень «носились» с этими почтенными людьми; и пригласили их, кажется, вместе с И. П. Ладыжниковым в качестве будущих «администраторов» газеты. Но из этого ничего не вышло: они также «не сочувствовали» идейному облику «Новой Жизни» и вскоре после ее появления исчезли с горизонтов газеты — впрочем, не навсегда. В те времена они еще говорили языком Терещенок и Коноваловых и только через год превратились в большевистскую власть, громящую со-

циал-предательскую прессу. Гуковский, впрочем, вообще не стоит внимания. Но с таким «тузом», как Красин, нам еще предстоит встретиться.

Для «большой» газеты было снято огромное помещение на Невском, — может быть, подходящее для конторы, но не «располагающее», не уютное, не удобное для редакции. Туда ежедневно и ездили мы со Стекловым из Таврического дворца часам к двум, а часам к 5 возвращались обратно. Материал приходилось сдавать рано: в новом деле техника шла не гладко. При том же газета набиралась на Петербургской Стороне, куда и скакало с Невского 35 тыс. курьеров; а печаталась «Новая Жизнь» в типографии «Нового Времени», благодаря чему по ночам обратно скакали автомобили с матрицами, торопясь проскочить в знаменитый Эртелев переулок, пока не развели мостов. Благодаря тому же бывало, что в «Новую Жизнь» попадала полоса из «Нового Времени» и обратно... Да, техникой мучились...

* * *

Понятно, сколько шума, тревог и волнений было в государственной типографии 17 апреля... Разгуливал «хозяин», Горький, отрывая от дела писателей, наборщиков и корректоров. Суетились, кипятились и распоряжались редактора; вбегали, сломя голову, и убегали снова хроникеры; слонялись без толку и волновались близкие сотрудники. Все с благоговением посматривали на невозмутимого метранпажа, облачавшегося на место пиджака в синюю блузу. Тихонов, наш главный организатор, уже давно хвастался этим метранпажем. А он с презре-

нием посматривал на нашу суету, прищуриваясь от дыма собственной папиросы и говоря взглядом каждому из нас:

...молвить без обиды:

Ты, хлопец, может быть не трус

Да глуп, — а мы видали виды.

Непрерывно трещал телефон. Грохотали наборные машины... Кроме заметки о займе надо было еще составить несколько звонких и сильных фраз — обращение к крестьянам на счет подвоза хлеба и голодной опасности для революции. «Цицеро древний, на две шпоны!»

Наконец, приступили к верстке. Конечно, запаздывали. Уже давно ждал матрицу автомобиль... Все обступили стол и, чуть не затаив дыхание, смотрели, как мертвый непонятный свинец укладывался в мертвую красивую полосу. Безуспешно пытались читать по шрифту заголовки; продолжали спорить и сбивать метранпажа; переделывали полосу. Вдруг, после оглушительного треска деревянного молотка появилась странная, но живая газетная страница!...

С последней матрицей четверо или пятеро главных действующих лиц поскакали в Эртелев переулоч. Не задержал бы кто автомобиля! Не случится ли что-нибудь в последний вождеденный момент!.. Нет! Да и опоздали совсем немного...

С первыми «пробными» экземплярами в руках, в конец измученные, мы разошлись по домам. Уже всходило солнце — первого мая.

5. НАРОД ДЕМОНСТРИРУЕТ СВОЮ СИЛУ И ВЛАСТЬ

Первое мая. — Утром в Исп. Комитете. — Поездка по Петербургу. — На улицах. — Невский. — Митинг в Маринском дворце. — «Помещики в усадьбы, буржуазия к награбленным сундукам». — Первое мая в России. — На другой день. — Нота Милюкова 18 апреля. В «Новой Жизни». — Текст и смысл ноты. — В марте и в апреле. — Перчатка брошена. — В Исп. Комитете. — Утро вечера мудренее. — Утро. — Перчатка поднята. — «Апрельские дни». — В «однородном бюро» — Первые выступления. — Первые меры пресечения. — Революционные полки оцепляют Маринский дворец. — Исп. Комитет снимает «осаду». Ген. Корнилов выкатывает пушки. — Петербург на улицах. — «Выход» Ис. Комитета. — «Объяснения» с правительством. — 10 ораторов. — Сговор оппозиции. — Заседание Совета. — Настроения. — Что Совет может сделать в 5 минут. — У Маринского дворца. — «Историческое» ночное заседание Исп. Комитета и Вр. Правительства. — Министры перед «народом». — Речи министров. — Речи советских ораторов. — За кулисами. — Нота 18 апреля в провинции. — События 21 апреля. — Стрельба. — Ликвидация уличных выступлений. — Совет волшебным словом укрощает бурю. — Сила народа и власть Совета. —

Первого мая в Исполнительном Комитете, конечно, не было никаких очередных работ. Но было условлено, что по мере возможности члены его соберутся в Таврическом дворце и будут часа по два, по три дежурить там — на случай вызова для выступлений в городе.

Митингов предполагалось без числа. Все помещения Петербурга, сколько-нибудь подходящие для этого — театры, кинематографы, цирки, высшие учебные заведения и проч. — были в этот день отведены для рабочих, солдатских и общегражданских собраний. Днем, независимо от процессий и церемоний, повсюду должны были состояться митинги более делового характера. Вечер же был предназначен для смешанных собраний — с участием художественных сил. Артистический мир столицы был мобилизован in согре. Разумеется, все и везде было бесплатно.

Митинги, вообще говоря, обслуживались партийными силами. Только несколько самых центральных и обширных зал были закреплены за Советом... Обуховский завод, кажется, захватили эсеры, и там днем подвизался Чернов. Ленин, выступавший очень редко, с раннего утра отправился на Пороховые (верст 10 от Петербурга), где под открытым небом предполагался митинг тысяч на 30—40 человек; узнав об этом, из Исп. Комитета туда вдогонку командировали Либера.

Вообще советские крупные меньшевики оказались наименее партийными людьми и наибольшими советскими патриотами. Может быть-потому, что «группа президиума», хотя и опиралась главным образом на «народников», считала все же себя завоевателями Совета, а Совет считала до некоторой степени своей собственностью. Ведь мы знаем, что у настоящей, у «народнической» мелкой буржуазии по части лидеров дело обстояло слабо. Волей-неволей пришлось если не призвать, то признать варягов. Ну, а результаты давно predeterminedены законами истории.

* * *

В этот день уже одна погода должна была обеспечить празднично-торжественное настроение у всех и каждого. Разве только небольшие группки самой что ни на есть «сознательной» черной сотни и буржуазии, вынужденные праздновать бесовский праздник, щелкали зубами от бессильной злобы и ненависти...

Да, это была беспрецедентная демонстрация неизмеримой силы и завоеваний народа. И это была весна, переполнявшая исполинскую грудь Петербурга волнами свежего энтузиазма, не омраченных надежд, цельной, твердокаменной веры, почерпнутой не из творимой легенды, а из осязаемого мира. Все это больше не повторится...

Было немного холодно, когда я утром шел в Исп. Комитет по разукрашенным улицам Песков. У многих прохожих была в руках «Новая Жизнь»: около ста тысяч разошлось ее в этот день по Петербургу... В Таврическом дворце было чинно и почти пусто. В зале Исп. Комитета, на своих обычных местах сидела «группа президиума», и, посмеиваясь, закивала на меня. Я подошел:

— В чем дело?

— Да вот, — ответил Церетели, — тут у вас пишут, что Исп. Комитет стал в вопросе о займе свободы на точку зрения меньшинства. Ну, что ж, толкуйте, как вам больше нравится. Можете написать, что большинство стало меньшинством. Пишите, пишете...

Улыбаясь и балагурия, Скобелев поддерживал своего непримиримого друга. Чхеидзе помалкивал, бесплодно упираясь. Церетели, должно быть, твердо решил не помириться без реванша.

А в этот же день, первого мая, в «Рабочей Газете»

была напечатана такая выдержка из письма меньшевистских лидеров, Мартова и Аксельрода: «Друзья, в этот момент мы ожидаем от наших товарищей, которым выпало на долю непосредственно руководить движением, энергичного и последовательного отстаивания политики полной классовой самостоятельности. . . В настоящее время беспринципная демагогия и корыстная эксплуатация революционного энтузиазма и панических настроений народных масс, стараются отвлечь их внимание от необходимости такой же непримиримости во внешней политике, как и во внутренней. Шовинисты внушают пролетариату, что свое освобождение он должен закрепить, освобождая оружием поляков и немцев. Блестяще начатая революция придет к жалкому банкротству, если пойдет по этому пути. Ждем от вас, что никакие компромиссы с идеями этого рода не отвлекут вас от той линии, которую мы в качестве ваших представителей два года отстаивали перед европейскими товарищами. Призывы к международному соглашению для общей борьбы за мир могут послужить поворотным пунктом мировой истории, — но лишь в том случае, если собственная политика русского пролетариата будет достаточно самостоятельна, чтобы не могла у чужих народов вызвать сомнений в невольном прикрывании империалистских планов одного из лагерей» . . .

Прекрасные слова, попадающие в самый центр «текущего момента». Увы, заграничные меньшевистские лидеры опоздали! Их петербургские «друзья», руководители Совета, уже твердо стояли на этом «пути банкротства революции». И они уже давно были глухи к предостерегающим словам. Они не слышали...

* * *

Вскоре всю «группу президиума» вызвали в переполненный цирк Чинизелли на огромный советский митинг. Большевистских думских депутатов, выступавших от имени Совета, там горячо приветствовали.

В Исп. Комитет подходили немногие отдельные товарищи. Один сообщил, что Церетели в цирке агитирует в пользу правительства; другой сообщил, что Гоц на Дворцовой площади агитирует против социалдемократов, не желающих, не в пример эсерам, давать землю крестьянам или — не так сильно этого желающих.

Пришел Либер, уже с Пороховых. Он сообщил, что Ленин агитирует в пользу мира, всеобщего захвата и свержения Вр. Правительства; но особого успеха, по словам его, Ленин не имел.

Собственно, делать было нечего. Лениво пили чай, лениво спорили на отвлеченную тему, лениво бродили по залам. На экстренный вызов по непредвиденному поводу было очень мало шансов. Но очень хотелось в толпу и на улицу...

Гвоздев, наконец, предложил мне проехаться по центральным пунктам города, где были предусмотрены большие скопления народа. Скоро мы вдвоем сели в маленький открытый автомобильчик и отправились, — пробравшись через небольшую толпу манифестантов, зачем-то попавших к пустому Таврическому дворцу.

Никогда не забыть мне этой прогулки! Это была не прогулка, а «божественная поэма», незабвенная симфония — из солнечных лучей, из очертаний чудесного города, из праздничных лиц, довольно нестройных звуков «Интернационала» и каких-то неопишуемых внутренних «эмоций», каких больше не

было и, вероятно, не будет. Не то я растворился во всем этом и перестал существовать; не то я покорил все это и раз'езжал по улицам, как победитель по собственным владениям. Словом, я был в полном бессмысленном упоении. Едва ли я выглядел внушительно и разговаривал с соседом членораздельно.

Манифестации, небольшими колоннами по несколько тысяч человек, уже расходились по своим районам. Относительно порядка на улицах уже не было сомнений: теперь уже был опыт и было несравненно больше внутренней дисциплины, организованности, внутренней силы у демократического Петербурга, чем при похоронах 23 марта. Теперь едва ли кто рискнул бы на какую-либо провокацию: она была бессмысленна.

Но в процессиях было не меньше, а еще больше участников. Вообще весь город, от мала до велика, если был не на митингах, то был на улицах.

Через Марсово Поле мы тихонько ехали на Дворцовую площадь, а затем к Исаакиевскому собору. На ораторских трибунах, увитых красным, иногда виднелись знакомые лица. Кто-то, издали видный, собрал большую толпу у Маринского дворца и высоко над ней махал руками, как крыльями. А на самом дворце, через весь огромный фасад тянулась красная полоса с надписью: «Да здравствует Третий Интернационал!»

Это была резиденция и цитадель империалистского «совета министров». Должно быть, Маринский дворец попал в руки большевика-декоратора. Или эта дьявольская насмешка была внушена из центра, из «комиссии первого мая»... Ведь не мало было в революции девизов, более подходящих к почтенным физиономиям Гучкова, Милюкова и

Терещенки. Но это был поистине символ «соотношения сил». Он показывал место «кабинета» — ему самому и всем желающим. Он хорошо говорил также о том, что теперь совсем не до белых перчаток и дипломатических тонкостей...

Исаакиевскую площадь пересекали, под красными знаменами, какие-то войска. Мы повернули на Морскую. Особенно впечатление произвел на меня Невский, который мы проехали от начала до конца. Нечто подобное я видел в Париже; но на наших снегах еще не видывали таких картин.

Весь Невский, на всем протяжении, был запружен толпой. Но это не была сплошная манифестация. Толпа была не густая, довольно легко проходимая не только для пешеходов, но и для экипажей и для компактных отрядов манифестантов. Толпа стояла на троттуарах и на мостовой, отдельные части ее тихонько передвигались. Собирались вокруг того или иного центра плотные кучки и рассеивались вновь. Никто никуда не спешил; никто не вышел сюда ни за делом, ни для официального торжества. Но все праздновали, и все впервые вышли сюда — на люди, в толпу, на улицу своего города — со своим праздником и занимались здесь своими делами.

Была масса детей, которые играли, бегали, как на своих дворах или на детских площадках, иные с чем-то обращались к нам, что-то показывали, громко смеялись; иные пытались вскочить на подножки автомобиля.

Это был совсем не чопорный, официальный, строгий Невский холодного чиновничьего Петербурга, который всем известен и непосредственно, и по литературе. Это был совсем новый, еще не видан-

ный Невский, завоеванный народом и превращенный им в свой домашний очаг.

Иногда впереди виднелись такие скопления народа, через которые, казалось, нам уже не пробраться. Шофер высматривал куда бы свернуть; но опасения не оправдывались. Толпа не имела оснований для упорства, она просто праздновала праздник и дышала полной грудью, радуясь новому празднику, новому Невскому, голубому небу и яркому солнцу. Тысячи лиц оборачивались на гудок нашего автомобиля, ласково разглядывали нас и легко рассасывались перед самыми колесами, иногда махая шапками неизвестным лично, но советским людям.

Организовать все это было нельзя. Что мы видели на Невском, это было сверх всякой организации. Это был поистине светлый всенародный праздник. И вся блестящая его организация, вместе с невиданным еще убранством столицы, меркла перед этим живым, одухотворенным, активным, осязаемым участием в «первом мае» всех этих сотен тысяч людей.

* * *

Вечером я был «предназначен» участвовать в советском концерте-митинге в Мариинском дворце. Считая себя непригодным для парадных спектаклей, я своевременно и определенно отказался от этого предприятия. Но все же за мной пришел автомобиль. Чтобы не подвести организаторов, я поехал с намерением уклониться от выступления при малейшей к тому возможности.

Надо было захватить еще за Баменевым на Кировч-

ную. Каменев уже основательно хрипел после дневных выступлений. Он рассказывал о первомайских подвигах своей партии, а также о своих впечатлениях от «Новой Жизни». Эти его впечатления были далеко не так плохи, как впоследствии. Когда «Новая Жизнь» была навсегда закрыта просвещенными «коммунистами», а ее существование в Москве (правда — только формально) зависело именно от Каменева, — он, отказывая в ее разрешении, прибавил: «дрянная была газета»...

Около Марининского дворца стояла толпа чающих попасть на торжественный митинг. Предпочтение правильно отдавалось солдатам, которые и наполнили большую часть огромного зала...

Не желающим выступать открылась для этого полная возможность. Кроме политики в программе вечера стояла обширная и тщательно подобранная музыкальная часть. Была возможность выпустить всего 3—4 ораторов, да и то не больше как минут на 15 каждого. А их понаехало видимо-невидимо, и они за кулисами препирались из-за мест и очередей. Разумеется, их в конце концов было гораздо больше, чем следует.

Чередуясь с музыкальными номерами — что-то очень «деловое» проворчал Урицкий, потом хрипел Каменев, острил Скобелев, нестерпимо долго пел Чернов... Возбужденно требовала у организаторов Колонтай, чтобы ее выпустили непременно, так как она «может поднять настроение»...

Настроение и без того было не плохое. Солдаты, в подном единении с рабочими, восторженно встречали каждое заявление не только о земле, но и о мире. Призывы к решительной борьбе за действительное братство народов и за всеобщий мир вызы-

вали долгие овадии. Не малый успех имели и все выпады левых ораторов против буржуазии и, в частности, против Вр. Правительства... Когда Колонтай, правдами или неправдами, появилась на трибуне, она не столько подняла настроение, сколько попала в самый центр его.

— Товарищи, — говорила она, между прочим, сжав по обыкновению кулаки и подскакивая на трибуне, — вам твердят ежедневно: солдаты в окопы, рабочие к станкам! Что же — ни солдаты, ни рабочие от этого не уклонились! Окопы защищены, а на заводах работает столько станков, сколько желают пустить в ход хозяева... Но вы, товарищи, не забудьте о другом. Рабочие к станкам, чтобы работать, — солдаты в окопы, чтобы умирать. А буржуазия? А помещики?... Помещики на покой в свои усадьбы! А буржуазия — к своим награбленным сундукам!...

Эти святые истины попадали в самую точку, в самый центр бродящей мысли массовика. Блестящий зал «императорского» театра неистовствовал от восторга: настроение массы было ухвачено и возвращено ей обратно в виде некоего эмбриона некой политической программы...

Конечно, это были зародыши будущего большевизма. Они были показательны, но были совершенно не опасны. Эти зародыши, в зависимости от окружающей среды, могли превратиться и в эксцесс большевизма, и в гарантию победоносного завершения революции. Их было необходимо видеть, и за ними было необходимо следить всем сколько-нибудь зрячим вождям движения. Но, наблюдая их, надо было не бояться их, а стремиться на них опереться, ими воспользоваться. Пока —

эти настроения народных масс свидетельствовали только об огромной потенциальной энергии, о необъятной внутренней силе революции.

* * *

Первое мая было блестящим смотром народных сил не в одной только столице. То же самое было везде, по всей России. Вся российская демократия, пробужденная к жизни каких-нибудь шесть недель тому назад, демонстрировала свою силу, свою готовность к борьбе, свою сплоченность вокруг Совета и его революционной программы. Наше казенное телеграфное агентство, враждебное Совету, в следующие дни представило на столбцах газет, поистине, величественную картину страны, справляющей праздник международного пролетариата. В газетах перечислялись десятки городов. Нигде не работали никакие учреждения и предприятия. Везде состоялись грандиозные торжества при огромных стечениях народа.

То же было и на фронте. В Могилеве, в «главной квартире» русской армии, во главе манифестирующих много-тысячных колонн шли георгиевские кавалеры. Колонна штаба и ставка шли со своим плакатом. Получались вести и о торжествах, о красных знаменах, о революционных песнях в окопах. Немцы нередко отвечали тем же.

Первомайские лозунги и в тылу, и на фронте, и у рабочих, и у солдат были одни и те же. Это были лозунги сплочения вокруг Советов, лозунги мира и земли. В Красном Селе, где были расположены между прочим два пехотных полка, 171-й и 176-й,

оба известные историкам революции¹⁾), — солдаты написали на своих знаменах: «Долой кровопролитие!» «Мир без аннексий и контрибуций!» «Пусть народы перельют пушки на плуги!» «Довольно купаться в крови!»... Все офицеры участвовали в грандиозном шествии, которое продолжалось около трех часов...

Величие этого дня усугублялось тем, что все бесчисленные телеграммы из десятков или сотен местностей и городов кончались стереотипными фразами: никаких эксцессов не было, порядок и дисциплина были образцовые и ничем не нарушались... В Москве в торжествах участвовали англо-французские гости. Во многих городах вместе с рабочими и солдатами в шествиях принимали участие и военнопленные. Города утопали в красных знаменах...

Да, было на чем остановиться мысли, как есть и теперь, по поводу этого первого мая. Ведь продолжалась проклятая война, высшее проявление полноты власти капитала над народами. Ведь во всей передовой Европе все, что происходило у нас, было само по себе сплошным «эксцессом» и «беспорядком». А у нас, это был только всенародный праздник, только мирное, правомерное, естественное отражение народной силы и победы. Не забыть этого первого мая...

* * *

¹⁾ О 171-м полке я упоминал в первой книге «Записок». Это тот самый полк, который прибыл на Николаевскую ж. д. в ночь на 28 февраля для подавления революции и открыл было перестрелку на Знаменской площади у вокзала. О полке 176-м будет речь в следующей книге.

На другой день, 19 апреля, я рано утром ушел из Исп. Комитета с намерением больше не возвращаться туда. Я должен был «выпускать в этот день «Новую Жизнь», и прямо из редакции мне предстояло отправиться в типографию. . . К следующему номеру газеты, к 20-му апреля, я написал довольно решительную передовицу — с требованием немедленных «дальнейших шагов» в пользу мира. Часов в 5 эта передовица была отправлена и с Невского на Петербургскую Сторону для набора. Редакция же продолжала заниматься своими делами.

Я позвонил в Исп. Комитет, чтобы узнать, нет ли каких-нибудь особенных дел и новостей. Кто-то из оппозиции сообщил мне по телефону сенсационную новость. В Исп. Комитете получен текст долгожданной «ноты», изготовленной Милюковым и уже отправленной союзникам — во исполнение обещаний, данных правительством делегатам Исп. Комитета. Заседания по этому поводу еще нет, но текст «ноты» ходит по рукам и уже всем известен.

Новая нота не только не представляет собой «дальнейшего шага», но совершенно аннулирует все то, что до сих пор сделала революция для мира. Новая нота Милюкова только «разъясняет» акт 27 марта — разъясняет в том же смысле, в каком Милюков уже неоднократно комментировал этот акт в своих интервью и в публичных речах. Нота уверяет союзников в том, что цели России в войне остаются прежними, какими были при царе, и что революция в них ничего не изменяет — так же, как и акт 27 марта, изданный для внутреннего употребления.

Я стоял у телефона совершенно ошеломленный, не находя, что сказать на все это:

— Ну, и что же Исп. Комитет? Что там говорят и что собираются делать?

Вечером назначено заседание... Что говорят? Левая сторона считает, во-первых, что это полная ликвидация не только всего значения, но и самого факта революции — с точки зрения внешней политики и интересов мира. А во-вторых, левая считает, что это есть наглое и циничное издевательство над Советом и народом. Считают, что Милюков должен быть ликвидирован в 24 часа... А правая — немного растеряна, не знает, что делать. Стараются успокоить нас и уверить, что не случилось ничего особенного...

Я все еще не мог придти в себя и просто понять, в чем дело. Если бы такая нота была издана правительством независимо от наших требований «дальнейших шагов», то это было бы просто продолжением обычной империалистской политики Милюкова, которую советское большинство считает «идущей навстречу» и т. д. Но каким образом подобный документ мог появиться в ответ на наши требования, во исполнение данных обещаний? Что же это — недоразумение, наивность, демонстративный жест победителя, полагающего, что он может легко игнорировать волю народа? Или — что всего естественнее предполагать — это сознательная провокация народного гнева и гражданской войны?...

Конечно, этот новый акт, по существу своему, вполне соответствует общей «линии» Милюкова и всего его кабинета. Но что означает их нежелание считаться с Советом и третирование ими демократии в таких невиданно грубых, ничем не прикрытых, еще новых формах? И что теперь нужно делать?

Что можно сделать при данной кон'юнктуре внутри Исп. Комитета?... Я вернулся в комнату, где работала редакция, и рассказал все, что я услышал. Эффект получился неожиданный.

Как ужаленный, вскочил с места Базаров, — человек, который «мухи не обидит», человек столь же импозантный по своим исключительным интеллектуальным и моральным свойствам, сколь мягкий и уступчивый по своему личному характеру; человек столь же авторитетный по своим заслугам, сколь уравновешенный и склонный объяснять все сделанное людьми в самую лучшую сторону. Вскочил, как ужаленный и бросился на меня с поднятыми кулаками.

— Ах, так! — заорал он совершенно вне себя, размахивая перед самыми моими глазами, — так вы им скажите, что мы завтра же поднимем восстание!

В этом выступлении не было ни логики, ни надлежащего реального смысла. Но в нем была вся неизбежность... Почему, зачем я должен сказать об этом кому-то «им»? Почему это должен сделать я? Кто это «мы» поднимем восстание и как мы это сделаем? И как же представить себе этого человека во главе восстания?... Но все это пустяки: слова Базарова как нельзя лучше отразили самую сущность, самое «нутро» ситуации... «Им» угодно было бросить перчатку. «Нам» остается ее поднять.

Но что делать сейчас, в редакции, для газеты?... Из Таврического дворца явился Гольденберг. Набросились на него. Он довольно вяло подтвердил: действительно уже послана нота, никакого «дальнейшего шага» в ней нет, есть обычная фразеология Милюкова, но в общем содержание не яркое — ни холодное, ни горячее.

Я уже упоминал: Гольденберг — оборонец, тянувший к большинству, был у нас в редакции более или менее инородным телом. Но во всяком случае, при таких условиях, при разнотонных освещениях, приходилось обратиться к самому тексту ноты, раньше чем что-нибудь писать или рассуждать по поводу его. А текста в редакции еще не было. Он был получен поздно. Но все же познакомимся с ним сейчас.

* * *

«Ноте» была предпослана телеграмма, помеченная 18 апреля, исходящая от министра иностранных дел и адресованная российским представителям при союзных державах. Милюков поручил нашим послам передать союзным правительствам акт 27 марта и «высказать при этом следующие замечания». Прежде всего послы должны были опровергнуть все слухи о готовности России заключить сепаратный мир. А затем союзникам предлагалось понять декларацию 27 марта в том смысле, что она «вполне соответствует тем высоким идеям, которые постоянно высказывались, вплоть до самого последнего времени, многими выдающимися государственными деятелями союзных стран». Сделав затем кивок на «германофильство» старого режима (с этой басней, как известно, не уставал носиться наш либерализм и не без успеха соблазнял ею обывателя), Милюков от имени революционной России говорит «языком, понятным для передовых демократий современного человечества и спешит присоединить свой голос к голосам своих союзников».

«Проникнутые этим новым духом освобожденной

демократии заявления Вр. Правительства, — продолжает Милюков, — разумеется, не могут подать ни малейшего повода думать, что совершившийся переворот повлек за собой ослабление роли России в общей союзной борьбе. Совершенно напротив, всенародное стремление довести мировую войну до решительной победы лишь усилилось благодаря сознанию общей ответственности всех и каждого. Это стремление стало более действительным, будучи сосредоточено на близкой для всех очередной задаче — отразить врага, вторгнувшегося в самые пределы нашей родины. Само собой разумеется, как то и сказано в сообщаемом документе, Вр. Правительство, ограждая права нашей родины, будет вполне соблюдать обязательства, принятые в отношении наших союзников. Продолжая питать полную уверенность в победоносном окончании настоящей войны в полном согласии с союзниками, оно совершенно уверено в том, что поднятые этой войной вопросы будут разрешены в духе создания прочной основы для длительного мира и что проникнутые одинаковыми стремлениями передовые демократии найдут способ добиться тех гарантий и санкций, которые необходимы для предотвращения новых кровавых столкновений в будущем».

Я воспроизвел документ почти целиком. Как будто ни малейших сомнений его смысл возбудить не должен. Он заключается только в одном: препровождая союзникам акт об «отказе от завоеваний», Милюков старается только о том, чтобы союзники не подумали всерьез, будто бы новая революционная Россия на самом деле отказывается от завоеваний...

Обязательства перед англо-французскими капи-

талистами будут целиком уплачены кровью «свободных» русских рабочих и крестьян. Но пусть не подумает кто-нибудь, что теперь мы ограничиваем свои цели «близкой для всех и очередной задачей» — отразить врага, вторгнувшегося в самые пределы нашей родины. Эта задача «близкая и очередная», но, конечно, не единственная. Помните, союзники: ни миллионов жизней, ни океана слез, ни народного разорения, ни русской культуры, ни — разумеется — добытой свободы мы не пожалеем и доведем войну до решительной победы в полном с вами согласии; но уже за то потребуем «санкций» на Галицию, Армению, восточную Пруссию, и гарантий длительного мира в виде Константинополя и проливов. На то мы и патриоты.

Ни малейшего иного смысла у документа нет. Он окончательно и официально расписывается в полной лживости декларации 27 марта, в отвратительном обмане народа «революционным» правительством. Никаким иным способом истолковать ноту 18 апреля невозможно. Всякое иное толкование ее будет новым таким же отвратительным обманом.

«Дальнейшим шагом» Милюкова, после лицемерия 27 марта, было уже формальное свидетельство того, что революция, по его мнению, может только продолжаться и углублять внешнюю захватную политику царизма; а воля всего народа может только поцариться, третироваться, оплевываться Вр. Правительством в лице министра иностранных дел.

Лицемерие, как известно, есть дань порока добродетели. Милюков согласился уплатить эту дань 27 марта, но отказался 18 апреля. Видимо, решил, что уже нет расчета.

В марте лидер буржуазии как-ни-как вел дипло-

матическую игру, кривя душой, подтасовывая политические карты. В апреле он не хочет знать ни флера, ни тумана, ни фиговых листков. Видимо, счел, что уже не стоит труда.

Дипломаты Мариинского дворца сняли перчатки. Народу и Совету была брошена под ноги одна из них. Народу и Совету ничего не остается, как только ее поднять.

* * *

Я непременно хотел отправиться в Исп. Комитет на обсуждение ноты. Я попросил заменить меня при выпуске газеты. Но все же, повидимому, не попал в это экстренное заседание, назначенное на поздний вечер. По крайней мере, я решительно ничего не помню из того, что было на этом заседании. Только в «Рабочей Газете» — я вижу сообщение, что заседание началось в 12 часов ночи и продолжалось до половины четвертого утра. По словам газеты, представители различных течений сходились в том, что «нота Вр. Правительства находится в противоречии с идеями, выраженными в известном обращении Совета к народам мира»...

Мягко выражено, до странности мягко! И, конечно, это не дает представления о том, что было в Исп. Комитете. Но все же характерно указание на некую «солидарность» различных течений. «Группе президиума», видимо, не удалось убедить всех своих сторонников в том, что правительство по прежнему действует в согласии с волей и т. д. Между тем, несомненно, что Церетели был энергичен. Несомненно и то, что его сторонники были так же выносливы и нетребовательны, как китайские кули.

В результате, несмотря на чрезвычайность и продолжительность заседания, Исп. Комитет не принял никакого решения. Высший советский орган завяз в болоте. Это было довольно естественно: ситуация была острая, решение было крайне ответственно, а с положением дел внутри Исп. Комитета мы достаточно знакомы. Завязнуть в болоте и не принять никакого решения, — это, быть может, лучшее, что мог сделать Исп. Комитет по всей совокупности обстоятельств. На следующий день было назначено новое суждение по тому же предмету. Конечно! Утро вечера мудренее.

Я очень жалею, что не попал на это ночное заседание: я не могу сообщить о нем никаких подробностей, а они были, конечно, интересны и характерны... Но я, повидимому, не попал и в типографию. Текст ноты там был получен поздно вечером. На лицо был Базаров, который оценил ноту по достоинству и, вдохновленный ею, написал резкий *postscriptum* к моей передовице. Это было всего несколько фраз. В них не было никакого призыва к восстанию, но было воздано должное Милюкову и правительству. Была воздана должная и обязательная дань возмущенному чувству и разуму.

Подождем до мудреного утра. Посмотрим, что выйдет из всего этого.

* * *

На следующий день, 20 апреля, до заседания Исп. Комитета работало его новое «однородное бюро». Я не без труда отыскал место его занятий — в низких неприглядных комнатах второго этажа, выходявших окнами в сквер Таврического дворца. Это не было

постоянной резиденцией бюро; не знаю, почему оно забралось сегодня в это укромное место.

Однако «органическая работа» шла плохо. Очевидно, мысли больше были заняты «нотой» и «высокой политикой». Да и участников было очень мало. В частности не видно было «группы президиума», у которой, конечно, было хлопот по горло. Из присутствовавших 8-ми—10-ти человек помню Либера, Гоца, и, пожалуй, больше никого.

К видному из окна под'езду подкатил автомобиль, из которого выбежал солдат и бросился в под'езд. Через некоторое время солдат вбежал в комнату бюро и впопыхах рассказал следующее.

С Выборгской стороны движется к Невскому огромная толпа рабочих, частью вооруженных. С ними много и солдат. Манифестация идет с лозунгами: «Долой Вр. Правительство!» «Долой Милюкова!» Вообще в районах, на заводах и в казармах, царит огромное возбуждение. Многие заводы не работают. Повсюду на местах происходят митинги. Все это по поводу ноты Милюкова, появившейся сегодня во всех газетах...

К под'езду подскочил еще автомобиль. Вообще в сквере забегали. Прохожие останавливали друг друга и, жестикулируя, что то рассказывали. Вбежал второй вестник и сообщил, что на Невском собираются толпы и летучие митинги. Там слышны речи и возгласы в честь Милюкова и Вр. Правительства. Царит большое возбуждение — по поводу ноты.

Что делать нам, в бюро, в центре советской организации, в сердце революционной демократии?.. Надо предотвратить столкновение, предупредить кровопролитие, — это прежде всего. Нам сообщают,

что два добровольческих, классовых, отряда уже на лицо, что они пылают ожесточением и рвутся в бой. Если предстоит быть гражданской войне, то во всяком случае пусть она будет не в форме бессмысленной случайной свалки невских фланеров с Выборгскими рабочими. Надо немедленно остановить и, по возможности, повернуть обратно манифестацию с Выборгской Стороны. А затем вплотную заняться «высокой политикой» и разрешить общий вопрос ситуации.

Чхеидзе был во Дворце. Он был немедленно разыскан и через несколько минут, с двумя-тремя безымянными товарищами, уже скакал на перерез манифестации. Он перехватил ее где то близ Марсова Поля. Пререкания, насколько помню, были довольно бурные, но все же Чхеидзе, кажется, удалось успокоить, остановить и рассеять манифестантов. Он ссылался на то, что Исп. Комитет немедленно обсудит положение и тогда, в случае нужды, призовет к организованным действиям, — тогда как разрозненные выступления свидетельствуют о нашей слабости и только вредят делу.

В это время мы в бюро продолжали наши суждения. Постановили сегодня же в шесть часов экстренно собрать пленум петербургского совета — в Морском корпусе. Затем было предложено принять общие меры против манифестаций без призыва и разрешения Исп. Комитета.

Я решительно восстал против этого: право манифестаций есть одно из основных ныне завоеванных общегражданских «субъективно-публичных» прав; его нельзя ни отменять, ни ограничивать вообще, без особой, без чрезвычайной нужды к тому. Если же дело идет о чрезвычайной нужде — предупредить по-

боище, то ведь надо иметь в виду, что наших распоряжений послушается только одна сторона, только рабочие и солдаты, только демократия. А этим будет создано совершенно неприемлемое положение: манифестации буржуазии и невской публики будут широко разливаться по городу — в честь Милюкова и Вр. Правительства; советские же массы будут лишены возможности подать свой голос. Это — полное извращение действительности, создавшейся в результате ноты Милюкова. Для Совета такое положение невозможно.

Правда, самочинные гражданские стычки также нетерпимы. Но тогда, принимая меры против уличных выступлений, мы должны предварительно потребовать от правительства, чтобы оно сделало то же самое с своей стороны. Если он распубликует во всеобщее сведение о недопустимости манифестаций, ему дружественных, то только тогда мы должны принять меры против демонстраций в пользу Совета, в защиту его позиций и интересов демократии.

На этом я настаивал категорически. Но члены «однородного бюро» без колебаний отклонили это мое требование...

Однако, пока что меры против манифестаций ограничились составлением прокламации с призывом к спокойствию — вперед до решения Совета. Прокламация эта была даже не подписана Исп. Комитетом и появилась на следующий день в «Известиях» просто в виде статьи.

* *
*

Но пока мы судили о том, что делать, пришли новые сенсационные вести. Двинулся Финляндский полк — со знаменами и с плакатами: «Долой захватную политику!» «В отставку Милюкова и Гучкова!» Полк направился к Мариинскому дворцу, окружил его и занял все входы и выходы... За финляндцами двинулись и другие полки — Московский, 180-й. Солдаты проявляли большое возбуждение; по их словам, они шли с намерением арестовать Милюкова и все Вр. Правительство.

С быстротой молнии к Мариинскому дворцу был командирован Скобелев. Теми же речами, что и Чхеидзе, ему удалось если не вполне успокоить солдат, то заставить их отказаться от намерения — «надавить» на Вр. Правительство оружием и физической силой. Совет объявит, когда и что нужно будет сделать для защиты интересов демократии....

Полки стали расходиться от Мариинского дворца, но продолжали манифестировать против Милюкова и захватной политики, в пользу мира и Совета.

Кто вызвал полки из казарм — с такой внушительной целью?.. Конечно, все эти выступления происходили по инициативе левых партийных элементов. В частности, «осада» Мариинского дворца была приписана излишней энергии одного большевика, солдата Линде, бывшего члена Исп. Комитета. Арест Вр. Правительства, конечно, выходил далеко за пределы партийных и групповых прав и полномочий; вместе с тем этот легко осуществимый акт совершенно не соответствовали ни видам Совета, ни потребностям момента.

Но, с другой стороны, приглашая солдат и рабочих на мирные манифестации против предательского правительственного акта, партийные элементы ни-

сколько не превышали своих прав и не нарушали лояльности к Совету; а сами рабоче-крестьянские массы, так энергично откликнувшись на этот призыв, вполне лояльно демонстрировали свою волю, проявляя лишь здравый политический смысл, классовое чутье и преданность революции...

Манифестации рабочих и солдат, несмотря на их мирный характер, оказались опасными и нежелательными. Но это объясняется особыми обстоятельствами: наличием контр-манифестаций, при крайнем возбуждении сторон. И это нисколько не умаляет огромного положительного значения рабоче-солдатских выступлений, которые говорили только об огромном революционном подъеме, о силе и зрелости народного движения.

Вернувшийся Скобелев остановил меня и заговорил внушительно и назидательно:

— Вы знаете, что мне сейчас сказал один солдат у Мариинского дворца, когда я расспрашивал, кто и зачем вызвал их часть из казарм? —

— Что же он сказал вам?

— Он сказал: мы прочли утром в казармах передовую статью в «Новой Жизни» с добавлением насчет милюковской ноты. Мы поняли это так, что надо выступать и свергать Вр. Правительство. Потому, говорит, и пришли сюда, чтобы арестовать его.

В этот день обыватели советской правдой, встречаясь со мной, не раз качали головой, конфузясь за меня, как добрые воспитатели за школьника, который напраказил и не хочет публично раскаяться.

* * *

Между тем, главнокомандующий петербургским округом, славный генерал Корнилов, услышав о неприятном положении совета министров — «конко, людно и оружно» выступил «на защиту Вр. Правительства». Он собрал какие-то кавалерийские части и выкатил пушки к Маринскому дворцу.

Было бы странно и несправедливо требовать от него перед лицом истории иного образа действий. Он сделал то, что требовало от него его положение... Но интересно другое: что это были за части, с какими намерениями и с какими настроениями они шли на Исаакиевскую площадь?

Что в случае столкновения они не имели бы никакого успеха — это совершенно ясно и бесспорно. Но были ли в распоряжении Корнилова части, которые, действительно, могли выступать против народа? Могли ли вообще тогда стрелять эти пушки Корнилова?... Это было бы интересно, но едва ли возможно выяснить. Я лично незыблемо убежден, что никакое «сражение» между «повстанческими» и корниловскими войсками было вообще невозможно: народ тогда не делил ни с кем своей силы.

Во всяком случае никакого столкновения тут не было. Враг рассеялся еще до прихода «правительственных войск». А лишь только в Исп. Комитете узнали о выступлении Корнилова, как в ту же минуту ему было сделано самое «внушительное представление». И Корнилов немедленно повернул свои пушки в обратный путь.

Однако, разумеется, всем этим не кончилось уличное движение, и всем этим не были рассеяны призраки гражданской войны. Весь город был наэлектризован. И, собственно, еще было не видно решительно никаких факторов, способных разрядить ат-

мосферу... Полки понемногу возвращались в казармы. Но на улицах не уменьшалось возбуждение. Повсюду собирались толпы, и шли митинги. На Невском и в прилегающих местах «сознательные» представители буржуазии и несознательные мещане держали горячие речи к «приличной публике», стараясь поднять настроение в пользу Милюкова, против «Ленина и его товарищей». А на окраинах, на заводах в рабочих кварталах — народ требовал ликвидации предательского министерства и выражал полную готовность осуществить это требование своим руками.

Снова, как и позавчера, весь Петербург был на улице. Снова он демонстрировал свою волю к миру и снова свидетельствовал о необъятной силе революции...

Задолго до шести часов к Морскому корпусу на Васильевский Остров стали стекаться советские депутаты.

* *
* *
*

Собрался пленум Исп. Комитета. Лидеры большинства нашли «выход» из того болота, в какое попали вчера. Они решили ничего не решать по существу дела, но вместе с тем выставить для этого уважительный повод перед лицом Совета и народа: раньше чем что либо решать, надо обясниться с правительством...

Конечно, это был хороший повод, убедительный для большинства. Но вместе с тем это был отличный шахматный ход, отличный исходный пункт для конечного торжества советской «линии», ведущей революцию с недостижимых высот победы к бесславной гибели демократии.

Ведь, в сущности, разговаривать с правительством было не о чем. Никакие объяснения не могли ничего прибавить к существу дела. Самая блестящая, безупречная, гениальная мотивировка правительственного выступления 18 апреля, хотя бы она тысячу раз оправдывала и превозносила Милюкова, — все же никак не могла ни изменить объективного положения дел, ни отменить насущных требований революции, ни удовлетворить демократию. Здесь столкнулись классовые интересы, — противоречие которых непримиримо, вообще, и неустранимо путем словопрений, в частности. Интересы капитала и империализма столкнулись здесь с интересами народа и всеобщего мира. «Мотивировать» друг перед другом свои позиции значило бесплодно терять время. Здесь надо было не «объясняться»: здесь более сильная сторона должна была диктовать более слабой пределы необходимых уступок. Это значило бы действовать единственно разумным способом; и это значило бы действовать так, как необходимо действовать в революции.

Но для того, чтобы диктовать, предписывать, ставить ультиматум — надо тщательно обсудить и взвесить: что именно диктовать и чем подкрепить ультиматум. Обсудить и взвесить это и должен был Исп. Комитет. Этим ему и надо было заняться в заседании 20 апреля...

Вместо того, по предложению лидеров большинства, Исп. Комитет легко и быстро постановил: никакого решения, как и вчера, не принимать, а вместо того сегодня же поздним вечером, после Совета, устроить совместное заседание с кабинетом министров для взаимных объяснений; в заседании должен участвовать весь пленум Исп. Комитета; при чем

слово должны получить 10 его членов по выбору отдельных фракций и течений. Кроме того, было решено: предложить петербургскому совету также не принимать никакого решения, отложив его впредь до объяснений с правительством...

Да, я повторяю: это был не только убедительный повод, но и отличный шахматный ход, исходный пункт для торжества советской «линии». Говорить с правительством было не о чем. Но самый акт подмена дела пустыми разговорами был превосходным выходом из положения для мелкобуржуазно оппортунистского советского большинства. Выслушать мотивировку вместо того, чтобы пред'явить ультиматум; пред'явить запрос вместо того, чтобы продиктовать народную волю; вступить в переговоры о примирении интересов вместо того, чтобы подчинить интересы буржуазной группы интересам революции, — таков был путь, предуказанный «группой президиума» и предрешенный мещанским большинством Исп. Комитета.

Ведь этот путь уже испытанный; его плодотворность уже доказана. Не этим ли путем мы уже пришли однажды к «победе» 27 марта? Не этими ли методами, утопив народное движение в закулисных сделках, мы уже раз расстроили, размягчили, рассосали всенародный натиск на империалистскую буржуазию?...

Правда, сейчас народ единодушен в своей борьбе и в своем гневе; сейчас его натиск несравненно сильнее, его рука уже занесена для богатырского удара. Но за то ведь гораздо сплоченнее и послушнее стало большинство ныне всемогущего Совета; несравненно лучше «самоопределились» мелкобуржуазные группы, и несравненно глубже стала

трещина внутри советской демократии. Затянуть, замазать и изжить конфликт путем махинаций и комбинаций; свести дело о предательстве революции к ошибкам в выражениях, к толкованию слов; попытаться выдать дипломатические объяснения за реальные уступки; попытаться ликвидировать кризис, признав объяснения удовлетворительными, — такова была «линия» большинства. Это был отличный ход, испытанный не только у нас, но и во всех революциях всеми либеральными и мещанскими группами. Другого пути во всяком случае не было. По крайней мере, в течение суток его не могли придумать лидеры советского большинства.

* * *

Собственно, исход всей кампании уже был в огромной степени предрешен этим вотумом Исп. Комитета об «обмене мнений» с правительством. И уже не было большого энтузиазма среди народной бури, изумительной по силе и красоте... Но — надо было делать, что можно.

Правительство, разумеется, обнаружило полную готовность «объясниться». Часов на 9 было назначено совместное заседание всего Исп. Комитета с советом министров и с членами думского комитета (это учреждение все еще существовало — в качестве организационного внепартийного центра для всех цензовиков). Фракции и течения должны были сговориться и избрать 10 ораторов, долженствующих выразить «м н е н и е» своих групп перед лицом правительства.

Снова, как при создании «однородного бюро», вся оппозиция in corpore удалась в свою низенькую

комнату наверх и устроила совместное заседание. Если Исп. Комитет отказался сказать правительству настоящее слово и предварительно формулировать его, то это предстояло сделать оппозиции. Хорошо уж и то, что ей просто не зажали рот допустили ее в хорошее общество!

Заседание левых было дружно, энергично и непродолжительно. «Платформа» оппозиции и содержание ее речей к правительству были установлены с двух слов. Помню — Каменев, лидер крупнейшей и радикальнейшей оппозиционной фракции, не проявил ни должной решительности, ни должной конкретности: его формула была, правда, радикальна, но была академична и мало действенна; смысл ее был тот, что классовое буржуазное правительство проводит свою классовую, противонародную политику, — а политику народную, пролетарскую власть может проводить только тогда, когда она будет в руках другого класса.

Я лично пошел в этом заседании по противоположному пути. Я оставил в стороне общие перспективы и предлагал высказать правительству конкретное требование момента: воля народа и насущнейшая потребность всей страны заключаются в решительной политике мира; правительство ведет политику захвата и затягивания войны; народ не может доверять такому правительству и лишает его своей поддержки.

Таковы должны быть заявления советской левой, выражающей мнение самых широких пролетарских и солдатских масс. Если бы это заявил Исп. Комитет, как таковой, то это означало бы ликвидацию правительства Милюкова. В устах же оппозиционных групп это означало не больше, как облегчение их

душ и «бестактное» сотрясение воздуха. Впрочем, эти заявления не могли быть безразличны для самих чутко настроенных масс.

На долю оппозиции приходилось четыре оратора из десяти. После краткого, но довольно горячего обмена мнениями — их избрали и сообщили Чхеидзе их имена. Это были: Каменев, Зурабов, Красиков и я. Из ораторов же большинства я одного забыл, а помню — Чхеидзе, Церетели, Чернова, Скобелева и Рамишвили.

* * *

Вероятно, не раньше пятого часа я вырвался из Таврического дворца и бросился на Невский, в «Новую Жизнь»... Огромное возбуждение было видно на всех перекрестках. Бурные митинги — за и против Милюкова — происходили в трамваях, где председателей не выбирали и говорило сразу по десять ораторов и от большинства, и от меньшинства.

По Невскому шла большая манифестация с новенькими, с иголки, плакатами: «Полное доверие Вр. Правительству!» «Да здравствует Милюков!» и т. п. Но странное дело — знамена и плакаты были красные.

Толпы стояли и на троттуарах, и на мостовой. На углу Фонтанки, с какого то возвышения, приличный солидный господин говорил речь о том, что Милюкова знает вся Россия и что он служит народу вот уже десятки лет...

В редакции мы объяснились так же быстро, как и в заседании советской левой. Я наскоро написал к завтраму передовицу — с решительным требованием удаления Милюкова. А затем вместе со

Стекловым мы поехали на Васильевский остров, в Совет. Ближе к окраинам мы встречали манифестации уже другого рода — враждебные правительству. А перед зданием морского корпуса стояла многотысячная толпа рабочих.

Когда мы под'ехали, кто-то из толпы обратился к нам с заявлением, что рабочие ждать не хотят и не могут; они требуют немедленной отставки Милюкова; если будет затяжка, они примут свои меры; они будут ждать решения Совета и настаивают, чтобы оно немедленно было доведено до их сведения.

Поговорив с лидерами большинства, Стеклов немедленно вернулся к этой толпе. Надо думать, он говорил ей примерно то же, что говорил Совету председатель Чхеидзе, открывая заседание. Чхеидзе напомнил, что в прошлый раз в Совете стоял вопрос о «займе свободы», и его решение было поставлено в зависимость от новой декларации правительства по внешней политике. Ныне эта декларация опубликована и обсуждалась в Исп. Комитете.

— Там высказывалось два мнения, — говорил Чхеидзе¹⁾. — Одно находило, что этот документ не только затемняет, но совершенно аннулирует значение акта 27 марта. Другие говорили, что в ноте Милюкова есть положительная сторона, заключающаяся в том, что наши союзники поставлены теперь перед тем фактом, что русский народ отказался от всяких захватных целей в этой войне. Все члены Исп. Комитета сходились в том, что редакция ноты составлена в таких расплывчатых и туманных вы-

¹⁾ Цит. по отчету «Рус. Ведомостей» от 21 апреля 1917 года № 88.

ражениях, которые могут дать повод думать, что все осталось по старому...

Золотые слова!... Я уже выражал сожаление, что не попав в Исп. Комитет на обсуждение миллюковской ноты, я не могу сообщить подробностей. Со слов «Рабочей Газеты» я отметил, что «различные течения» были солидарны в своем отрицательном отношении к этому акту правительства. Но для меня было несомненно, что отчет не полон и не точен. Теперь Чхеидзе официально дополняет и вносит корректив: были в Исп. Комитете и такие, которые видели в ноте положительные стороны, и только опасались, как бы другие не подумали, что их там нет...

Дабы окончательно устранить сомнения в том, что все действительно осталось по старому, как было при царе, и что лицемерный акт 27 марта ныне аннулирован, — Чхеидзе так продолжал свою речь:

— Правительство должно сделать дальнейший (?) шаг и заявить совершенно определенно, что оно, как и весь народ, отказывается от политики аннексий и контрибуций.

А затем президент Совета излагает последнюю стадию дела и заключает речь так:

— Правительство, осведомившись о настроении в массах, созданном его дипломатической нотой, считает свое положение очень серьезным и предлагает Исп. Комитету явиться на заседание Вр. Правительства для совещания. Исп. Комитет, в полной мере сознавая ответственность, решил принять это предложение Вр. Правительства и отправиться сегодня вечером в Мариинский дворец, а Совету предлагает выждать результатов этого совместного за-

седания. Исп. Комитет предлагает членам Совета явиться завтра в 6 часов вечера на второе экстренное заседание, на котором будет вынесено окончательное решение о создавшемся положении.

Председатель Совета констатирует, что не Исп. Комитет, а правительство предложило совместное заседание. Я имею на этот счет иные представления и уже истолковал созыв этого заседания, как очень ловкий политический ход нашей «группы президиума». Но, может быть, я забыл истину или не знал ее. Я преклоняюсь перед официальным свидетельством Чхеидзе: стало быть, не советские оппортунисты догадались таким путем ликвидировать конфликт и утопить дело в словах, а само правительство, находясь в «серьезном положении», искало защиты от народа у советских соглашательских вождей и толкнуло беспомощное советское большинство на его собственную «линию». Пусть так...

Чхеидзе не поставил своего предложения прямо на голоса. Сначала произошли любопытные прения, в которых участвовали выборные представители фракций. Этих прений мы не минуем. Но в конце концов предложение Исп. Комитета, конечно, было принято. Да и что иное мог сделать Совет в этот критический и знаменательный час?... С общей физиономией Совета мы давно знакомы. В нем не было элементов и сил для собственной «линии» и инициативы. Ни одна партия и ее фракция не имела власти над Советом и не могла, в лице своих лидеров, возглавить его. Совет был послушен одному Исп. Комитету и послушен ему в полной мере. Пойти вразрез с ним он не смог бы, не сумел бы, если бы даже захотел.

Но тем-то и любопытно заседание 20 апреля, что оно наглядно обнаружило именно этот факт. Совет не смог, не сумел послушаться Исп. Комитета; а между тем в апрельские дни он далеко не прочь был пойти по своему особому пути. Прения 20 апреля показали, что не только народные массы вообще, но и советская, депутатская, в огромном большинстве солдатская масса ушла вперед по сравнению со своими вождями, — политиками и политиками Таврического дворца. У петербургского совета не было и не могло быть лидеров, кроме оппортунистского Исп. Комитета; но картина его заседания 20 апреля все же, вместе со всем рабочим и солдатским Петербургом, демонстрировала силу и глубину революции.

Выступали большевики — не помню кто; они доказывали, что нечего бояться гражданской войны, что она уже наступила, и что только в результате ее народ достигнет своего освобождения... Это были новые и тогда очень страшные слова. Их договаривали до конца. Они попадали в центр настроения и находили на этот раз такой отклик, какого ни раньше, ни долго после не встречали в Совете большевики.

Я помню самый факт, но не помню содержания речи Чернова, лидера «самой большой партии», встреченного овацией. В газетных отчетах я, однако, читаю, что Чернов призывал к спокойствию, которое «не может быть истолковано как признак слабости, а напротив — явится результатом уверенности в своих силах»; закончил Чернов речь так: «нужно выслушать Вр. Правительство, которое должно будет удовлетворить наши требования, или вернуть власть тому источнику, из которого оно

ее получило — Исп. Комитету Гос. Думы и Совету Раб. Депутатов». . . Этот каучуковый намек на ультиматум и на отставку кабинета был встречен бурей восторга.

Но за то я хорошо помню содержание речи трудовика Станкевича. Хорошо помню и эффект ее. Еще бы! Так как оратор был трудовик — из элементов любящих народ, но высоко «лойяльных» «демократическому» правительству, — то, несомненно, он сам не отдавал себе отчета в том, какие он говорит замечательные вещи, попадая не в бровь, а прямо в глаз. Впрочем, интеллигент и салонный демократ Станкевич, чуждый рабочему движению, не желающий знать Интернационала, — или лучше понимал обстановку или (политически) честнее действовал, чем иные заслуженные социалдемократы. Он говорил:

— Политическое положение со вчерашнего дня сильно осложнилось. . . Совет считал нужным подерживать Вр. Правительство, пока оно честно исполняет волю народа. Но нота Милюкова нанесла этому единению сильный и серьезный удар. Правительство почувствовало это, когда сегодня некоторые полки вышли на улицу с демонстрацией против правительства. Повидимому, правительство ошиблось в расчетах. . . Но что же теперь делать? — спрашивает Станкевич. — Некоторые решают просто: нужно, говорят, они свергнуть Вр. Правительство и арестовать его. . .

Оратор не учел настроения своей аудитории и был несколько обескуражен, когда такой способ действий пришелся вполне по душе — если не большинству, то доброй половине Совета. Раздались бурные аплодисменты и заставили оратора по-

дробно высказаться против свержений, арестов и всяких уличных выступлений. Они могут вызвать бессмысленное кровопролитие, хаос и дезорганизацию; но они непригодны и не нужны для решения политического вопроса, для ликвидации возникшего кризиса.

— Зачем, товарищи, нам «выступать»? — спрашивал Станкевич. — В кого стрелять? Против кого применять силу? Ведь вся сила — это вы и те массы, которые стоят за вами. Ведь у вас нет достойного противника: против вас ни у кого нет силы. Как вы решите — все так и будет. Надо не «выступать», а решить, что делать... Вон, смотрите, сейчас без пяти минут семь (Станкевич протягивает руку к стенным часам, весь зал оборачивается туда же). Постановите, чтобы Вр. Правительства не было, чтобы оно ушло в отставку. Мы позвоним об этом по телефону, и через пять минут оно сложит полномочия. К семи часам его не будет. Зачем тут насилие, выступления, гражданская война?...

В зале — сенсация, бурные рукоплескания, восторженные возгласы... Но дело тут было не в ораторском эффекте. Слова Станкевича заключали в себе гораздо больше: в них заключалась святая правда.

В них была точная характеристика положения. Совет, точнее, Исп. Комитет должен быть принять решение. И каково бы оно ни было, оно без труда было бы проведено в жизнь. Совет в лице Исп. Комитета обладал всей реальной силой, всей полнотой власти, и мог вести революцию куда бы ни пожелал.

Сейчас, в момент кризиса, он простым вотумом мог создать любую власть и закрепить ее своим авторитетом. Весь вопрос момента, весь ход событий

зависел только от того, какое решение примет Исп. Комитет.

Разумеется, это было в высокой степени «ненормально». Через день-два эту «ненормальность» недурно выразил какой-то публицист какой-то буржуазной газеты. Как! — писал он, — рабочая и солдатская организация своим решением может устранить правительство в 5 минут. В 5 минут «рассчитать» всенародно утвержденное правительство! Да зачем же нам такое правительство, какое солдаты и рабочие могут рассчитать в 5 минут? Ведь никто не имеет права сделать это даже с собственной кухаркой: и ей необходимо дать две недели сроку. Нет, такое правительство решительно ни к чему. И такое общее положение, по меньшей мере, странно...

Бог весть, какие выводы делали из всего этого фельетонисты «большой прессы». Вернее всего те, что Станкевич сморозил вздор. Положение действительно было странно и «ненормально». Но Станкевич сказал правду, он констатировал факт...

Заседание Совета стало принимать бурный, хаотический и совершенно бесплодный характер. Ничего, кроме как согласиться на предложение Исп. Комитета, на предложение большинства своих лидеров — Совет сделать не мог, не сумел, не имел сил.

Уже пора было членам Исп. Комитета собираться на «совместное заседание». Совет был распущен — до завтра, до 6 часов.

* * *

В невеселом настроении я брел один с Вас. Острова к Марининскому дворцу... Уже сильно темнело. Оживление на улицах, как будто, стихло, но — говорят —

продолжалось в рабочих центрах города. Я почти твердо решил не выступать на «совместном заседании». Бесплодность этого была очевидна, а неприятность довольно велика.

У Мариинского дворца я увидел довольно большую толпу. Сначала я принял ее за враждебную правительству манифестацию. Но оказалось, что это публика с Невского и сторонники Милюкова. Были видны плакаты: «Верим Вр. Правительству!» — а также — «Ленина и его друзей обратно в Германию!» . . . Не думаю, что эта «интеллигенция» явилась сюда, чтобы поддержать ногу Милюкова и вообще солидаризироваться с его политикой. Едва ли манифестанты сознательно ориентировались в этом. Скорее, это была демонстрация «общего духа» солидарности с Мариинским дворцом и «общего духа» протеста против Таврического.

В частности же, тут была злоба против проклятого Ленина, которого обыватели припугали к кризису без всяких оснований: Ленин в апрельские дни был тише воды, ниже травы. Несмотря на уличное движение, имевшее формы восстания, он со своей партией не пытался возглавить его и дать ему свои лозунги. Между тем, некоторые из них были бы, несомненно, очень легко восприняты. И вообще выступление большевиков и попытка их овладеть начавшимся огромным движением, мне кажется, могла бы иметь очень большой успех. Но вместе с тем, кровавая гражданская война была бы в таком случае обеспечена. За Лениным пошли бы; но пошло бы все же меньшинство. Ленин сейчас еще не имел охоты к эксперименту — а вернее, не имел смелости. Он пока еще только наблюдал события и учился у них. . .

Подъезд Марининского дворца, стоящий высоко над площадью, был битком набит людьми разного пола и возраста. Кто-то говорил с него речь — не то Родзянко, не то какой-то министр. Я едва пробался внутрь, при чем каждый, кого я просил посторо-ниться, осаживал меня словами, что заседание будет закрытое. Очевидно, о нем было широко известно, и туда ломилась публика.

Во дворце собралось около сотни советских лю-дей — членов Исп. Комитета и ближайших квали-фицированных его сотрудников. Для заседания был приготовлен зал бывшего Гос. Совета, не столь стильный, сколь уютный, мягкий, располагающий. Было яркое освещение, оживление, какие-то хло-поты. Очень бодро выглядели министры — Некра-сов, Терещенко, Милюков. Можно сказать даже: они смотрели чуть ли не победителями. Их дух, не-сомненно, очень поднимали манифестации: «народ» — за них.

Еще бы! По всему городу, по всем заводам и ка-зармам советские люди оповестили, что «выступле-ния» нежелательны, что дело рабочих и солдат — ждать решений свыше. Между тем, кадеты офи-циально, от имени своей партии, звали на манифе-стации на Невский. Эта нелепость была допущена утренним решением бюро... К тому же г.г. мини-стры ведь не ездили по окраинам и не наблюдали настроения рабочих масс.

Суетились и бегали по залам репортеры. У них был «большой день». Уже давно носились они с этим «совместным заседанием» и раньше, чем оно состоялось, объявили его «знаменитым» и «истори-ческим»... При взгляде на все это, вместе взятое, настроение отнюдь не поднималось.

Часов около 10 премьер Львов открыл заседание. Советские люди широко раскинулись по зале — в уютнейших креслах, сильно располагающих ко сну. Министры и члены думского комитета расположились напротив — на министерских местах, в ложах журналистов и стенографисток...

В это время была передана мольба газетных сотрудников допустить их в залу заседания. Они, в кулуарах, были вне себя от волнения и требовали своего естественного права. Но, кажется, я не ошибусь, если поведаю миру, что вопрос о журналистах и о гласности заседания разрешился так. Львов, посоветовавшись с товарищами, объявил, что правительство ничего не имеет против присутствия журналистов и ставит вопрос о гласности на усмотрение Исп. Комитета; и тут «группа президиума» в лице Церетели высказалась в том смысле, что лучше обойтись без журналистов и сообщить им потом о ходе заседания в меру политической целесообразности. Потом, много времени спустя, Церетели рассказывал мне, что свое заключение он дал по настоянию большевика Каменева. Во всяком случае движение против гласности шло из наших, из советских сфер. На мой взгляд, перед лицом либеральной буржуазии это было конфузно.

Не могу сказать, что вышло из всего этого в конечном счете. Помню только, что газетчики шумели и протестовали. Об «историческом» заседании отчеты, очень жалкие, все же появились. Может быть, журналистов информировали участники, а может быть некоторые репортеры как-нибудь проникли в залу.

Уже при первых шагах обнаружилось, что под видом «исторического» заседания в зале Гос. Совета

инсценирована нелепая и недостойная комедия. Министр-президент объявил, что г. г. министры в пределах своих ведомств изложат Исп. Комитету «положение дел в государстве». Почему? зачем? какое отношение это имеет к непосредственной практической цели заседания — к вопросу о конфликте из-за ноты 18 апреля?

Ну, хорошо, — пусть изложат. Какие же именно министры будут так любезны?.. Львов назвал имена Гучкова, Шингарева, Некрасова, Терещенки, но пропустил Милюкова. Это уже отзывалось прямой насмешкой — если не над здравым смыслом буржуазии, хорошо ведущей свою «линию», то насмешкой над Исп. Комитетом... А нота? а внешняя политика? а Милюков?

А Милюков, откровенно третирующий «частное учреждение», занялся в это время более существенным делом. Лишь только начались речи, по залу прошел слух, что ко дворцу подошла новая огромная манифестация и желает чествовать министра иностранных дел. Туда и сюда бегают радостно возбужденный Некрасов и, в качестве предвестника Милюкова, перед речью в зале, успевает с балкона дворца об'ясниться с «народом».

Газеты в таком виде передали сказанные им несколько фраз. Обещав вызвать требуемого Милюкова, Некрасов сказал:

— Граждане, кучки людей не смогут смутить Вр. Правительство. Есть люди, которые пытаются представить эти кучки в виде большого организованного движения, но кучки так кучками и останутся, и ваше присутствие здесь доказывает, что враждебное движение несерьезно и не имеет под собой почвы...

Прелестно! Министру прокричали: «ура». А затем,

с торжественным лицом проследовав через залу, к «народу» вышел и сам Милюков. Вместо пустых разговоров с «частным учреждением», он с большим успехом занялся массовой агитацией и произнес программную речь.

— Граждане, — говорил он, — когда я узнал про демонстрацию с лозунгами «долой Милюкова» — я испугался за Россию. Если бы этот лозунг выражал настроение большинства граждан, то что скажут наши союзники, что сообщили бы союзным державам мои товарищи послы иностранных держав в Петрограде? Они сегодня послали бы телеграфные известия своим правительствам, что Россия изменила союзникам, что она вычеркнула себя из списка великих держав, воюющих за свободу и за уничтожение милитаризма. Вр. Правительство не может стать на такую точку зрения... Как и я, оно будет защищать то положение, при котором никто не посмеет упрекнуть Россию в измене. Россия никогда не согласится на сепаратный мир, на мир позорный. И мы ждем вашего доверия, которое явится тем попутным ветром, который двинет в путь наш корабль. Я надеюсь, что вы нам этот ветер устроите...

Хорошая речь! Этот министр, как и предыдущий, оказался на высоте положения. Первый находчиво и остроумно объявил, что ему ни о чем кучки людей, не имеющих под собой почвы; второй глубоко-мысленно и скромно пояснил, что эти кучки хотят не чего иного, как сепаратного и позорного мира: ибо лозунг «долой Милюкова», разумеется, может означать только позор для России и изъятие ее из списка цивилизованных стран. Хорошая речь. И заключение ее то же хорошее: просьба к чистой публике посеять ветер...

Долго растекались по толпе волны патриотического восторга, находя себе выражение в возгласах: «Долой Ленина!», «Арестуйте Ленина!». . . Это было не только патриотично, но и очень логично. Жаль только, что это было утопично. Ни малейших средств осуществить этот благой совет не было в руках Милюкова и его сподвижников. Но подождите немного, обыватели Невского и патриоты биржи! Попутный ветер развеет вам хорошую бурю и скоро даст Ленину полную возможность арестовать сподвижников Милюкова.

В зале же «совместного заседания» в это время все шло своим порядком. Шингарев говорил о положении продовольствия и выражал надежду, что крайним напряжением сил удастся предотвратить катастрофу. Терещенко рассказывал о том, что у него в министерстве уже разрабатывается проект расширения системы прямых налогов, а вместе с тем призывал к поддержке «займа свободы», уверяя, что в противном случае мы окажемся в критическом положении. Некрасов сообщал о мерах к улучшению транспорта и остановился на необходимости «усиления подвижного состава, для чего имеется в виду взять классные вагоны с второстепенных линий на основные, а на второстепенных линиях приспособить товарные вагоны для пассажирского сообщения». . . Гучков повторил известную нам речь о печальном положении армии, которая «разлагается» под влиянием «нынешних настроений» и «разговоров о мире». — Все шло своим порядком.

Было бы, однако, несправедливо умолчать, что некоторые правительственные ораторы все же упоминали и о «ноте», и о внешней политике. Так, Гучков заявил, что в настоящем критическом положе-

ни не может быть и речи о завоеваниях, ни у кого в правительстве нет и мысли об аннексиях и контрибуциях. Терещенко уверял, что нота 18 апреля только перефразирует и развивает декларацию 27 марта; «аннексии и контрибуции» там и здесь одинаковы; и почему одна нота была встречена с полным сочувствием, а вторая вызвала весь этот шум? А Шульгин, как дважды два доказывал, что отказ от аннексий и контрибуций — это чистейший германский лозунг, о котором ни у кого из присутствующих, если они русские люди, и речи, и мысли быть не должно. — Так обменивались мнениями правители России. Все шло своим порядком.

После министерских докладов, однако, выступил «к порядку» Чхеидзе с деликатной просьбой помиловать. Ведь мы собрались, чтобы разрешить конфликт, созданный на почве внешней политики правительства; Совет находит неприемлемой ноту от 18 апреля; так нельзя ли выслушать специальные разъяснения министра иностранных дел...

К этому прибавил Рамишвили, что Милюков, действуя приемами старой царистской дипломатии, через старый дипломатический штаб, вводит в заблуждение не только Россию, но и союзников; а потому для полной ясности пусть он отправит новую дополнительную ноту, устраняющую всякие недоразумения.

Волей-неволей Милюков вошел на трибуну. Но, разумеется, он не дал и не мог дать ровно ничего любопытного. Цели войны были изложены в декларации 27 марта. Она вызвала всеобщее удовлетворение. «Ныне же необходимо иметь в виду, что при обсуждении всех вопросов, вызывающих острый отклик надо соблюдать величайшую осторожность».

«Нота не должна вызвать тех нареканий, которые основаны на превратном толковании отдельных фраз и искании того смысла, которого в ней в действительности нет». Главное же надо иметь в виду тяжелое впечатление, которое происшедшие эпизоды произведут на союзников. Послать им еще ноту? Совершенно невозможно. Это встретит решительный отпор. И, желая окончательно напугать союзниками свою невзыскательную аудиторию, Милюков в заключение огласил какую-то пустяковую секретную телеграмму, в которой какой-то союзный дипломат выражал свое дипломатическое недовольство русской революцией... «Большевик» Милюков, как видим, не стеснялся «частного учреждения» и без обиняков вел свою «линию», наступая на робкого врага.

Тогда Чхеидзе говорил снова и сказал, что после всего этого не остается ничего, как пойти навстречу правительству. Пусть оно разъяснит русским гражданам содержание ноты 18 апреля... И к этому Чхеидзе присовокупил, что Исп. Комитет считает совершенно недопустимым уход Вр. Правительства в настоящее время. Это была не особенно законная декларация, так как Исп. Комитет не решал вопроса по существу; но тем не менее она произвела самое благоприятное впечатление... Затем Чхеидзе заявил, что теперь выступают члены Исп. Комитета: они принадлежат к различным течениям, и правительство может информироваться, что думает в отдельности каждое из них.

Тогда приступили ко второй половине знаменитого и исторического, но совершенно невинного занятия. — Церетели, указав на то, что делается на улицах, предлагал: «необходимо дать дополнительное раз-

яснение, в котором все острые вопросы, вызывающие спорные и различные толкования, должны быть облечены в определенную, недопускающую никаких сомнений форму... Только это может смягчить отношения, ибо тогда народ поймет, что Вр. Правительство в своих намерениях и воззрениях на войну, идет солидарно с народом, а не придерживается старых шовинистических тенденций».

Чернов, далее, в огромной речи доказывал, что Россия должна смочь свое суждение иметь и говорить таким же властным языком, как Америка. Если мы твердо решили отказаться от аннексий, то твердо и скажем это. А в пространном заключении Чернов страшно тонко и дипломатично повторил то, что он репетировал перед Исп. Комитетом еще в Таврическом дворце. Он сказал, что Милюков очень почтенный человек и отличный деятель, и что он де отменно будет популярен на посту министра народного просвещения и на разных других очень важных постах, но на посту министра иностранных дел Милюков никогда, вероятно, не будет популярен.

Начались и речи левых ораторов. Я в полном томлении духа сидел в своем кресле с Лариным по один бок, с Громаном по другой. Я не записывался к слову, решительно не желая участвовать во всей этой комедии. Однако, левая серьезно поставила мне на вид мое дезертирство и потребовала выполнения обязательств. Совершенно удрученный, не зная, что сказать, я пошел к председателю Львову, но он сказал, что я уже записан...

Втородумец Зурабов вызвал сенсацию своим возмутительным заявлением, что если союзники не захотят отказаться вместе с нами от империалисти-

ческой политики, то это, казалось бы, не должно означать, что мы без конца будем вести войну ради союзных завоеваний. Затем Каменев очень скромно изложил к сведению Милюкова и Шульгина свою формулу, что буржуазное правительство непременно будет вести империалистскую политику, а для демократической политики необходимо, чтобы власть была в руках соответствующего класса. Послышались злобные возгласы: «так берите власть!» На это Каменев дал понять, что этого он совсем не хочет.

Мне пришлось говорить последним, уже при утреннем свете и значительном разложении исторического заседания. Министры не были удивлены тем, что я проявил максимальную «бестактность». Но, на мой взгляд, на этот раз я говорил совершенно толково и сказал именно то, что мне следовало сказать, если не следовало молчать. Я припомнил последовательно все министерские доклады о критическом положении государства, армии, продовольствия, транспорта, финансов. Я сказал, что при всех этих условиях, описанных самими министрами, нелепо мечтать о войне «до полной победы», до разгрома Германии, до осуществления всех империалистских целей союзников, изложенных в известном ответе Вильсону, в декабре 1915 года. При всех этих условиях преступно и не патриотично вести империалистскую политику. И наоборот для коренного изменения, для улучшения, для исправления всех областей нашей государственной жизни имеется одно-единственное средство — надо вести политику мира, надо кончать войну.

Если не взять решительный курс на окончание войны, то революционная Россия погибнет от продовольственной, транспортной и финансовой раз-

рухи. Если не вести решительной политики мира, то невозможно достигнуть целей действительной обороны страны. Именно об этом говорит и состояние армии и состояние народного хозяйства... Вр. Правительство около двух месяцев находится во главе страны. В течение их оно доказало, что оно не способно вести внешнюю политику, необходимую для демократии, и для всей России. Сейчас народ сказал ясно: он не хочет больше терпеть политики Милюкова. Он больше не доверяет и не будет доверять правительству, ведущему такую политику... Я добавил, что к сожалению в Исп. Комитете имеются и иные мнения; но, несомненно, я выражаю мнение огромной части народных масс. Желающие слышать пусть слушают.

Моей очередной бестактностью был закончен «обмен мнений». Предполагалось, что ночь была проведена достаточно продуктивно, и никакого практического решения никто не думал принимать.

Однако, незадолго до конца заседания, предварительно пошептавшись, удалились за кулисы Терещенко и Церетели: они пошли составлять резолюцию, долженствующую ликвидировать конфликт. Они составили и принесли эту резолюцию. Но ее не огласили. Практическое решение было отложено: одних кулис (от народа) оказалось недостаточно. В пленуме Исп. Комитета и совета министров дела решать не стоило. Здесь обменялись мнениями, и дело перешло за вторые кулисы, недоступные наблюдению бестактных элементов советской оппозиции.

Заседание было закрыто... При выходе меня остановил неистовый Александрович и заявил, что меня необходимо от имени пославшей меня левой

поблагодарить за мою речь. Это меня смутило... Несколько успокоило меня, когда я получил одобрение и от умеренного Каменева. И я окончательно готов был поверить Александровичу, когда много спустя об этой речи благожелательно вспомнил правый Громан.

Увы! Ни «большая пресса», ни советские «Известия» не поместили оппозиционных речей на «историческом» заседании. К чему портить настроение, омрачать радость близкой победы над народом — бестактностями каких-то интернационалистов с их немецкими лозунгами...

Мрачно возвращался я к себе на Карповку — с Пешехоновым и другими попутчиками. Шофер, недовольный бессонной ночью, мчал, как бешеный, через розовую от зари Неву. Занималось роскошное утро.

* *
* *

Нота 18 апреля всколыхнула не одну столицу. Точь в точь тоже самое разыгралось и в Москве. Рабочие бросали станки, солдаты — казармы. Улицы и площади кипели страстями и бурными манифестациями. Те же митинги, те же лозунги — за и против Милюкова. Те же два лагеря и та же спаянность демократии... Московские советские люди, так же как и в Петербурге, призывали к спокойствию и выдержке, предостерегали против разрозненных и сепаратных выступлений и требовали от рабочих и солдат, чтобы те ждали распоряжений Совета. За этими распоряжениями председатель московского совета, меньшевик Хинчук, по вызову Исп. Комитета, экстренно выехал в Петербург.

Вести о возбуждении и тревоге были получены из окрестностей столицы и из других городов. Как в дни мартовского переворота, воинские части собирались выступить в Петербург — для «поддержки Совета и революции». Исп. Комитет за подписью Чхеидзе разослал телефонограммы в Кронштадт, Царское Село, Ораниенбаум, Красное Село, Гатчину, Петергоф, Стрельну, Лигово, Павловск и т. д. — с требованием не отправлять в столицу войск без письменного приглашения Совета, а вместо того прислать представителей местных исп. комитетов — «в целях взаимного осведомления относительно текущего момента».

Кроме того, во все местные советы раб. и солд. депутатов, а также в армейские и флотские комитеты, за подписью Чхеидзе, была послана радиотелеграмма, гласящая: «Исп. Комитет пет. сов. раб. и с. д. извещает, что опубликованная 20 апреля нота министра ин. дел Милюкова от 18 апреля к союзным державам встретила отрицательное отношение со стороны И. Ком., который надеется, что в этом отношении он выражает и ваше мнение. По поводу этой ноты между Исп. Комитетом и Вр. Правительством начались переговоры, пока еще не законченные. Признавая вред всяких разрозненных и неорганизованных выступлений, Исп. Комитет просит вас воздержаться от самостоятельных выступлений и спокойно ждать указаний от Петр. Совета Р. и С. Д.»

В редакции газет и в «Новую Жизнь», в частности, стекались десятки заводских и полковых резолюций по поводу «ноты» — с решительными требованиями немедленной отставки Милюкова или Вр. Правительства. Напечатана могла быть ничтожная часть этих

резолуций; но не в этом была суть; резолюции во всяком случае свидетельствовали о том, что лозунги движения за истекшие сутки достаточно определились и кристаллизовались, что они пропитали собой сверху до низу всю толщу петербургских демократических масс.

* *
* *

Но не только определились лозунги и настроения: определилась и огромная напряженность народной воли и энергии. Несмотря на агитацию советских людей, направленную против уличного движения, несмотря на призывы к спокойствию и пассивности, — возбуждение нисколько не уменьшалось. О переговорах с правительством и о постановлениях Совета было всем известно. Но это не заставило рабочих и солдат отказаться от непосредственного и активного участия в ходе событий.

С утра 21-го апреля улицы Петербурга имели тот же вид, что и накануне. Мало того: движение все разрасталось и уже было готово выйти из берегов. Об эксцессах пока еще не было слышно, но уже каждую минуту там и сям можно было ожидать основательных свалок. Если не гражданская война, то гражданское побоище, как будто, приближалось и становилось неизбежным.

Виной тому были, конечно, кадетские большевики, совершенно зарвавшиеся после «совместного заседания», глядя на нищету философии, на дряблость и долготерпение ручных советских заправил. Агитаторы буржуазии стянули на Невский большие кадры манифестантов в пользу Милюкова. Было мобилизовано и вызвано на улицу все, что можно.

Митинговые речи перед чистой публикой стали откровеннее. Вчерашние лозунги на плакатах и знаменах имели уже десятки вариантов, заостряясь на обе стороны — и в пользу Гучкова-Милюкова, войны, союзников, и против «анархии», Ленина, германского милитаризма...

Всю эту картину никак не могли равнодушно наблюдать рабочие и солдаты, несмотря на все красноречие друзей Чайковского и Церетели. Агитация советских людей против выступлений, как и следовало ожидать, при таких условиях была бессильна. Солдаты и рабочие густыми массами вышли также на улицу, и часть направилась на Невский.

Атмосфера сгущалась, побоище надвигалось... И вот раздались первые выстрелы. Где-то около Невского, выстрелами из манифестирующих толп несколько человек было убито и ранено... Конечно, буржуазия и ее пресса завопили, до всякого суда и следствия, что это ленинцы стреляли в безоружных граждан. Но гораздо вернее, что здесь, в бессилой злобе, действовала рука черносотенной провокации из бывших царских полицейских сфер.

Как бы то ни было, побоище началось. Терпеть такое положение дольше было нельзя ни минуты. Оно было абсурдно со всех точек зрения. Уличные выступления было необходимо ликвидировать немедленно, одним ударом, решительным натиском. И это было сделано.

Кто же это сделал и каким способом? «Революционная власть»? «Самодержавное» «национальное» Вр. Правительство, ответственное перед своей совестью и не желающее знать никаких «частных», классовых и партийных учреждений? Или это блестящий главнокомандующий ген. Корнилов ввел

в столице военное положение и своей твердой военной властью водворил спокойствие и порядок?...

Стоит ли спрашивать об этом и не смешно ли допускать самую мысль, что Вр. Правительство имело авторитет или реальную власть, чтобы достигнуть хотя бы тысячной доли необходимых результатов?

Кабинет Милюкова был источником «гражданской войны», но для ее прекращения он не имел решительно никаких средств, кроме выхода в отставку...

Конечно, это сделал Совет Р. и С. Д. Ему одному было доступно это дело. Один он располагал для этого авторитетом и реальной силой... Исп. Комитет, как только получил известие о вооруженной свалке, выпустил воззвание «ко всем гражданам». «Во имя спасения революции от грозящей ей смуты» он обратился к населению «с горячим призывом» «сохранять спокойствие, порядок и дисциплину». Призывая к вере в Совет, который «найдет пути для осуществления (народной) воли», Исп. Комитет обращался отдельно к рабочим и солдатам. Рабочих он убеждал не брать с собой оружие на собрания и демонстрации. А солдатам говорил так:

«Без зова Исп. Комитета в эти тревожные дни не ходите на улицу с оружием в руках; только Исп. Комитету принадлежит право располагать вами; каждое распоряжение о выходе воинской части на улицу (кроме обычных нарядов) должно быть отдано на бланке Исп. Комитета, скреплено его печатью и подписано не меньше, чем двумя из следующих лиц... Каждое распоряжение проверяйте по телефону № 104-6.»

Как видим «лояльные» и министериабельные советские лидеры не задумались в чрезвычайных об-

стоятельствах продемонстрировать открыто, перед всем светом всю полноту власти и силы Совета. В наличности же этой власти и силы у них, как и у оппозиции, не могло быть ни малейших сомнений. Для них, как и для всех левых, было очевидно, что правительство тут абсолютно беспомощно и бессильно, что оно ни в каком случае не может управлять народом, а без помощи Совета во всяком случае станет жертвой народного гнева. И Совет ясно и просто сказал армии, реальной опоре и силе государства: «только нам принадлежит право располагать вами». И это было нерушимо.

Никакие большевистские агитаторы уже не могли теперь вывести из казарм никакую воинскую часть и двинуть ее против правительства; и никакой главнокомандующий Корнилов, никакие командиры не могли ни роты, ни батареи, ни эскадрона повести против народа. Никакой нет власти кроме Совета.

Однако это воззвание было недостаточно. Воинские отряды могли не выходить на улицу, но побоище можно было в достаточных размерах устроить и без них. Если скопление народа и враждебные друг другу манифестации будут продолжаться, то остаются на лицо внешние «поводы» для столкновений и остается широкое поле для провокации. Исполнительный Комитет решился поэтому на героическое средство.

Назначив расследование происшедшей стрельбы при участии Исполнительного Комитета, он (по предложению Дана): во-первых, объявил «предателем и изменником революции каждого, кто будет звать в эти дни к вооруженным демонстрациям или производить выстрелы хотя бы в воздух»; а во-вторых, «для предотвращения смуты, грозящей делу ре-

волюции», воспретил в течение двух дней всякие уличные митинги и манифестации.

Такого рода постановление было заготовлено Исполнительным Комитетом и предложено петербургскому совету, собравшемуся в 6 часов. Совет принял это постановление единогласно. А затем Исполнительный Комитет своей властью продолжил его еще на один день — на воскресенье 23-го апреля.

Вот и все. Больше никаких мер Совет не принимал. Но их было совершенно достаточно... Призраки «гражданской войны» рассеялись быстрее дыма. Взбудораженный город во мгновение ока принял обычный вид. Никаких «выступлений», столкновений, никаких внешних проявлений острого кризиса на широкой арене революции — как не бывало... В эти три дня на улицах не было никаких митингов и манифестаций. Ни рабочие окраины, ни Невский проспект не ослушались советского приказа. Наступило мгновенно «успокоение» и полный, безупречный порядок...

Пройдут ли мимо этого факта будущие историки революции и ее блестящего эпизода — апрельских дней?... Если было изумительно, по силе и красоте, само народное движение, то еще более изумительна его ликвидация. Если красноречив тот факт, что народный совет в пять минут сроку, простым поднятием рук, мог устранить антинародное правительство, — то еще более внушительна картина укрощения народной бури тем же Советом в те же пять минут.

Еще два месяца назад всем было чуждо это понятие, никому неизвестно это слово; еще месяц назад Совет был чужд и враждебен доброй половине

демократии. А теперь он шутя управляет народными движениями и страстями, теперь его слово повелевает стихиями. Вот где была демонстрация истинной силы и власти народа.

«Не нужно никаких вооруженных демонстраций, — писали советские «Известия» 23-го апреля, — все знают, что армия с нами, что в нашем распоряжении миллионы штыков, что миллионы людей готовы отдать по нашему зову все свои силы, сложить свои головы на защиту свободы». . . И это была святая правда.

«По властному слову Совета, не подкрепленному никакими угрозами, улицы приняли обычный вид, жизнь города вошла в русло, — продолжали «Известия» .— Ни одно правительство в мире не могло бы добиться такой решительной, такой быстрой победы над смутой, грозящей свободе. В этот день сказалась власть Совета над стихийными силами революции. В этот день Совет доказал свое право говорить громко и властно от лица народа».

И это была святая правда.

6. СОВЕТ КЛАДЕТ НАРОДНУЮ ВЛАСТЬ К НОГАМ БУРЖУАЗИИ

Ленин и большевики в апрельские дни. — Дело 18 апреля и советские партии. — Народное движение и советские партии. — Апрельские дни и раскол Совета. — Исп. Комитет решает дело 18 апреля под звуки выстрелов. — Заседание министров. — Раз'яснение ноты. — Ликвидация «инцидента». — Резолюция. — В Совете. — «Инцидент исчерпан». — Логика положения. — Лидеры убеждают народ в своей победе. — «Заем свободы». — Милюкова поддерживают уже без всяких условий. — Советская шейдемановщина. — Редакция «Новой Жизни» против шейдемановщины, контора — за нее. — Корнилов подает в отставку. — Кто командует войсками? Я направо, Церетели налево. — И снова капитуляция. — Воздействие на Европу. — Попытка спрятаться за нее. — Стокгольмская конференция. — Воззвание к социалистам всех стран. — Дальнейшие наши капитуляции. — Борьба с разложением армии. — Беседы с военачальниками. — Приказы Гучкова. — «Ответ» советского лидера. — Последний штрих: воззвание к армии.

«Апрельские дни» были замечательным эпизодом революции. Недаром Ленин, много спустя, в речи, посвященной разгону Учредительного Собрания, говорил, что именно апрельские дни впервые открыли ему по-настоящему глаза на истинный смысл и истинную роль народного восстания.

Ленин учился на апрельских днях, завершал на них свое образование, закалял свой боевой дух.

Но в апреле ни сам Ленин, ни побежденная им его собственная партия еще не пускали в ход новой ленинской науки. Правда, большевистские элементы форсировали движение против Временного Правительства. Вместе с тем партия Ленина в это время уже выставила свой программный лозунг: «вся власть советам». Но она не имела сколько-нибудь серьезных намерений осуществить эту программу в апрельские дни. Вообще позиция большевиков была тогда не тверда и не действительна.

С одной стороны, не желая нарушать основы своей науки, они не хотели воспринять боевой народный лозунг этих дней: ликвидацию Милюкова и действительные «дальнейшие шаги» к миру. Это обстоятельство, между прочим, расстраивало ряды советской оппозиции и ослабляло ее натиск на «соглашателей», лишая ее ударного лозунга, делая расплывчатой и неустойчивой ее программу. С другой стороны, находясь в незначительном меньшинстве (и в народе и в Совете), большевики не могли решиться на попытку передать власть в руки «другого класса». Это обстоятельство обрекало на пассивность большевистские центры и ставило их в некоторое противоречие с деятельностью их собственных легкокрылых агитаторов в казармах и на заводах.

21-го апреля большевистский Центральный Комитет принял резолюцию, которую он старался широко популяризировать. В ней ленинцы прежде всего заявляют, что воспрещение Советом демонстраций они считают «совершенно правильным и подлежащим безусловному выполнению». Но этого мало, — резолюция кроме того гласит: «лозунг «долой Временное Правительство» потому не верен сейчас, что без

прочного (т. е. сознательного и организованного) большинства народа на стороне революционного пролетариата такой лозунг либо есть фраза, либо сводится к попыткам авантюристического характера»... Лозунгами же момента резолюция выдвигает — «разъяснение», пропаганду, критику, организацию и завоевание советов.

Несмотря на огромный соблазн, несмотря на забегание вперед не в меру усердных своих товарищей, Ленин, как видим, все свои планы и надежды возложил на будущее. Но его планы стали на твердую почву, его надежды окрылились в апрельские дни. Недаром он поминал добром эти великолепные уроки, когда уже стоял у власти и вбивал осиноный кол в российскую демократическую республику.

Апрельские дни были замечательным эпизодом революции. Но далеко не все так высоко оценивали их. А главное — далеко не у всех он возбудил столь лучезарные надежды. Совсем напротив: не говоря уже о цензовой буржуазии, события 20—21 апреля естественно вселили не малую тревогу и в мелкобуржуазные, и в оппортунистские группы.

Грубое, циничное выступление Милюкова вызвало возмущение и жажду отпора не только в кругах интернационалистов и не только среди масс. Негодование и дух протеста овладели, как мы знаем, и самыми «дойяльными» группами из сфер советского большинства. Нота 18 апреля едва не отшатнула от неистовых и беспардонных соглашателей многие «умеренные» элементы. Она едва не распатала советское большинство. Она рисковала — чего доброго — восстановить единый фронт демократии. Все это сделала или готова была сделать нота Милюкова.

Но совершенно иное, прямо противоположное дей-

ствие произвело народное движение. Оно оттолкнуло «сознательную» мелкобуржуазную демократию от пролетариата. Оно вызвало панику в рядах оппортунистов. Оно породило в них стремление ликвидировать конфликт во что бы то ни стало, ценою любых уступок империалистской буржуазии.

Советское большинство, как мы знаем, еще было разрознено: народное восстание сплотило его. Советское большинство, как мы знаем, еще нередко колебалось и уступало напору оппозиции: «призраки гражданской войны» 20—21 апреля положили конец этим колебаниям, положили начало неуклонно-твердой политике.

Апрельские дни послужили рубежом и переломным пунктом: они бесконечно углубили трещину в Совете; оторвав мелкобуржуазные группы от пролетарских, они — наоборот — почти уничтожили расщелину между мелкой и крупной буржуазией; они создали между ними доселе невиданный контакт и поставили на прочную почву создание единого буржуазного фронта против пролетариата, циммервальда и революции.

* * *

После «исторического» совместного заседания ликвидация конфликта продолжала идти своим порядком.

«Объяснения» правительства были теперь выслушаны. Надо было что-нибудь решать. В середине дня 21 апреля Исп. Комитет приступил к обсуждению.

Вероятно, большую часть этого времени я провел в редакции «Новой Жизни», и о ходе этого заседа-

ния я имею самые смутные представления. Не могу сказать даже, что собственно было положено в основу суждения. Надо думать, это было предложение «группы президиума», намеченное прошедшей ночью в «историческом» заседании: предложить правительству публично раз'яснить ноту 18 апреля в том смысле, что она не противоречит декларации 27 марта и не возвращает нас к царской программе войны.

У меня сохранились какие-то отрывки воспоминаний, что оппозиция боролась жестоко и добросовестно. Было ясно, что большинство признаёт удовлетворительными какие угодно раз'яснения, и дело кончится самым недостойным и примитивным словесным обманом народных масс. Было ясно, что этот путь есть почти ничем неприкрытый путь полной капитуляции Совета перед милюковским империализмом. Последствия этого — и для нашей революции, и для международного пролетарского движения были огромны и очевидны.

Оппозиция, и я лично, настаивали на устранении Милюкова — в согласии с требованиями широких народных масс. Это, конечно, еще не было гарантией дальнейшей демократической политики правительства: большевистская наука в этом была права. Но, во-первых, это был бы существенный акт борьбы за мир российской демократии. Во-вторых, это был бы ее реванш после грубого покушения на ее права. В-третьих, — это была бы демонстрация ее силы, необходимая для сохранения этой силы, которая была бы позорно растратчена в случае разочарования советских масс. В-четвертых, — это было бы сохранение престижа революции перед демократией Европы, который бы низко пал в случае ка-

путуляции Совета... Оппозиция честно боролась и, кажется, не безуспешно.

Даже в некоторых газетах отразилась эта борьба, — несмотря на всю скудость газетных сведений об этом, несмотря на все старания новых советских главарей законспирировать от народа внутреннюю работу Исп. Комитета. «На заседании обнаружилось различные течения, — удалось узнать сотруднику «Русских Ведомостей», — и был момент, когда возникло опасение, что самому Исп. Комитету не удастся прийти к определенному решению».

Но именно в это время стали получаться сведения об остром положении на улицах. С Выборгской Страны и из Новой Деревни шли огромные колонны бросивших станки рабочих с требованиями отставки Вр. Правительства. Сообщали о вооруженных группах солдат и вообще о большом количестве оружия в руках манифестантов. И, наконец, пришли вести о стрельбе там и сям, и о кровавой стычке на Невском.

Это было последней каплей, переполнившей чашу — последним ударом по мягкотелым элементам большинства, которые еще путались в ногах, еще не давали полной свободы Чайковскому и Церетели.

«Полученные тревожные сведения, — читаю я дальше в «Рус. Ведомостях», — заставили Исп. Комитет постараться притти к единодушному решению, которое дало бы возможность выйти из создавшегося положения... И понятно, что этот выход, поскольку он зависел от неустойчивого равновесия советских мелко-буржуазных групп, поскольку он был форсирован стрельбой и паникой, — мог быть только один.

* * *

Пока в Исп. Комитете шли все эти прения и делались сообщения о событиях в городе, — на Мойке у военного министра собралось Вр. Правительство. В час дня оно приступило к обсуждению вопроса о «раз'яснении» ноты 18 апреля. Вероятно, застрельщиком был молодой, но бойкий дипломат Терещенко, убежденный более других в том, что «от слова не станется». Ночью он сговорился с Церетели об общей, единой «линии». А сейчас я припоминаю, что в Исп. Комитете было известно об утреннем посещении Церетели министром финансов на общей квартире Церетели и Скобелева. Там переговоры, видимо, продолжались и увенчались соглашением. Впрочем, я могу здесь ошибаться: может быть, это посещение состоялось не в этот раз, а по другому поводу. Таких поводов ведь было много.

«После обмена мнений», — читаю я в разных газетах от 22-го апреля, — министры признали возможным пойти навстречу пожеланию Исп. Комитета Сов. Раб. и Солд. Деп. и приступить к выработке текста нового обращения к населению. В четвертом часу дня текст обращения был установлен и подписан».

А около пяти часов, в разгар волнения и паники, этот текст был получен в Исп. Комитете. Он гласил: «В виду возникших сомнений по вопросу о толковании ноты министра иностранных дел, сопровождающей передачу союзным правительствам декларации Вр. Правительства о задачах войны (от 27 марта) Вр. Правительство считает нужным раз'яснить: 1. Нота министра иностранных дел была предметом тщательного и продолжительного обсуждения Вр. Правительства, при чем текст ее принят единогласно; 2. Само собой разумеется, что нота

эта, говоря о решительной победе над врагами, имеет в виду достижение тех задач, которые поставлены декларацией 27 марта... 3. Под упоминаемыми в ноте «санкциями и гарантиями» прочного мира Вр. Правительство подразумевало ограничение вооружений, международные трибуналы и проч. — Означенное раз'яснение будет передано министром иностранных дел послам союзных держав».

Стоит ли останавливаться на этом раз'яснении?.. Ссылка на декларацию 27 марта не означает ли «чистки тенью щетки тени кареты»? А перевод на русский язык «санкций и гарантий» не напоминает ли толкование героем пушкинской «Капитанской дочки» выражения «держат в ежовых рукавицах»?.. На вопрос генерала-немца, как это применить к самому герою, тот, как известно, ответил: это значит — побольше давать воли, поменьше строгости. Но генерал все же не поверил.

А Исп. Комитет сделал вид, что он поверил. И твердо решил заставить поверить этому вздору народные массы, которые свято и незыблемо верили в Исп. Комитет. Достойное употребление из доверия масс. Достойная роль вождей великой революции!..

Все колебания были кончены. В 6 часов надо было идти в Совет с готовым решением. Наскоро «обсудив» «раз'яснение», Исп. Комитет большинством 34 против 19 голосов постановил: предложить Совету признать «раз'яснение» удовлетворительным и считать инцидент исчерпанным.

На этот счет была составлена довольно пространная, «мотивированная» резолюция. Она довольно характерна для апрельских дней. Она хорошо золотила пилюлю для возбужденных масс и вообще была проникнута дипломатией, достойной самого

Терещенки... Резолюция открывается «горячим приветствием революционной демократии Петрограда, своими митингами, резолюциями, демонстрациями засвидетельствовавшей напряженное внимание к вопросам внешней политики и свою тревогу по поводу возможного отклонения этой политики в старое русло захватного империализма». Резолюция признает, что нота 18 апреля «дает основание для такой тревоги». Но затем она, ужасно дипломатично, старается выдать за *quantité negligible* преступление правительства, при чем несколько уклоняется от элементарной истины. «Вр. Правительство совершило акт, которого добивался Исп. Комитет (!) Оно сообщило текст своей декларации об отказе от захватов правительствам союзных держав (это ли был вождеденный «дальнейший шаг — не Чайковских и Церетели, а Исп. Комитета?»)... Однако, нота министерства иностранных дел сопровождала сообщение такими комментариями, которые могли быть поняты, как попытка умалить действительное значение предпринятого шага»...

«Единопдушный протест рабочих и солдат Петрограда показал и Вр. Правительству, и всем народам мира, что никогда революционная демократия России не примирится с возвращением к задачам и приемам царистской внешней политики и что ее делом остается и будет оставаться непреклонная борьба за международный мир»...

Это сказано очень внушительно, но только затем, чтобы прикрыть фактическую капитуляцию.

«Вызванное этим протестом новое раз'яснение правительства... кладет конец возможности толкования ноты 18 апреля в духе, противном интересам и требованиям революционной демократии. И тот факт,

что сделан первый шаг для постановки на международное обсуждение вопроса об отказе от насильственных захватов, должен быть признан крупным завоеванием демократии».

Да — еще два-три таких крупных завоевания, и у нас не останется «революционной демократии».

Заседание Совета не представляло большого интереса. Церетели больше часа делал доклад, повторяя и развивая содержание цитированной резолюции. От имени Исп. Комитета он обещал и дальше вести ту же политику борьбы за мир, какую «мы вели до сих пор» (!). Но подчеркивая огромную историческую заслугу русской демократии, «как пионера этого движения», оратор не переставал кивать на пролетариат других стран, от которого «зависит дальнейшее». Это мало-по-малу становилось уже трафаретной мудростью советского большинства — в его стремлении «продолжать политику» уклонения от борьбы за мир...

— Новая нота Миллюкова, — продолжал Церетели, огласив «разъяснение» — показывает, что правительство в общем и целом заслуживает нашей поддержки.

По инициативе «лояльной» кучки, последовательно проводящей «линию Совета», здесь раздается взрыв победных аплодисментов и переходит в овацию по адресу Исп. Комитета. Ему провозглашают здравицы, кричат «ура». И Церетели в заключение поздравляет Совет с «новой победой»... Да еще два-три таких победы и у нынешнего Совета не останется войска, — ибо не останется веры в него и преданности ему народных масс.

Каменев произносит затем горячую речь против большинства Исп. Комитета и против его резолю-

ции. Он обвиняет советских лидеров в желании усыпить пустыми словами революционную мысль и подчеркивает гибельность затягивания войны для дела революции... Наконец, Дан предлагает уже известное постановление о воспрещении митингов и манифестаций. «Собрание, — по словам газетных отчетов, — расходится медленно и в большом волнении».

И не мудрено: было от чего растеряться и над чем пораздумать рабочим и солдатским депутатам. Еще только вчера они демонстрировали свою силу, были готовы к революционным решениям и надеялись, что вожди поведут их к действительной победе. А сегодня — вера в своих вождей заставила этих едва пробужденных крестьян и рабочих положить свою силу и власть к ногам буржуазии. Это было не легко понять и переварить. И с этим непереваренным вотумом не легко было явиться в разогретую атмосферу казарм и заводов...

* * *

«Инцидент» был исчерпан. Не мешает отметить в нем одно обстоятельство — небольшой важности, но все же не лишнее интереса. «Раз'яснение» правительства свидетельствует о том, что нота 18 апреля была принята единогласно, после тщательного и продолжительного обсуждения в совете министров. На это обстоятельство некогда было обратить внимание в пылу борьбы за надлежащую ликвидацию кризиса. Но все же оно не прошло незаметным «в народе», который продолжал «переваривать» апрельские дни. В одной из бесчисленных полковых резолюций, протестующих против акта

18 апреля, содержится вопрос (бат. Егерского полка), «почему таковая нота подписана товарищем председателем совета Раб. и Солд. Депутатов, министром Беренским»...

Да, не только «левая семерка» вообще, но и Беренский в частности, целиком разделяют ответственность и должны разделить весь одиум за этот акт. «Дело 18 апреля» имело еще очень большое продолжение, и тогда забыв о роли в нем других министров, многие и многие совершенно неправильно оценивали различные планы и перспективы — под углом ответственности за этот акт одного Милюкова.

«Инцидент» был исчерпан. Но, как известно, всякое положение имеет свою логику; а печальное положение — печальную логику. Печальное положение, созданное делом 18 апреля, состояло в том, что Совет, во избежание революционных и ответственных решений, капитулировал перед империалистским правительством, признал «инцидент» исчерпанным, а правительство «заслуживающим поддержки», — в то время как «инцидент» только назрел, а правительство заслуживало экзекуции. Печальная л о г и к а состояла в том, что Совету приходилось на деле доказывать свою поддержку правительства и компенсировать его за «уступки», — дабы сами массы укрепились в сознании правильности советского решения. Это значило, по-просту говоря, что логика положения обяырала Совет к дальнейшим актам капитуляции.

Волнение и возмущение, поднятое делом 18 апреля, не улеглось. В Исп. Комитет стекались телеграммы из десятков городов, от местных советов, с протестами против правительственного акта и с выражением надежд на мудрость столичных лидеров.

Однако, местные советы, выражая доверие Исп. Комитету и обещая отдать все силы на его поддержку, обыкновенно шли дальше его в своих резолюциях. Они требовали либо предварительной санкции Советом важнейших актов правительства (напр., Нижний Новгород), либо опубликования тайных договоров (Самара), либо «устранения из кабинета сторонников империалистской политики» (Харьков), либо немедленного заявления о готовности приступить к мирным переговорам (Соб. 1-го арм. кор.) и т. п. . . . В самом Петербурге брожение далеко не прекратилось. На заводах и в воинских частях продолжались митинги протеста.

Надо было спешить с популяризацией «линии Совета» среди масс. И надо было спешить довести ее до логического конца. Советские лидеры стали спешить. . . . Они стали направо и налево рекламировать свою «победу» и убеждать народ в том, что это действительно победа, а не поражение: ибо сам народ отнюдь не видел этого.

На помощь советским «Известиям», между прочим, пришла на этот раз меньшевистская «Рабочая Газета». 20-го она объявила ноту Милюкова «безумным шагом» и была готова сделать все соответствующие выводы, а 22-го она сладко комментировала советскую резолюцию и смаковала «уступки напору демократии».

22-го в Таврическом дворце было созвано собрание всех полковых и батальонных комитетов Петербурга и его окрестностей. Представители Исп. Комитета убеждали непосредственных лидеров и организаторов гарнизона, что конфликт ликвидирован победой демократии. Солдатская интеллигенция, из мартовских социалистов, без труда согласилась быть

проводником дальнейшего усиления революционной мысли. Собрание приняло постановление, в которой оно «целиком присоединяется» к советской резолюции 21-го апреля, считает деятельность Исп. Комитета заслуживающей полного одобрения и признает, что он в эти тревожные дни сумел выйти с достоинством из конфликта, способствовал усилению демократии и не допустил гражданской войны. Вместе с тем собрание постановило «признать, что единственной организацией, которая выражает политическую волю собрания и которой оно подчиняет представляемую им вооруженную силу, является Совет Р. и С. Д. и его орган Исп. Комитет».

* * *

Советские лидеры спешили. И того же 22-го числа, на другой день после ликвидации конфликта, в виде компенсации «побежденному» и «идущему навстречу» правительству, они решили двинуть затянувшийся, но принципиально важный вопрос о «займе свободы»...

Как известно, в советском заседании 16 апреля вопрос был отложен: большинство согласилось решить его в зависимости от ожидаемой ноты, в зависимости от того, каков «дальнейший шаг» в направлении к миру. Казалось бы, уже самый этот факт свидетельствует о том, что и лидеры большинства оценивали дело «о займе свободы» главным образом с политической точки зрения.

Ожидаемая нота оказалась предательским актом. Ее «разъяснение», в лучшем случае, возвращало нас к положению 27 марта. Никакого «дальнейшего шага» тут нельзя было разглядеть даже через самые

ровые очки: его можно было констатировать только в полной слепоте «несущего» коня. На самом деле нота 18 апреля плюс «раз'яснение» 21-го свидетельствовали только о полнейшем и безнадежном укреплении империалистского, дореволюционного курса в правительстве Гучкова-Милюкова. Оба эти документа говорили только о том, что царистский курс внешней политики может быть ликвидирован только радикальными переменами в составе Вр. Правительства.

И несмотря на все это, советское большинство решило в спешном порядке покончить с вопросом о поддержке нового военного займа. Т. е. оно решило совершить большой, принципиально важный акт политической поддержки Милюкова и Гучкова — уже безо всяких условий. К этому обязывала логика положения. Стоя на наклонной плоскости, Совет получил толчок и — стремглав полетел в болото полной капитуляции.

Заседание Исп. Комитета при вторичном обсуждении вопроса о займе было очень бурно. Получив слово в самом начале, я на этот раз развил полностью всю приведенную раньше аргументацию против поддержки займа, прибавил к ней доводы, вытекающие из дела 18 апреля, и не жалел «крепких» слов по адресу большинства. Но затем мне пришлось бежать в «Новую Жизнь», и я не был свидетелем дальнейшего боя. Уходя, я слышал только гневные окрики Церетели по моему адресу: он говорил о полной неуместности моих речей, ибо я совершенно не понимаю «линии Совета»...

Я кое-как сделал свои дела в редакции, а затем вместе со Стекловым мы бросились обратно в Таврический дворец, чтобы поспеть к голосованию. Но мы

опоздали. В воротах дворца мы встретили автомобиль Чхеидзе с его собственным солдатом, вооруженным винтовкой, на козлах¹⁾.

Исп. Комитет уже выезжал в заседание Совета, который вновь (третий день кряду) был созван по этому «спешному» делу!.. Оппозиция, возбужденная и злобная после жаркого, но проигранного боя, встретила меня с упреками и насмешками, говоря, что я исчезаю из залы перед голосованием. Увы! с началом «Новой Жизни» такого рода мое «дезертирство и бегство от собственного мнения» стали довольно обычны...

Считая вопрос принципиально важным, члены оппозиции требовали поименного голосования и поручили большевистскому фракционному оратору, Каменеву, довести до сведения Совета имена голосовавших против поддержки займа. Насколько

¹⁾ Этот солдат — грузин, земляк Чхеидзе, неотступно со стоял при нем, ухаживал за ним, как самая заботливая нянька, приносил ему, прикованному к председательскому креслу, обед и прочую пищу; а когда Чхеидзе выезжал из дворца, он зачем-то брал винтовку и усаживался рядом с шоффером, как бы ни оспаривали это место члены Исп. Комитета, которым было нужно ехать вместе со Чхеидзе. Между прочим, во время патетической речи Гучкова в «историческом» ночном заседании, внезапно растворились двери залы Гос. Совета и все приковали глаза к невиданному зрелищу: означенный солдат торжественно продефилировал через залу с чаем и бутербродами, разыскивая Чхеидзе. Он и в чужой монастырь явился со своим уставом, и местные курьеры не могли преодолеть его упорства. Сконфуженный Чхеидзе не знал, что делать со своими бутербродами. В заседаниях же Исп. Комитета этот солдат нередко затевал спор со своим патроном громким шопотом, почему-то на ломаном русском языке, говоря с ним на ты... Все любили этого варвара, который был необходимым элементом Исп. Комитета.

помню, таковых было всего 16 человек. Мы со Стекловым, опоздав на голосование, присоединили к этому списку и свои имена.

В Совете было сделано два доклада о займе. О финансовой стороне дела от имени Исп. Комитета докладывал состоящий при нем профессор Чернышев, уже известный нам в качестве «правой руки» Церетели в области экономических вопросов. С этим делом сама «группа президиума» не справлялась, а присяжные советские экономисты с Громаном во главе были у этой группы не популярны: они были слишком радикальны в своих планах и требованиях и уже приходились не ко двору. Профессор Чернышев, «выражая мнение» большинства, не раз вступал в борьбу с советскими экономистами... Сейчас ему предложили выразить это мнение насчет займа. И профессор с советской кафедры охотно повторил всю мудрость горе-демократических газет.

Церетели, докладчик о политической стороне дела, также не был оригинален сравнительно со вчерашним днем. Если решили поддержать правительство, говорил он, то надо дать ему денег. Демократия в лице Совета так крепко держит его в руках, что это совсем не опасно. Консулы доказали, что они — на страже...

По случаю «большого дня» выступали и другие ораторы из правящих партий с требованием кредита Вр. Правительству. Резолюция была принята большинством против 112 человек. Она была столь же характерна, сколь и популярна. Она была расклеена на всех перекрестках всей страны, в качестве рекламы:

Обсудив вопрос о «займе свободы» совет рабочих и солдатских депутатов пришел к следующему заключению:

1) революции необходимы немедленно крупные денежные средства для закрепления своих завоеваний и для обеспечения их от нападения извне. 2) Укрепление завоеваний русской революции, ее дальнейшее развитие есть самое могучее орудие для пробуждения и укрепления революционного движения в других странах, возрождения международного братства трудящихся для совместной борьбы народов за мир на демократических началах. 3) Но это укрепление, как признало всероссийское совещание советов рабочих и солдатских депутатов, требует решительной защиты страны до тех пор, пока пробудившаяся международная демократия не принудит свои правительства к отказу от политики захвата, злнкесии и контрибуции, и революционная Россия не будет ограждена от опасности военного разгрома. Отсутствие необходимых средств неминуемо поставит в критическое положение и фронт, и тыл революции; 4) поэтому Совет считает, что прямой обязанностью революционного пролетариата и армии, как перед страной, так и перед трудящимися всего мира, является содействие финансированию русской революции; 5) Признавая, что выдвинутое революцией временное правительство в общем и целом исполняет принятые на себя обязательства и, будучи твердо уверено в том, что революционная демократия России сумеет заставить правительство и дальше идти по пути отказа от империалистической политики, пролетариат и революционная армия заинтересованы в том, чтобы в распоряжении временного правительства были средства для осуществления революционных задач; 6) так как заем является в настоящее время одним из способов быстро добыть необходимые средства и так как неуспех внутреннего займа заставит временное правительство либо стать путем внешнего займа еще в большую зависимость от империалистических кругов Франции и Англии, либо путем выпуска бумажных денег внести еще большее расстройство в народное хозяйство, — совет рабочих и солдатских депутатов постановляет поддержать объявленный ныне «заем свободы»; 7) в то же время совет рабочих и солдатских депутатов призывает всю революционную демократию к большему сплочению: а) чтобы добиться скорейшего проведения коренной финансовой реформы, правильно построенного прогрессивного подоходного и помущественного налога, налога на наследства, обращение в пользу

государства военной сверхприбыли и т. д., б) чтобы усилить демократический контроль своих полномочных органов над целесообразным расходом народных средств, Совет обращается к гражданам свободной России с призывом поддержания займа; помня, что успех займа будет укреплением успехов революции.

Среди апрельских событий вотум о поддержке военного займа не был особенно ярким фактом, способным произвести впечатление. Но этот вотум был преисполнен большого внутреннего значения. Поддержка военного займа, на фоне дела 18 апреля, не только довершала капитуляцию Совета перед империалистской плутократией. Она вместе с тем окончательно ставила крест на первоначальной «линии» Совета, наметившей первые победоносные шаги революции. Это была «линия» последовательного классового движения, «линия» марксизма и циммервальда.

Фактически она давно была пресечена и стерта мелкобуржуазными и оппортунистскими группами, составившими большинство Исп. Комитета. Но формально советское большинство еще не ликвидировало циммервальдских принципов, еще хранило фразеологию классовой борьбы с империализмом.

Эпоха выколощенного, формального циммервальдизма продолжалась целый месяц, с двадцатых чисел марта. И теперь ей положил конец вотум о «займе свободы». Этим вотумом над советской демократией, а вместе с ней и над русской революцией было водружено новое знамя, знамя социал-патриотизма. Начиналась эпоха советской шейдемановщины.

* * *

На следующий день я разразился довольно сердитой статьей о поддержке «займа свободы». Статья эта была на этот раз уже недвусмысленно направлена против советского большинства.

В результате, редакции «Новой Жизни» пришлось испытать довольно любопытное приключение. В день появления этой статьи несколько человек, стоявших во главе нашей конторы и экспедиции, просили редакцию уделить им несколько минут. Возбужденные и взволнованные они стали говорить о том, что так работать им нет возможности. «При таких условиях» они не умеют и не могут распространять газету. Пока шло дело только о Вр. Правительстве, пока «Новая Жизнь» атаковала и свергала Милюкова, еще кое-как, с трудом можно было терпеть. Но теперь мы выступаем уже и против Совета. Это уже позиция Ленина, на которую они никак не рассчитывали. Это уже прямая подготовка гражданской войны, в каковом деле они не могут нести своей доли участия и ответственности. И вместе с тем, дело так идти не может: они наталкиваются на совершенно непреодолимые препятствия при распространении большевистской газеты. Контр-агенты отказываются, газетчики не берут. При таких условиях они не могут продолжать работу.

Все это было совсем не страшно; скорее — весело. Организуя «Новую Жизнь» на широкую ногу, у нас в качестве руководителей конторы и экспедиции пригласили больших мастеров своего дела; но эти большие мастера естественно были из «большой прессы», и они имели свои специфические приемы и специфические каналы распространения. Конечно, ни то, ни другое, вообще говоря, не было пригодно для «Новой Жизни». В глазах их старых клиентов

это, конечно, была газета презренных и страшных большевиков, и они не замедлили подвергнуть ее бойкоту после первых же номеров.

Нам пришлось беседовать и успокаивать наших сотрудников довольно долго. Мы старались примирить их с мыслью о необходимости искать иных, новых для них путей распространения... Что же касается подготовки гражданской войны, то мы старались убедить собеседников в полнейшем их заблуждении: атакуя Милюкова, критикуя советское большинство, форсируя осуществление минимально-необходимой программы революции (мира, хлеба и земли), — мы не только не готовим гражданской войны, но указываем единственный путь, по которому можно избежать ее.

Наши собеседники, впрочем, скоро успокоились и утешились: «Новая Жизнь» действительно не замедлила найти своего читателя. Что же касается гражданской войны, то впоследствии, когда она разразилась и поглотила демократию, они вспомнили наши слова: к гражданской войне привела политика правящих партий, которые не шли по нашим путям и против которых мы бесплодно боролись, оставаясь всегда в меньшинстве.

А еще можно прибавить, что когда страшный и презренный Ленин стал у власти и стал закрывать «Новую Жизнь» каждые две недели, то те же наши сотрудники обращались к нам: нельзя ли как-нибудь атаковать его полегче, а то им нечего распространять.

* * *



Часов в 10 вечера, 24 числа, когда я был в типографии и «выпускал» «Новую Жизнь», меня по телефону вызвали в Мариинский дворец, в заседание «контактной комиссии». Обещав вернуться через два часа, я отправился — хотя бы разузнать, в чем заключается экстренное дело... Я застал уже на местах и министров, и советских делегатов. Все было мрачнее ночи.

Экстренное дело поднял ген. Корнилов, подавший совету министров прошение об отставке. Причиной послужило известное нам заявление Исп. Комитета 21 апреля, гласившее: только Исп. Комитету принадлежит право распоряжаться солдатами, и каждое распоряжение о выходе воинской части на улицу должно быть отдано на бланке Исп. Комитета и т. д. . .

Совершенно бесспорно: для командующего округом создавалось невыносимое положение. Ни один уважающий себя генерал не мог претерпеть его. Но ни у одного генерала вообще не было средств изменить это положение — кроме выхода в отставку.

Министры еще до моего прихода изложили обстоятельства дела, комментировали их и просили Исп. Комитет либо взять назад свое заявление, либо «раз'яснить» его в смысле, приемлемом для военных властей. Министры высказались, и ныне в зале царило мрачное молчание. Все было чрезвычайно интересно.

В «контактной комиссии» была на лицо наша «группа президиума». И ее коллективная душа терзалась от трагического противоречия. По существу дела — она только что предоставила в распоряжение правительства и Совет, и армию, и са-

мое себя. Но по форме — она затруднялась, колебалась, не соглашалась отделить армию от Совета и утвердить власть главнокомандующего.

С другой стороны, по форме, положение было, конечно, противоестественно, и правительство, вместе с Корниловым, было право. Но по существу ведь Корнилов все же пытался пустить в ход пушки против народа.

Узнав, в чем дело, я немедленно стал на сторону правительства — на правую позицию против левого Церетели. Я считал вполне возможным и даже желательным «раз'яснить» заявление Исп. Комитета в том смысле, что Исп. Комитет в нем имел в виду всякие группы и организации, но не имел в виду военные власти. С моей левой точки зрения тут не было никакого противоречия и никакой трагедии. Я считал возможным и необходимым творить какое угодно революционное право; но я не считал возможным устанавливать полное бесправие, неразбериху, анархию и полиархию. Поскольку «военные власти», командующий округом, ген. Корнилов — вообще существует, постольку ему естественно командовать войсками, и никакое иное положение здесь немыслимо и нетерпимо.

Совсем другое дело — обеспечить, чтобы военные власти «командовали» так, как это нужно революции, а не ее врагам. Это Совет может и должен обеспечить. Ген. Корнилов выкатил против народа пушки; ген. Корнилов вообще не надежен, — так можно немедленно поставить вопрос об его удалении и настоять на нем — сроком в пять минут. Можно вообще ликвидировать всякую власть, но нельзя оставлять ее на месте, формально отнимая у нее права и функции... Советские правые, одер-

жимые утопическими идеями, пожалуй, были склонны рассуждать наоборот.

Вопрос о демократизации военной власти и лично о ген. Корнилове можно было поставить не сейчас, а в Исп. Комитете. Сейчас надо было согласиться на элементарное заявление: командующий — командует. И я, стоя на «крайней правой», без колебаний признал это возможным и желательным.

Опоздав к докладу, я не хотел, однако, высказываться официально; но вместе с тем я не имел времени основательно войти в курс прений, так как спешил обратно в типографию. Поэтому я пошептался с соседями, с Чхеидзе и со Стекловым, высказав им свое мнение о необходимости «пойти на встречу». Не знаю, поняли ли они меня; но Чхеидзе высказал полное сочувствие и, казалось, был рад, что у меня, левого, на этот раз такое правое мнение; а Стеклов запротестовал.

Выйдя из залы, я встретил Керенского, которого как-то давно не видел. У него была подвязана рука; не знаю, что было с ней, но она болела у него чуть ли не все лето... Мы сели в соседней полутемной зале. Я рассказал, о чем идет речь в «контактной комиссии», и какого я мнения на этот счет. Керенский стал убеждать меня, как тяжело положение — и с Корниловым и с другими высшими властями. По его словам — все уйдут не нынче-завтра, весь аппарат разваливается:

— Да, да, — говорил он, — помогите хоть на этот раз... Мы следим, мы читаем. Ваша позиция невозможна... Но все-таки — верно: вы стоите за организованное движение.

Я сказал, что в «контактной комиссии» все же, вероятно, придут к соглашению. Я высказал свое

инение товарищам; а кроме того готов завтра же пустить заметку в газету — против неразберихи в командовании... Керенский пошел в залу заседания, а я бросился обратно в «Новую Жизнь».

Это был, насколько помню, мой последний разговор с Керенским.

Из типографии я позвонил в Мариинский дворец и позвал Керенского к телефону. Он сообщил, что заседание только что кончилось, но к соглашению не пришли. И прибавил, что моя заметка в газете очень желательна... Был уже час ночи; уже кончали верстку второй полосы. Я написал строк 10—15 под заглавием «Нужна ясность» и втиснул их в третью полосу.

Контактная же комиссия, «не пришедшая к соглашению», избрала худший способ удовлетворения ген. Корнилова. 26-го числа от имени Исп. Комитета было опубликовано сообщение, в котором делаются довольно туманные намеки на то, что инкриминируемое заявление 21 апреля было мерой «предотвращения злоупотреблений» именем Исп. Комитета; при этом намекается и на то, что это заявление было сделано по соглашению с ген. Корниловым. И, наконец, уже определенно указывается на наличие контакта между командующим округом и Исп. Комитетом. «В штаб округа, еще до событий последних дней, в согласии с ген. Корниловым, были посланы постоянные комиссары Исп. Комитета — в целях взаимодействия и контакта. Эти комиссары имеют целью согласовать действия Исп. Комитета и ген. Корнилова в отношении регулирования политической и хозяйственной жизни воинских частей».

Ясности во всем этом нет никакой. Но, казалось

бы, волки не сыты, и овцы не целы. Исп. Комитет оказывается не без вины в том, что Корнилов выкатил пушки. А за командующим округом все-таки ясно и точно не признано право вывести из казарм полк, чтобы устроить ему смотр на Марсовом Поле.

Ген. Корнилов, впрочем, удовлетворился этим «разъяснением» и взял свою отставку обратно. Но путь, по которому пошел здесь Исп. Комитет, был характерным и отныне обычным для него путем солидаризации с официальной властью и капитуляции перед ее политикой.

На практике этот путь, однако, не привел к желанной цели. И это обстоятельство, как «в капле вод», отражает в себе все противоречие создавшейся конъюнктуры. Ген. Корнилов все-таки вышел в отставку через несколько дней, 30-го апреля. Почему? Потому что, когда командующий округом назначил смотр войскам на Марсовом Поле, то 3-ья рота Финляндского полка отказалась туда явиться, ссылаясь на то, что у нее нет приказа Исп. Комитета Совета Р. и С. Д. . . Видимо, и капитулировать надо во-время, не со-слепу, умеючи.

* * *

Ликвидируя борьбу за мир внутри страны с собственным империализмом, советское большинство, перед лицом народных масс, возложило все свои упования на европейскую демократию. Не сделав в области мирной политики еще ровно ничего, достойного великой революции, Совет уже убаюкивал массы и посрамлял оппозицию словами о том, что мы сделали достаточно и больше не можем сде-

лать ни шагу без Европы. После такого блестящего «дальнейшего шага», как правительственное «разъяснение» 21 апреля — именно в этом заключалась вся соль советской «линии». Охотно обращая свои и чужие взоры на Европу, Исп. Комитет в двадцатых числах апреля уделил довольно много времени проектируемой международной социалистической конференции в Стокгольме.

Дело с конференцией двигалось туго. Но все же кое-как двигалось. Огромное большинство социалистов центральных стран, как известно, высказалось за участие в конференции. Против нее в Германии вели агитацию «спартаковцы» во главе с Мерингом — так же, как у нас большевики. Но именно в эти дни была получена телеграмма, что за конференцию высказалось французское социалистическое меньшинство. Это окрылило сторонников конференции большими надеждами. Но это вызвало неистовые вопли англо-французской прессы — насчет измены родине и т. д. Клемансо писал: союзники не допустят, чтобы их внешней политикой руководил петербургский совет пацифистов, анархистов и немецких агентов. Доблестных союзников поддерживала наша служащая пресса и, между прочим, плехановское «Единство». Газеты были переполнены самыми компетентными свидетельствами самых авторитетных лиц, что конференция организуется немцами, через немцев и для немцев. Снова посетивший Исп. Комитет г. Альбер Тома очень развязно заявил в пространной речи, что французам было бы до невозможности противно встретиться с немцами; и это мыслимо только в том случае, если немецкие социалисты предварительно согласятся на французские условия мира. Тома, говоривший от

имени французского большинства, на этот раз уже не встретил достаточного отпора...

В Англии дело обстояло еще хуже, чем во Франции. Вообще с конференцией дело обстояло плохо. Но подготовительные работы все же начались, и предварительные совещания представителей разных стран были назначены на первые числа мая. Наш Исп. Комитет имел все основания заняться этим делом вплотную и даже поспешить с ним.

Он уже приступил к вопросу о конференции в заседании 19 апреля; но обсуждение было прервано громкой нотой Милюкова и апрельскими днями. Возобновилось обсуждение 25 числа — также в мое отсутствие. В результате была принята резолюция, состоящая из следующих основных пунктов: 1. Исп. Комитет берет на себя инициативу по созыву международной социалистической конференции. 2. Приглашаются все партии интернационала, готовые стать на платформу воззвания Совета 14 марта. 3. Необходимым условием Исп. Комитет считает свободный проезд на конференцию всех без исключения партий; от правых, лояльных перед правительствами фракций, Исп. Комитет требует «энергичного и открытого настояния» перед своими властями относительно свободного пропуска интернационалистских фракций. 4. Для подготовки конференции и выработки ее программы при Исп. Комитете создается особая комиссия. 5. Исп. Комитет обращается с воззванием ко всем европейским социалистам — о мире и конференции. 6. В нейтральные и союзные страны для подготовки конференции посылаются делегация Исп. Комитета.

Создание комиссии и посылку заграничной делегации пришлось почему-то отложить на довольно

продолжительный срок. Но воззвание к западным социалистам было составлено и принято в заседании петербургского совета 30 апреля. Тогда же в Стокгольм, для участия в предварительных работах, был командирован Скобелев, — заведующий «международным отделом» Исп. Комитета...

Что касается «инициативы» созыва конференции, то здесь Исп. Комитет несколько запоздал: инициатива принадлежала голландской делегации международного социалистического бюро. Здесь Исп. Комитет просто рассчитывал на престиж русской революции, на привлекательную «марку» для конференции... Что же касается воззвания, то оно достаточно характерно для этой эпохи прыжка из царства невиданных достижений в трясину оппортунистской пошлости и капитуляции.

Характерен самый факт этого длинного послания, посвященного не международной конференции, а, главным образом, фразеологической рекламе русской революции. Вместо того, чтобы «агитировать» примером собственной решительной борьбы за мир, Исп. Комитет пытается действовать вразумлением и сильным словом. Реклама, конечно, не создаст престижа, призыв не заменит живого примера, слово бессильно там, где нет дела.

Но характерно и содержание того слова, с которым русская революция, имея два месяца от роду, обратилась к пролетариям Европы. «Русская революция, — говорил Исп. Комитет, — это восстание не только против царизма, но и против ужасов мировой войны. Это первый крик возмущения одного из отрядов международной армии труда против преступлений международного империализма. Это не только революция национальная,

это первый этап революции международной, которая вернет человечеству мир».

Так, — но что же она может сказать в подтверждение этой громкой характеристики? Исп. Комитет говорит: «Русская революция с самого момента своего рождения сознала стоящую перед ней международную задачу. Ее полномочный орган, Совет, в своем воззвании 14 марта призвал народы всего мира для борьбы за мир»...

Так! — Однако, при всем соблазне прорекламировать манифест 14 марта, я никак не могу согласиться, чтобы этим манифестом можно было рекламировать революцию. Если даже он позволяет утверждать, что революция сознавала свои международные задачи, то все же он не свидетельствует о том, что революция хоть что-нибудь сделала для осуществления этих задач. «Призыв объединиться» — это еще не дело. Манифест 14 марта «представил», отрекомендовал революцию Европе, но он не был актом борьбы за мир. Он только дал обязательства, что такие акты с нашей стороны последуют.

Но что же последовало с нашей стороны?... Исп. Комитет берет на себя достойную удивления смелость — говорить, что под нашим давлением «Вр. Правительство революционной России усвоило платформу мира без аннексий и контрибуций»... В те времена этому, правда, еще нельзя было противопоставить убийственный факт, что правительство Вильгельма ровно через восемь месяцев (25 декабря), в Бресте, также «усвоило» эту платформу и согласилось на нее.

Но помимо этого, оставляя в стороне никчемность словесных формул в устах правящей плутократии,

— ведь это заявление Исп. Комитета перед лицом всего мира было прямой неправдой. Ведь ничего подобного правительство Милюкова не «усвоило», и оно только что доказало это в апрельские дни.

Со стороны Исп. Комитета это было не только неправдой, заблуждением, наивностью. Это было — перед всем миром — свидетельством о бедности революции. Ибо не могла демократическая Европа поверить нашим словам при виде дела 18 апреля. Не могла она верить силе революции, выдающей свое поражение за победу...

И не жалким ли, наивным лепетом звучат после этого «призывы» к союзным социалистам: «вы не должны допускать, чтобы голос русского Вр. Правительства оставался одиноким в союзе держав согласия; вы должны заставить» и т. д. А к социалистам враждебных держав: «вы не можете допустить, чтобы войска ваших правительств стали палачами русской свободы, чтобы, пользуясь радостным настроением свободы и братства, охватившим русскую армию, ваши правительства перебрасывали войска на западный фронт, чтобы сначала разрушить Францию, затем броситься на Россию и в конце-концов задушить вас самих и весь международный пролетариат в объятиях империализма»...

Слов нет: пролетариат передовой Европы, социалисты более зрелых стран, вожди и массы — были и остаются в неоплатном долгу перед мировой революцией вообще, а перед русской, в частности и в особенности. Об этом можно было бы в особом порядке повести длинную, поучительную и справедливую речь. И не забудется об этом.

Но в наших глазах, в глазах участников событий 17-го года, борющихся против мелкобуржуазного

оппортунизма за мировой престиж русской революции, в наших глазах — отсталость «гнилого запада» не оправдывает наших собственных ошибок. Мы-то должны прямо смотреть в глаза неприкрашенной истине. И должны признать, что советские утописты POSSIBILITY оставались верны себе и своей «линии»: с Европой они говорили так же, как и с теми массами, во главе которых они стояли.

Завязнувши в трясине, попавши в плен к плутократии, они громко кричали, что держат за горло империализм. Беспощадно проматывая силы революции, они набирали взамен громкие наивные слова об ее престиже, подвигах и победах. Уже заблудившись в трех соснах, они уже призывали на помощь. Но их уже сейчас переставали слушать в Европе. Подождите: еще немного, и никто не будет слышать их в России.

* * *

О международной социалистической конференции Исп. Комитет в лице своего большинства хлопотал, чтобы заставить действовать Европу. А сам он действовал в России. И действовал он, продолжая и углубляя свою «линию», — так.

Ликвидировав дело 18 апреля безо всяких потерь, добившись формального разрыва Совета с циммервальдом, заложив прочные основы бургфридена с новым социал-патриотическим большинством, как в «великих демократиях запада», — наша буржуазия пошла дальше. Ободренная своими успехами в советских сферах, — она широко развернула лозунг «борьбы с разложением армии».

О, понятно, эту борьбу надо только приветство-

вать!.. Но какие же пути избрали для этого сферы Маринского дворца? В одно прекрасное утро «господ рабочих и солдатских депутатов», т. е. членов Исп. Комитета, пригласили в правое крыло, в апартаменты Родзянки, на «важное совещание».. Мы застали там, кроме Родзянки и членов думского комитета, еще несколько генералов — за столом, покрытым географической картой.

Оказалось, что кто-то из высших представителей нашего главного штаба собирается сделать нам доклад о стратегическом положении Петербурга и о состоянии его обороны. Нам стали рассказывать о различных возможных диверсиях и обнажали перед нами язвы, указывая ахиллесовы пяты нашей оборонительной линии. Многие из того, что говорили генералы, повидимому, имело характер военной тайны. Но общая цель этого собеседования оставалась не совсем ясной.

Генералы не особенно «пугали» нас, подчеркивали положительные стороны дела и были очень корректны по отношению к новому строю армии. Но все же «твоядь» собеседования, видимо, состоял в установлении перед нами того факта, что все дело зависит от дисциплины и состояния духа войск. В конце беседы подошли к практическим выводам: разговоры о близком мире исключают такой дух войск и такую дисциплину, какие необходимы для обороны столицы. Дальше дело на этот раз не пошло.

Через несколько дней министром Гучковым «господа рабочие и солдатские депутаты» были в утренние часы приглашены в Маринский дворец. Когда я пришел в залу Госуд. Совета, там делали доклады о положении армии один за другим пред-

ставители нашего верховного командования — верховный главнокомандующий Алексеев, командующие фронтами Брусилов, Щербачев и кто-то еще. Председательствовал Львов; аудиторию, очень немногочисленную, составляли почти исключительно члены Исп. Комитета. Как сообщил председатель, заседание было организовано именно для нас, чтобы мы своими ушами выслушали о положении дел из непосредственных источников и сделали бы свои выводы.

Докладчики опять-таки были корректны, но — прежде всего — они были очень красноречивы: мастерски излагали и превосходно строили речи, с точки зрения их агитационного действия. Это обратило на себя внимание и вызвало некоторое удивление: такой культурно-«дипломатический» уровень и такие ораторские данные у военных людей были более или менее неожиданны.

В частности, в их обращении с нами не было и следа той грубости, той политической топорности, какую они проявили в своих приказах и в газетных интервью. Особенно сильное впечатление в этом отношении произвел генерал Алексеев, человек скромного и простого вида, похожий по одежде на старого околоточного надзирателя, а по физиономии — на сельского дьячка.

С видимым искренним чувством генералы повторяли, иллюстрируя примерами, уже известные нам речи Гучкова, — а также и его выводы. Они также подчеркивали положительные факты, случаи солдатской доблести, влияние свободы на дух войска, благотворную роль армейских организаций. Этим они увеличивали впечатление серьезности, беспристрастности, искренности.

... Митинги, предварительно оценивающие каждый приказ, случаи прямого неповиновения и отказы выступить на позиции; гибельные братания с неприятелем, который преследует при этом исключительно разведочные цели, пользуясь добродушием и доверчивостью русского человека... Как военные специалисты, они утверждали, что в военном деле имеются непреложные требования, непререкаемые правила, нарушение которых в корне уничтожает армию, как боеспособную силу. И они заключали: так продолжаться не должно и не может; это гибель отечества, которую они при таких условиях не могут предотвратить и в которой они больше не в силах участвовать...

Факты, сообщенные генералами, были глубоко печальны; а речи их были искренни. Иначе не могли, а пожалуй, и не должны были рассуждать военные люди. Но их конечные выводы всецело лежали в сфере политики. Они говорили о том же: надо, чтобы солдат думал о войне, а не о мире; и надо твердить ему не о мире, а о войне...

Неделю-полторы назад, в самые «апрельские дни», ген. Алексеев имел беседу с журналистами всей «большой прессы», которую призывал на помощь. «Печать, — говорил он, — должна неумолчно твердить о том, что наш лозунг «война до конца» должен быть не только на словах, но и на деле; мы все должны неустанно это повторять, чтобы во всех, и в солдатах в особенности, вкоренилась эта мысль о необходимости войны до конца; заявление же о войне без завоеваний и аннексий в армии было понято так, что война больше не нужна; а это медленно отразилось на настроении армии»¹).

¹) «Рус. Слово» от 21 апр. 1917 г.

Обращаясь к Исп. Комитету, генералы не говорили в такой неприкрытой и резкой форме. Они не пытались «привить» Совету лозунг войны до конца. Но они категорически утверждали, что из советских формул о целях войны, о войне без аннексий и контрибуций — проку не будет. Солдат не должен думать о целях. Он должен сражаться и умирать независимо от цели. Только тогда армия будет крепка и боеспособна. Только тогда можно надеяться отстоять родину от врага.

Военные люди не могли, а пожалуй, и не должны были рассуждать иначе. Для них война до конца означала войну до разгрома противника. Но ведь генералы естественно не могут и не должны выполнять свои функции иначе как в неизбежном сознании, что им надо разбить противника. На то они и генералы.

Наши докладчики со своей точки зрения, быть может, были правы до конца. Вопрос заключался в том, — могла ли их точка зрения иметь что-либо общее с точкой зрения Совета... Об этом мне уже пришлось писать по поводу беседы с Гучковым в «контактной комиссии».

Боеспособность и сила армии могла и должна была восстанавливаться всеми средствами, но не путем отказа от мирной политики. Если бы даже при таких условиях армия относительно проиграла в своей силе и дисциплине, то оборона и родина от этого бы выиграли. Ибо в непреложных условиях революции оборона могла быть достигнута не войной, а миром; у родины же были права, интересы, задачи и помимо обороны...

Так и только так могла и должна была понимать дело советская демократия. Такова должна

была бы «линия Совета» — с точки зрения интернационализма, последовательного демократизма и действительных интересов родины... При таких условиях столкнуться с генералами было невозможно; искать с ними общего языка было бесполезно. При таких условиях, организованное Гучковым заседание, казалось бы, ни к чему на практике привести не могло.

Однако, дело было не так. Гучков и Львов не ошибались в своих расчетах. Общий практический язык с Советом нащупать было для них возможно. Практическую пользу заседание им, несомненно, принесло. Ибо фактическая «линия Совета» была совсем иная.

* * *

В самом деле, обработка советского большинства и его лидеров, в области мирной и «армейской» политики, повидимому, двигалась вполне успешно...

Именно в эти дни была опубликована программа мира германского социалдемократического большинства: в этой программе «в общем и целом» был выдержан принцип без аннексий и контрибуций. В левых кругах и в левых газетах произошло некоторое движение. Пока буржуазная пресса разоблачала «интригу» и «ловушку», левые добивались хоть какого-нибудь отклика со стороны Исп. Комитета. Никакого отклика не последовало. Но последовали другие характерные явления.

Военный министр Гучков, полагая, что почва достаточно подготовлена, в эти же дни издал два приказа. Один был направлен специально против братанья и не заключал в себе ничего одиозного.

Другой же, опубликованный 27 апреля, был полон самыми странными намеками на смутьянов, проникающих в армию, стремящихся посеять в ней раздор, вызвать анархию и, ослабив нашу боевую силу, предать Россию врагу. А начинался приказ такими словами:

«Люди, ненавидящие Россию и, несомненно, состоящие на службе наших врагов, проникли в действующую армию с настойчивостью, характеризующей наших противников, и, повидимому, выполняя их требования, проповедуют необходимость окончания войны как можно скорее... Армия, идущая навстречу смутьянам, наемникам наших врагов, армия, думающая о скорейшем избавлении от ужасов войны, приведет отечество к тяжелому испытанию, к позору и разорению»...

Это было еще ново. Точнее, это было хорошо забытое старое. Это был приказ ген. Алексеева от 3-го марта. С тех пор давно уже никто не осмеливался так «аттестовать» людей, стоящих на советской платформе и конкретно обвиняемых не в чем ином, как проповеди «необходимости окончить войну как можно скорее». Это был дух новейшего времени. Давно ли Гучков только вилял лисьим хвостом? И вдруг так оскалить волчьи зубы!...

Но это был дух времени... В «белом зале» Таврического дворца попрежнему продолжались совещания фронтовых делегатов. В последние дни перед ними усиленно фигурировали министры — до Милюкова включительно. 28 числа перед фронтовыми солдатами Милюков лишний раз доказывал, что ему никогда не «усвоить» платформу «без аннексий и контрибуций»: он заявил, что тайных договоров он ни в каком случае не опубликует, что окончание

войны будет зависеть от того, какие условия предложит враг, а вопрос о Дарданеллах в данный момент поднимать еще рано. Другие министры также развивали свои программы.

А 30-го апреля, после блестящей лирической филиппики Керенского, направленной против левых агитаторов, после фундаментального выступления Гучкова — продолжать их «л и н и ю» от имени Исп. Комитета вышел Церетели:

— Товарищи, — предусмотрительно начал он, — мое мнение есть мнение той организации, к которой я принадлежу. То, к чему зову я вас, зовет вас и Петербургский Совет Р. и С. Д...

— У нас есть одна опасность, — продолжал лидер советского большинства, — опасность дезорганизации и смуты... Основным вопросом переживаемого момента является наше отношение к войне. Совет определенно высказался по этому вопросу. Но наши идеи и лозунги слишком слабы в союзных нам странах, а пролетариат Германии и Австро-Венгрии до сих пор не вышел из состояния опьянения тем шовинистическим угаром, которым одурманил его голову Бетман-Гольвег совместно с империалистской буржуазией... Отсюда ясно, что мы для защиты своей свободы и в ожидании пробуждения германского пролетариата должны сохранить силы для усиления нашего фронта... Мы не стремимся разорвать союз с нашими союзниками. Наоборот, мы прилагаем все усилия к тому, чтобы этот союз, заключенный между нами, был еще теснее спаян цементом объединенного братства демократии стран согласия. Мы уже сделали для этого много шагов и с радостью констатируем, что там растет встречное движение. Я уверен, что скоро настанет момент, когда

объединенная одним лозунгом демократия стран согласия станет железным кольцом вокруг Германии и Австро-Венгрии и потребует от их народов присоединения к тем святым словам, в которые мы верим. До этого же момента было бы преступно разложение фронта. Я не могу допустить, чтобы сын свободной России мог своими поступками способствовать гибели свободы России...

Вот что, по вопросу о войне, ныне говорил массам Совет устами Церетели... Он не говорил уже ни слова о мире, о борьбе за мир. Это были слова против мира. Они ничем не отличались от речей министров. Совет официально выступал с классической буржуазной военной идеологией, едва прикрытой флером демократизма. Законченный шовинизм был в устах присяжного выразителя «мнения» Совета.

Империалистская буржуазия недаром обрабатывала мелко-буржуазную почву. Она могла воочию наблюдать, могла осязать отличные всходы.

* * *

Того же 30 апреля буржуазия могла и еще раз порадоваться своим успехам в области советской политики по отношению к армии.

Под «давлением» и «контролем» со стороны Мариинского дворца — у нас уже несколько дней шли разговоры о новом важном советском акте. Это было воззвание к армии. 30 апреля, в один день с воззванием к социалистам Европы, оно было принято в петербургском совете...

Это была уже не речь советского лидера на съезде представителей фронта: хотя подобные выступления

Церетели и были глубоко официозными, но все же воззвание к армии — это было нечто гораздо большее. Это был официальный, всенародный, программный акт Совета. Для внутренней советской политики он имел такое же значение, как для внешней — манифест 14 марта. Это был выстрел из самого крупного орудия, и друзья Милюкова не имели оснований преуменьшать его общее политическое значение.

Нельзя сказать, чтобы в этом воззвании мало говорилось о мире. Напротив, Совет не поколебался прямо подвести себя под удары Гучкова и перед лицом всех, кто ему верит, выдать себя за наемника германского генерального штаба. В первых же словах воззвания Совет заявляет: «сбросив с трона царя, русский народ первой задачей поставил скорейшее прекращение войны». И дальше не мало слов говорится о мире.

Но все эти слова были, поистине, необходимой данью порока добродетели. Не сказать их было нельзя: слишком много уже сделали для популяризации дела мира — и стихийный ход революции, и предыдущая практика Совета, и работа партий. Сказать же эти слова в любом количестве было совсем не трудно: кому же неизвестно, что правители воюющих стран перманентно истекали словами о своей жажде мира и потому неустанно призывали к войне. Вопрос ведь в том, как сказать о мире.

Воззвание сказало их против мира, в пользу войны, — сказало так, как того требовал по существу дела, а отчасти, и как говорил Гучков...

Авторы прокламации, вслед за буржуазной прес-

сой, прежде всего сочли необходимым взять под обстрел идею сепаратного мира. Такой идеи никто не проповедывал; но ведь буржуазия носилась с ней, как известно, затем, чтобы всякую борьбу за мир выдать за подготовку сепаратного мира. А далее воззвание излагает истинные пути к прекращению войны:

«Совет обратился ко всем народам с воззванием о прекращении войны. Он обратился и к французам, и к англичанам, и к немцам, и к австрийцам. Россия ждет ответа на это воззвание. Рабочие и крестьяне всей душой стремятся к миру... И мы ведем вас к миру, зовя к восстанию рабочих и крестьян Германии и Австро-Венгрии, ведем вас к миру, добившись от нашего правительства отказа от политики захватов и требуя такого же отказа от союзных держав. Мы ведем вас к миру, созывая международный съезд социалистов для общего и решительного восстания против войны».

Все эти «пути к миру» нам уже известны. Призывы и попытки свалить борьбу на других мы уже видели и в воззвании к социалистам. Неправда же о том, будто бы мы добились отказа от завоеваний, дополнена здесь совсем уже странным заявлением, будто бы мы «требуем такого же отказа от союзных держав». Европейские социалисты, конечно, знают, что ничего подобного мы не требовали. Если даже мы «довели до сведения союзников» лицемерный акт 27 марта, то до требования чего бы то ни было отсюда, как до звезды небесной, далеко. И союзные «державы», в случае серьезности нашего акта, должны были бы на него ответить; принимаем к сведению, что вы отказываетесь от Армении, от Константинополя, от проливов, и продолжаем войну

за наши святые идеалы; отказ же ваш сильно облегчит работу мирной конференции после «полной победы»; или — говоря попросту — нам больше останется награбленного добра...

Воззвание к армии говорит для внутреннего употребления такую неправду, какую советские лидеры не решились бы сказать Европе. Это было сказано ими для усыпления революционной мысли. И все вообще слова о мире были в этом воззвании сказаны для того же. Ибо мы видим, что рекламируя «уже достигнутое», Исп. Комитет ныне не предусматривает уже решительно никаких «дальнейших шагов» к миру со стороны нашего правительства. А, стало быть, признает исчерпанной и внутреннюю борьбу за мир демократии. Это не только усыпление, это развращение революционного сознания масс, уже проникнутых правильным сознанием задач революции в области внешней политики.

Но зачем же говорится все это в воззвании к армии? Только затем, чтобы заставить слушать главную вторую половину его. Она же гласит так: «помните, товарищи, — на фронте вы стоите на страже русской свободы. Вы защищаете грудь не царя, не Протопоповых и Распутиных, не богачей помещиков и капиталистов. Вы защищаете своих братьев, рабочих и крестьян... Пусть же эта защита будет достойна великого дела и понесенных уже вами великих жертв. Нельзя защищать фронт, решившись во что бы то ни стало сидеть неподвижно в окопах. Бывает, что только наступлением можно отразить или предупредить наступление врага. Пожвавшись защищать русскую свободу, не отказывайтесь от наступательных действий»...

Затем, подробно остановившись на вреде братанья, воззвание настаивает снова: «путь к миру вам укажет Совет, поддержите его. Отметайте все, что вносит в армию разложение и упадок духа»...

Вот что говорит ныне Совет армии. Допустим, что по существу все это правильно тысячу раз: братанье вредно, боеспособность необходима. Но Совет имел право обращаться с такими призывами к армии лишь в том случае, лишь постольку, поскольку он действительно, активно, неуклонно вел борьбу за мир, достойный революции. Две линии советской внешней политики, указанные манифестом 14-го марта, должны были идти параллельно, не отставая одна от другой. Иначе извращались все перспективы революции. Иначе революция, демократия и сама армия головой выдавались буржуазии.

Именно это и делал Совет. Сводя на нет действительную борьбу за мир и форсируя оборону, заменяя классовую борьбу за мир священным единением с буржуазией на почве войны, — Совет превращался в беспомощный и безвольный придаток кабинета Гучкова-Милюкова. Сменив циммервальд на шейдемановщину, он становился опорой Вр. Правительства против революции и пролетариата...

Конечно, буржуазия оценила по достоинству это воззвание к армии. На другой день орган Милюкова торжествовал победу: «Совет, — писала «Речь», — наконец-то призывает продолжать войну независимо от условий и целей»... Докатились. Буржуазия действительно могла быть довольна. Она видела Совет у своих ног.

7. ПРОТИВОРЕЧИЯ РЕВОЛЮЦИИ И ВЫХОД ИЗ ПОЛОЖЕНИЯ

Об «изображении» событий. — Диапазон политических течений. — «Черная Точка». — Буржуазная правая. — Первая открытая демонстрация: заседание четырех Дум. — Выступление Шульгина. — Б характеристике Церетели. — Дифференциация в буржуазном лагере. — Буржуазный «пацифизм». — Оппозиция Милюкову. — Визит группы офицеров. — Буржуазная демократия. — Крестьянство. — «Ответственный» советский блок. — «Безответственная» советская оппозиция. — Большевики. — Их конференция. — Красная гвардия. — Анархисты. — Положение государства. — Армия. — Хлеб. — Земля. — Финансы. — Внутренние дела. — «Республики». — Сепаратизм. — «Гвоздь» положения. — Вр. Правительство, Совет и народ. — Неустойчивое равновесие. — Неизбежность «перемен». — Маленькая иллюстрация. — Вопрос о коалиционном правительстве. — Обращение Вр. Правительства. — Позиция Милюкова. — Заявление Керенского. — Цели буржуазии и коалиции. — Действительное положение дел. — Аргументы за и против. — Коалиция, как временная комбинация и как единственный выход из положения.

Революция развернулась во всю необ'ятную ширь и достигла высшей точки. В те времена с этой высшей точки, пожалуй, некогда было оглядывать горизонт. Тогда жили полной жизнью, дышали полной грудью, пожалуй, не замечая этого. Но сейчас (16 октября 1919) хорошо видно, как высоко в небе стояла эта точка и как необ'ятны, многообразны,

ярки, красочны, прекрасны были горизонты. Именно таково было лицо земли русской в те времена.

Чтобы воспроизвести, изобразить его — не хватит красок у публициста. Для этого нужны художники. И, конечно, счастливы истинные художники, имеющие перед собой такие темы. Надо только, чтобы художники отдавали себе хоть сколько-нибудь ясный отчет в том, что происходит перед ними... Увы! — русская земля не обижена крупнейшими художниками слова, но — за исключениями, подтверждающими правило — я не знаю среди них никого, кто имел бы надлежащий вкус к изображению великих событий, а вместе с тем умел бы разбираться в них так, как это доступно среднему партийному рабочему. Увы! наши крупные писатели суть не более, как буржуазные обыватели, которые ровно ничего не смыслят в общественных отношениях, но до смерти перепуганы и обозлены революцией. И они просто бегут от событий, не понимая ни своего счастья, ни своего долга. Они не понимают ни того, что живут в эпоху величайшую в истории человечества, живут среди событий, каких еще не видел мир, живут в атмосфере такой удивительной трагедии, какую не посчастливилось и не посчастливится впредь наблюдать ни одному поколению. Они не понимают ни того, что они обязаны оставить хоть слабый отпечаток переживаемых событий тем будущим векам, которые смотрят на нас.

Конечно, в случае «термидора» и попятного хода истории, вернуться наши художники и примутся за работу. Они будут рассуждать о том, чего не понимают, и будут изображать то, чего не видели. Это будет вакханалия невежества и пошлости — на

кратковременную потеху термидорианцев. Но это и будет не чем иным, как доказательством их пошлости и невежества. Изобразить же события остается некому.

Я припоминаю один мой длинный и нудный разговор с выдающимся, на мой взгляд, писателем и даже мыслителем, Мережковским. Я убеждал его пойти в заседания III-го советского съезда, который последовал непосредственно вслед за разгоном Учр. Собрании, в период брестских переговоров. На этом съезде мне лично, с ничтожной кучкой моих политических друзей, пришлось играть жалкую и тяжелую роль. Приходилось не то, что плыть против течения, но грести против Ниагары; приходилось быть, с начала до конца съезда, мишенью для артиллерийских залпов, быть объектом травли и презрения, служить козлом отпущения для народного подъема и энтузиазма. Но грандиозная картина этого подъема народной стихии, вырвавшейся из всяких преград и шествующей неожиданно для самой себя от победы к победе, — картина этого изумительного движения народных недр была налицо. И, казалось бы, как писателю, имея вкус к историческим темам, к размышлениям над «духом» эпохи, — не слиться с этой толпой, не осязать своими руками непосредственного хода драмы, не вкушать событий, как они есть, независимо от своего отношения к ним!.. Но нет, — помилуйте, там, в Таврическом дворце оскорбляют патриотическое чувство, там продают Россию, там — если есть правда, — то она не от Бога, а от дьявола. А потому лучше не смотреть, лучше подальше, — чтобы затем дать волю не только безудержной классовой ненависти, но и кабинетной фантазии, пошлости и невежеству.

Изобразить события, воспроизвести «дух» революции в эпоху ее высших достижений — пожалуй, некому. Во всяком случае для этого только у художников могут найтись краски. Я оставляю это дело совершенно в стороне. Но мне необходимо, в строго «деловых терминах», вкратце «охарактеризовать» политическую конъюнктуру того времени — конца апреля 1917 года. Необходимо дать краткую сводку сведений о политической жизни этого времени, — чтобы можно было уяснить себе и оценить по достоинству тот «выход из положения», который увенчал собой весь двухмесячный период революции и уже вполне определил собой ее дальнейшую судьбу.

* *
* *
* *

Действительность того времени была сложна, многообразна и переливалась всеми красками... Политическая мысль была ключом, и политические течения уже все оформились и самоопределились, широко раскинувшись справа налево. Борьба между Советом и Вр. Правительством, между объединенной демократией и объединенной плутократией — схематизировала огромный калейдоскоп борющихся политических течений и «сознаний», отражавших в себе об'ективное положение и «бытие» общественных классов и групп.

Старая царская черная сотня в то время открыто не выступала, хотя имела для этого полную («физическую», материальную) свободу. Зубры, охранники, «союз русского народа», поскольку не были совершенно парализованы, действовали только в подполье. Но все же действовали и давали тому свидетельства.

А именно, в это время проявилась некая организация — под названием «Черная Точка». Может быть, впрочем, это было совершенно не серьезно, а если серьезно, то было слабо. «Черная Точка», об'явившая себя террористической группой, рассылала некоторым деятелям предупреждения о грозящей им гибели от руки ее членов. Такого рода письмо получил Церетели, а затем Чхеидзе: «признавая вашу жизнь вредной, значилось в письмах, мы решили прекратить ее».

Однако, все же не прекращали. Покушений на этих деятелей не было. Покушение было на Керенского. Но оно было устроено до крайности наивно и не могло иметь никакой связи с деятельностью политической организации... Время зубров, охранников и старой черной сотни тогда далеко еще не наступило.

Но, за вычетом Маркова 2-го, буржуазно-помещичья правая именно в это время зашевелилась на открытой арене. Она, правда, уже не имела самостоятельных политических партий; все эти партии, как известно, были ныне консолидированы в партии «народной свободы». Но их элементы все же остались и вне этой цитадели плутократии, фрондируя перед лицом слабого, расхлябанного, уступчивого правительства и изображая собой оппозицию справа. И именно в эти дни эти элементы имели случай продемонстрировать, что они еще живы, что они — попрежнему имеют свои взгляды и свои желания.

* * *

27 апреля, в день созыва первой Гос. Думы, правое крыло Таврического дворца задумало устроить «юбилейное» заседание депутатов всех четырех Дум.

Само собой разумеется, что это торжественно обставленное публичное заседание предпринималось не только для того, чтобы предаваться приятным воспоминаниям и думам о былом. Думские люди были со всем не прочь воспользоваться поводом, чтобы поговорить о настоящем.

Попросили перевести фронтное совещание куда-нибудь в другое место; водрузили на старое место куда-то исчезавшее кресло Родзянки; аккуратно завесили холстом зиявшую дыру все еще висевшей рамы от царского портрета; пригласили, конечно, господ Бьюкенена, Френсиса, Тома, Карлотти и прочих.

На хорах, впрочем, разместилась непрошенная «улица» в лице обычных посетителей Исп. Комитета; а в ложе Гос. Совета, любопытства ради, расположился и сам Исп. Комитет... Но депутатов четырех Дум собралось, вопреки ожиданию, не много; они заняли, пожалуй, не больше половины мест, предназначенных только для одной Думы: иные представляли все четыре созыва, иных уже нет, а те далеке...

В третьем часу дня заседание открыл, конечно, Родзянко. Он почему-то очень волнуется и читает по тетрадке свою речь. Но он не говорит ничего особенного, ничего «программного», кроме длинных и примитивных рассуждений о «государственно-экономической» необходимости «полной победы над германским милитаризмом и германской мировой гегемонией». Конечно, председатель Думы усиленно провозглашал здравицы союзникам, и весь зал дружно приветствовал их представителей. Но этими обычными победными кликами ограничивался весь одиум речи Родзянки. В остальном — он превозносил

Гос. Думу за то, что она «совершила переворот» и вообще проявил достаточную корректность или не проявил никакой некорректности по отношению к демократии и революции¹⁾...

Последовавшие за Родзянкой — председатель второй Думы Головин, идеалистический премьер Львов, а также и другие цензовики — проявили себя, в своих приветственных речах уже совсем демократами. Но все они говорили о прошлом.

О настоящем — «крик души» последовал с правого думского сектора. Националист Шульгин впервые вспомнил, что 27 апреля не только одиннадцатилетний юбилей первой Думы, но и двухмесячный юбилей революции. И, разумеется, он попал в самый центр настроения не только правого сектора, но и всей цензовой Думы, когда поделился с ней, по поводу этого юбилея, своими «тяжкими сомнениями»...

— Вместе с большими завоеваниями, — говорил Шульгин, — которые получила за эти два месяца Россия, возникают опасения, не заработала ли за эти два месяца Германия. Отчего это происходит? Первое — это то, что честное и даровитое Вр. Правительство, которое мы хотели бы видеть облеченным всей полнотой власти, на самом деле ею не облечено, потому что взято под подозрение. К нему приставлен часовой, которому сказано: «смотри, они буржуи, а потому зорко смотри за ними и, в случае

¹⁾ Речь Родзянки 27 апр. 1917 года было бы любопытно сравнить с его брошюрой, выпущенной в стане Деникина через два года. Тут он доказывает, что Дума сделала все, что могла, прот и в переворота, но успеха не имела. Конечно, вторая версия, совпадающая с изложением моего первого тома, имеет все преимущества.

чего, знай службу». Господа, 20-го числа вы могли убедиться, что часовой знает службу и выполняет честно свои обязанности. Но — большой вопрос, правильно ли поступают те, кто поставили часового...

А затем Шульгин остановился на левой агитации. Перечисляя отдельные ее элементы, оратор спрашивал: глупость это или измена? И отвечал: это — глупость. Но все, вместе взятое, есть измена... В общем Шульгин говорил довольно осторожно, без запальчивости и раздражения. Но он попадал в самый центр и выразил настроение всех буржуазных групп — до самых радикальных включительно.

Последовала бурная овация на всех не-советских скамьях. Она затихала и вновь возобновлялась. Было видно, что наболело! Правда, по существу тут не было ничего нового сравнительно с тем, что ежедневно твердили буржуазные газеты: но все же публичное заявление обо всем этом на людях, в большом скопище единомышленников, перед лицом одолевающих врагов — преисполнило энтузиазмом буржуазные души. Особенно неистовствовал «пионер российского марксизма», бывший социалдемократ, потом радикал, потом националист, потом не знаю кто, но во всяком случае интереснейший тип и писатель — Петр Струве. Вскочив на ноги, с лицом полным патриотического восторга, обернувшись к Шульгину, уже сошедшему с кафедры, он не хлопал, а как-то особенно шлепал руками, выкрикивая неслышные приветственные слова. Едва наступившая тишина была прервана новым взрывом рукоплесканий; это придало Струве новой энергии, и он зашлепал еще сильнее; но, обернувшись к Шульгину, он не видел, что его аплодисменты были

посильным участием в овации по адресу Церетели, который уже стоял на кафедре с готовым ответом Шульгину. Из своей ложи мы посмеивались, глядя на замешательство «штуттгартского рыцаря».

Но гораздо интереснее был ответ Церетели. Это был совершенно исключительный случай, когда Церетели с открытой трибуны пришлось обрушиться не налево, а направо. И не может быть ничего более характерного для его фигуры, чем те слова, которые нашел он для такого случая. Нет никакой нужды приводить здесь его полемику; нет нужды повторять и бесчисленные его изречения вроде того, что «в рядах армии не может быть колебаний, когда она поняла, что только во имя кровных интересов всего народа ее призывают стоять под ружьем»; или — что «Вр. Правительство проявило величайшую государственную мудрость, величайшее понимание момента, когда дало раз'яснение своей ноты, устраняющее возможность всяких подозрений»; — все это знакомые слова советского лидера, ни в малейшей мере не соответствующие действительности, но неизбежно вытекавшие из той идейки, которая владела им.

Но интересна и характерна формулировка самой этой идейки, данная Церетели в той же речи:

— В словах председателя Вр. Правительства, — говорил он, — я вижу настроение той части буржуазии, которая пошла на соглашение с демократией и глубоко убежден, что пока оно стоит на этом пути, пока оно формулирует цели войны в соответствии с чаяниями всего русского народа, до тех пор его положение прочно... Другое дело безответственные круги буржуазии, провоцирующие гражданскую войну, — из так называемых умеренных

цензовых элементов. Это, конечно, вызывает в некоторой части демократии отчаяние в возможности соглашения ее с буржуазией. Но, если бы я хоть на минуту поверил, что эти идеи есть идеи всей цензовой буржуазии, то я бы сказал: России не осталось никакого пути спасения, кроме диктатуры пролетариата и крестьянства, потому что эти идеи представляют единственную реальную опасность гражданской войны... Пусть Вр. Правительство стоит на том пути соглашения, на который оно встало... И всеми силами своего авторитета, всем своим весом демократия будет поддерживать это революционное правительство, и совместными усилиями всех живых сил страны мы доведем нашу революцию до конца и, быть может, перекинем ее на весь мир...

При первой встрече с Церетели на страницах этих записок я уклонился от специальной характеристики этого замечательного деятеля. Уклонился под тем предлогом, что слишком много придется видеть его «в деле», и к подлинным фактам едва ли что прибавит предварительная характеристика, да еще со стороны убежденного, непримиримого политического врага.

И мы, действительно, очень часто встречаемся «в деле» с Церетели; мы постоянно наталкиваемся на элементы живой его характеристики. И, в частности, в цитированном отрывке мы можем видеть воочию весь идейный его багаж, определявший его практическую «линию». Убогий багаж, печальная «линия»!

Закрыв глаза на самоочевидные факты, лидер оппортунизма выдумал для себя и для других это деление на «ответственную» и «безответственную»

буржуазию и положил это деление «во главу угла». Милюков — это «ответственный» буржуа, с которым возможно и нужно соглашение; это «живая сила страны», с которой нужно и можно довести до конца революцию и даже перекинуть ее на весь мир. А Шульгин — это буржуа «безответственный», который провоцирует гражданскую войну и служит козлом отпущения за все опасности, грозящие революции.

Понятно, что все это было самой классической фикцией. Правда, Шульгин и Пуришкевич были твердыми монархистами, несокрушимыми аграриями, белыми террористами и т. д.; а Терещенки, Некрасовы и Львовы готовы были во всех этих областях на существенные уступки.

Но ведь и вопросы-то на очереди стояли совсем не эти и решались совсем не в этой плоскости. А по очередным, по центральным вопросам ведь Шульгин не сказал решительно ничего такого, под чем не подписалась бы «левая семерка» Вр. Правительства. Под предлогом высшей опасности, Шульгин скорбел о железной диктатуре имущих классов, как в «великих демократиях запада». Это называлось твердой властью или полнотой власти наличного «честного и даровитого правительства». Спрашивается, кто же, начиная с самых либеральных сфер, мог с этим не соглашаться? И почему это было «безответственно» наряду с ответственными позициями самих членов кабинета?

Но этого мало. Церетели был не только слеп, но и глух. Он не только не хотел соображать, но не хотел и слушать, когда в той же самой речи Шульгин, на его же глазах, пятнадцать минут назад говорил:

— В 1915 г. я пришел к Милюкову и сказал: П. Н., мы друзья? А Милюков посмотрел мне в глаза и сказал: кажется, — друзья.

Не хотел знать Церетели и того факта, что нота Милюкова от 18 апреля была подписана и была вотирована всей «левой семеркой» до Керенского включительно. Не хотел он знать, что на советскую демократию идет крепкий блок, единый фронт всей цензовой России... Вместо того он сочинил себе идейку об ответственных и безответственных, о мертвых и живых силах; и, руководствуясь этой идейкой, он был глух и слеп ко всему, кроме создания крепкого блока, единого фронта демократии с этими ответственными живыми силами.

Церетели еще не забыл старых слов и понятий. Он хорошо формулировал: будь вся буржуазия похожа на Шульгина — спасение революции было бы возможно только путем диктатуры демократии. Но никакие самоочевидные факты не могли убедить его в той самоочевидной истине, что в потребных пределах, имеющих значение для хода революции, вся буржуазия похожа на Шульгина.

Практическая «линия» Церетели прочно зацепилась за его фикцию и висела на этом тонком волоске в течение целого полугода. Устами же советского лидера говорило классовое положение, говорили классовые инстинкты безбрежной мелкой буржуазии нашей мелкобуржуазной страны... «Промежуточные слои» и стоящее за ними крестьянство, все более опасно взирая на разлив революции, все более сторонились пролетариата, все более жались к патентованным носителям государственности и по-

рядка и искали прочного союза с ними против грядущих напастей...

Выступали затем в заседании четырех Дум и другие ораторы из разных общественных сфер. Скобелев, безжалостно обозвавший Думу мавром, который сделал свое дело. Родичев, сильно, но не толково напумевший, защищавший мир с аннексиями и контрибуциями и призывавший к наступлению на фронте. Октябрист Шидловский, прославлявший старый думский прогрессивный блок и призывавший к созданию единого буржуазного фронта. Но характернее был Гучков, вознагражденный бурной овацией за свою патриотическую речь.

Я затрудняюсь сказать, «ответственный» или «безответственный» это был деятель с точки зрения Церетели. По министерскому своему положению — как будто вполне «ответственный». Но по партийности и по речи, видимо, совершенно «безответственный». Впрочем, он только повторил Шульгина и подобно ему только выразил общее мнение единого буржуазного фронта. Он обрушился на «каких-то людей, которые, зная, что творят, а может быть и не зная этого, внесли к нам гибельный лозунг: мир на фронте, война в стране». Он прямо объявил вновь, что «армия разлагается» (при чем это заявление в устах военного министра, конечно, не было ни глупостью, ни изменой); а «страна не может более жить в условиях двоевластия, многовластия, а потому и безвластия». Гучков повторил, ко всеобщему восторгу, что «только сильная государственная власть, объединенная в себе и единая с народом, пользующаяся смело всеми атрибутами, присущими самой природе государственной власти, может создать тот могучий

жизненный творческий центр, в котором заключается все спасение страны»...

То же самое твердил и «безответственный» Шульгин, выражая мнение «ответственного» Терещенки. Во всяком случае это заседание четырех Дум было характерно в качестве первой политической демонстрации правых буржуазных элементов, которые показали, что они живы и готовы мобилизоваться.

* * *

Эти элементы не могли представлять собой действительную правую оппозицию Вр. Правительству, которое напрягало все свои силы, чтобы держать тот же курс. Эти элементы могли лишь допускать фронду по отношению к министерству Милюкова-Керенского.

Но этим я не хочу сказать, что весь лагерь буржуазии, весь ее единый фронт, направленный против Совета и революции, — был монолитом, не разделялся на группы. Была фиктивна только линия между «ответственными» и «безответственными»; было ошибочно искать эту линию между правобуржуазными и министерскими элементами. Но это не значит, чтобы в буржуазном лагере вообще не было линий и групп, готовых модифицировать и колебать основной буржуазный курс в довольно существенных пределах. От Шульгина, Гучкова и Милюкова мы пойдем теперь дальше налево.

Мы уже знакомы с «левой семеркой» в министерстве Львова. Она, конечно, так же, как Милюков и Шульгин, признавала гибельность двое-много-безвластия и тяготилась приставленным к ним часовым.

Она вместе с тем, несомненно, шла на поводу у Милюкова и легко поддавалась его обработке в нужные моменты. Но все же эта «левая семерка» не только существовала, как сплоченная группа, противостоящая правым кадетам, но и выражала настроения довольно широких кругов буржуазии.

Что объединяло их? Несомненно, оппозиция к прямой завоевательской, твердокаменной и неуклонной политике Милюкова. Вопрос о Дарданеллах и Армении, несомненно, разбивал буржуазию на группы с различными взглядами и интересами. Группы, склонные смягчить милюковскую программу, склонные ограничиться действительной обороной границ и защитой экономического status quo — были у нас налицо. Они не умели вести надлежащий курс внешней политики, будучи опутаны милюковской дипломатией, т. е. общесоюзной фразеологией, т. е. путями мирового империализма. Но этот буржуазный «пацифизм» все же существовал у нас.

В этом нет ничего удивительного. Он существовал везде. Везде и всегда буржуазия разделялась на группы с различными и противоположными интересами. В частности, известна постоянная тяжба между милитаристским по природе металлургическим капиталом, работающим по преимуществу казенными заказами, и «пацифистским» текстильным капиталом, который питается непосредственным народным потреблением. Правда, процесс войны питал достаточно все виды капитала. Но в результатах войны они были заинтересованы не одинаково. И наряду с империалистскими были нейтральные виды капитала и равнодушные группы капиталистов.

Теперь же, когда широким общественным кругам стало ясно, насколько подорваны силы государства,

насколько велик риск позорного мира при слишком неумеренных аппетитах, — теперь неизбежно должна была образоваться оппозиция прямолинейной миллюковской политике международного грабежа *quand même*... Чисто идеологические факторы, в общих условиях революции, также отталкивали от захвата и склоняли к чисто оборонительной программе многих и многих буржуазно-либеральных деятелей, близких к «правлящим» сферам. Эти течения и представляла «левая семерка» в самом правительстве.

Для меня лично поэтому было ясно следующее. Вся буржуазия, без различия групп, должна была присоединиться к словам Гучкова и Шульгина относительно двоевластия и полноты власти в руках Вр. Правительства. В этом сходились все ее группы, как сходилась вся ее пресса. Это был вопрос классового господства буржуазии. И поскольку она не могла добровольно поставить крест на своем вековом положении господствующего класса, постольку в этом пункте она не могла сделать никаких уступок.

Но были такие группы буржуазии, которые могли уступить в вопросе о завоевательной политике. Это, конечно, были не Гучков и не Миллюков с друзьями. Но такие группы все же были. Буржуазные группы, согласные ограничить цели войны действительной обороной, существовали. И постольку — существовали буржуазные группы, которым была доступна, была сильна политика, направленная не к затягиванию войны, а к заключению «почетного мира». И по вопросам внешней политики с некоторыми группами буржуазии советская демократия могла столкнуться. Говоря кон-

кретнее и точнее — в России в то время существовали такие группы буржуазии, которые, будучи поставлены у власти, под давлением демократии, могли предпринять целый ряд «дальнейших шагов» к миру, «необходимых для революции».

После апрельских дней, когда над Петербургом пронеслись «признаки гражданской войны», такие настроения в среде буржуазии обозначились довольно отчетливо. И оппозиция Милюкову затронула не только «штатские» либеральные круги, но даже и кадровое офицерство. Припоминаю такой эпизод.

Однажды утром в Исп. Комитет, когда заседания не было, явилась группа офицеров, имевших ближайшее отношение к штабу петербургского военного округа. В числе их был известный мне по внешнему виду (бывший в Исп. Комитете 10 марта вместе с Корниловым) полковник Якубович, занимавший в штабе одну из самых высших должностей. Офицеры желали говорить с Исп. Комитетом или хотя бы с группой его членов. Налицо было 4—5 человек, в числе которых я помню только себя и Богданова.

Офицеры, от лица какой-то своей организации, пришли высказать свой взгляд на политическое положение и на «требования момента». Дело было в самых последних числах апреля, когда кризис революционной власти совершенно назрел. Взгляды же представителей кадрового офицерства состояли прежде всего в том, что такие лица как Гучков и Милюков совершенно нетерпимы в Правительстве.

Этого мало: офицеры заявили, что в их среде возбуждение против Милюкова, после апрельских дней, достигло таких пределов, что появилось даже намерение арестовать его. Но было все же решено

не предпринимать подобных шагов на свой страх и риск. Что же касается военного министра, то Гучков должен быть ликвидирован, и на его место наиболее желательным кандидатом в их кругах считается не кто иной, как Керенский... Все это офицеры просят Исп. Комитет принять к сведению и, по возможности, к руководству. Мы, с своей стороны, просили не предпринимать и впредь никаких самочинных политических шагов, если офицерские круги желают иметь контакт с Исп. Комитетом.

* * *

Как нельзя было отыскать демаркационную линию между «ответственными» и «безответственными» буржуазными кругами, так нельзя было и указать, где кончается буржуазия и начинается демократия. Буржуазно-радикальные круги непосредственно переходили в право-советские. Фигура Керенского, воплощала в себе даже личную унию. Вообще же, если не считать кружка Плеханова или в Москве Прокоповича, — то связующим звеном служили «народнические» группы — энесы, трудовики и эсеры. Вокруг этих промежуточных групп организовались «средние» слои, собственно интеллигенция. А за ними стало огромное российское крестьянство. Крестьянством эсеры овладели неоспоримо и почти монопольно с самого начала. Конечно, это были правые эсеры; и овладели они хозяйственным мужиком — в действительности или в потенции.

На самые первые числа мая был, как известно, назначен в Петербурге крестьянский всероссийский

с'езд. Делегаты уже с'езжались, и предварительные работы уже начались. Ни буржуазные, ни «марксистские» партии почти не прикасались к этим представителям российского чернозема, среди которых была масса «народнических» интеллигентов, но было не мало и деревенских кулаков, лавочников, различных кооператоров. Поле сражения без боя было уступлено Авксентьеву, Бунакову и их ближайшим товарищам с крайнего правого советского фланга. *Suum cuique...*

Но как бы то ни было, именно здесь собиралась главная сила российской общественности и революции. Именно эта, к сожалению, не переработанная, не «вымытая» капитализмом мелкобуржуазная «середина» была и остается хозяином русской земли и определяет в конечном счете ход событий. И она же служила ныне основным рычагом советской политики. Промежуточные «народнические» партии — н. с.-ы, трудовики и с.-р.-ы это уже не буржуазия, а советские партии, это — лагерь не Мариинского, а Таврического дворца.

* * *

В Совете же рядом с самой партией с. р.-ов стояли правые меньшевики, составляя с ними прочный и неделимый блок. Группа правых меньшевиков, как известно, княжила и володела эсеровской массой, у которой не было достаточно искусных собственных лидеров.

Для самих же меньшевиков эти советские лидеры доселе совсем не были характерны. Меньшевизм в его целом был интернационалистским не только до революции, возглавляемый исконными

своими вождями — циммервальдцами Мартовым, Аксельродом. Меньшевизм и в начале революции, в своем большинстве оставался на циммервальдской позиции. Мы уже знакомы с некоторыми резолюциями меньшевистской партии; а, главное, — мы видели, какую линию доселе вел ее центральный печатный орган «Рабочая Газета». Правые меньшевики, оборонцы, оппортунисты, верховодившие в советах, — совершенно не выражали мнения партии и представляли ее меньшинство.

Но сейчас, к концу апреля, дело переменялось. Меньшевистские оппортунисты стали завоевывать в партии все новые и новые позиции. Редакция «Рабочей Газеты» была изменена, и газета заколебалась. В это время она еще не взяла определенно правого, советского курса; но по каждому принципиальному вопросу она начала высказывать по два мнения и явно бросала старый фарватер... Столичная петербургская организация еще находилась в руках интернационалистов. Но в провинции партией всецело овладевал оппортунизм.

Этому, конечно, более всего способствовала громкая (на всю Россию) деятельность меньшевистских лидеров в Совете. Не мудрено, что в глазах масс, вновь обратившихся к политике, меньшевизм стал отождествляться с «линией» Церетели, Дана и Чхеидзе. И не мудрено, что при таких условиях партия стала расти в провинции и в армии именно за счет мелкобуржуазных, обывательских элементов. Возглавляемые группой талантливых и авторитетных лидеров — эти вновь нахлынувшие мартовские социалдемократы уже составляли ныне большинство партии и видоизменили физиономию меньшевизма.

«Народники» и правые меньшевики составляли прочное и устойчивое большинство Совета и всецело определяли его «линию». Это были «ответственные» элементы в Совете, в частности, и в революции вообще.

Дальше налево шли уже «безответственные» советские группы, партии и течения. И здесь, в лагере демократии, эта демаркационная линия проходила гораздо отчетливее. Вся оппозиция Чайковскому и Церетели слева именовалась безответственной. Но, по существу дела, она была далеко не однородной.

* * *

Прежде всего здесь были меньшевики-интернационалисты, простиравшие свое влияние процентов на 20—25 передового пролетариата Петербурга и Москвы. Эта группа последовательного марксистского социализма была, однако, крайне слабо представлена в пленуме петербургского совета; а ныне она уже совершенно терялась и в Исп. Комитете, где некогда, с примыкающими элементами, она составляла центральное ядро.

К этому же времени относится попытка организовать в Исп. Комитете эти примыкающие интернационалистские элементы — не из меньшевиков. В интересах большей ударной силы оппозиции, некоторые представители левого центра пытались в это время создать из них «группу внефракционных социалдемократов». В нее входили люди старого большевистского происхождения, боявшиеся имени меньшевизма, но не имеющие ничего общего с нынешней партией Ленина. Кроме того к ней прим-

кнули даже и некоторые бывшие меньшевики. В Исп. Комитете под ее фирму собралось около 15—18 человек, — в том числе я, Гольденберг, Анисимов, Стеклов.

Однако, делами этой группы вплотную никто не занимался, и при наличии меньшевиков-интернационалистов она не нашла себе опоры вне Исп. Комитета. Да и внутри его эта группа довольно скоро распалась, как организованное целое. Отчасти виною тому были разногласия, заставившие многих ее членов распределиться по различным партиям и даже удариться в различные крайности. Отчасти же попытка не дала результатов вследствие того, что инициатор ее, Стеклов, слишком усиленно предлагал себя в лидеры группы: этот деятель решительно не был популярен.

* * *

А далее налево шли уже большевики, составлявшие наиболее сильную часть «безответственной» советской оппозиции. Эта партия, под влиянием различных субъективных и объективных факторов — неудержимо и быстро росла. И росла она почти исключительно за счет пролетариата. За нею еще далеко не было большинства петербургских рабочих; но около трети, несомненно, уже было к первым числам мая. Это отразилось и на составе петербургского совета, а еще больше — его рабочей секции.

На заводах происходили частичные перевыборы и давали перевес большевикам, начавшим вплотную осуществлять свою программу завоевания Совета. Советское большинство довольно косо смотрело на

эти перевыборы. Но все же не особенно беспокоилось об этом: во-первых, устремив без остатка все свое внимание на соглашения с буржуазией, уверившись в своей незыблемой силе после апрельских дней, — советское большинство вообще слишком мало беспокоилось о массах и слишком мало думало об их настроениях; во-вторых, главную свою опору советские лидеры уже приучились видеть не в рабочих, а в солдатах, в сравнительно темной деревенщине, составлявшей (хотя бы и незаконно) подавляющее большинство советского пленума.

Большевистской фракцией в Испол. Комитете и в Совете руководил умеренный Каменев. Ленин и Зиновьев со своими подручными занимались партийными делами, «Правдой» и агитацией среди масс. Но Каменев ныне уже довольно слабо выражал мнение своей партии. Ибо Ленин уже одержал к этому времени самую решительную победу над своими большевиками.

Именно в это же время, в самых последних числах апреля, в Петербурге, во дворце Кшесинской, состоялась всероссийская большевистская конференция. Ее резолюции, принятые почти единогласно 140 делегатами, были не чем иным, как знаменитыми тезисами Ленина. Их приняли почти без поправок. То, что Плеханов назвал бредом, то, что для самих старых большевиков месяц назад было дико и смешно, — стало ныне официальной «платформой» партии, не по дням, а по часам овладевающей российским пролетариатом.

Не стерпели и ушли очень немногие старые деятели партии. Остальные восприняли ленинский анархизм и отряхнули от ног своих прах марксизма с таким видом, будто бы ничего иного они никогда

и не думали, будто бы их собственные вчерашние взгляды, их собственная старая наука — всегда были в их глазах обманом буржуазии, бреднями социал-предателей.

Я считаю, что это было самой главной и основной победой Ленина, завершённой к первым числам мая. В дальнейшем, в условиях удушаемой революции, на фоне слепой и бессмысленной политики советского большинства — было сравнительно уже не трудно увлечь широкие массы несложной сокрушительно-захватной мудростью тогдашних большевиков.

* * *

Кстати сказать, в конце апреля партия большевиков сильно муссировала и проводила на практике один не маловажный тактический лозунг: вооружение рабочих. По инициативе и по указу большевиков на столичных заводах возникали отряды «красной гвардии». Конечные цели этого института формулировались, как защита революционных завоеваний от реакции и контр-революции. Деятельность же красногвардейских отрядов выражалась в устройстве собраний, митингов, вооруженных демонстраций. С другой стороны, поступали сведения, что эта новая вооруженная сила вносит дезорганизацию и терроризирует безо всякой нужды не только заводскую администрацию и милицию, но и вообще рабочие кварталы. Указывалось на то, что фирмой красной гвардии начинают пользоваться темные элементы.

Вопрос был поставлен в Исп. Комитете. Я помню заседание не то комиссии, не то бюро, где обсужда-

лось дело о красной гвардии. В числе выступавших я помню своего единомышленника Стеклова и своего врага Дана. Я решительно не согласился с единомышленником и категорически стал на сторону врага...

Конечно, красная гвардия есть источник эксцессов, недоразумений и дезорганизации. Но это — не главное, что говорит против нее. Главное то, что ее инициаторы, несомненно, видят в ней орудие таких экспериментов, которые таят в себе общие опасности для революции.

Вооружение рабочих, вообще говоря, дело вполне законное и неизбежно признанное революционным социализмом. Но в специфических условиях нашей революции оно не имеет ни смысла, ни оправдания. Ведь вся огромная вооруженная сила государства у нас — как никогда и нигде — находится в руках революционной демократии и в интересах ее может быть в любой момент направлена против кого угодно. В распоряжении имущих классов против демократии и Совета нет никакой вооруженной силы. При таких условиях красная гвардия может предназначаться для защиты «революции» только помимо Совета или против Совета. Разумеется, это было бы не чем иным, как анархистским бунтарством, бланкизмом, источником бесплодных отдельных дезорганизаторских выступлений, и, быть может, бесплодного срыва революции...

Без Совета революцию двигать у нас было нельзя, — ни вообще, ни тем, кто кричит «вся власть советам», в частности. Партия Ленина вполне законно борется за завоевание Совета. Но совершенно незаконно она точит против него физическое оружие. Санкционировать это во всяком случае не может

не только Совет, но и никто из противников его политики, стремящихся утвердить на прочном базисе ход революции...

Исп. Комитет, а за ним и Совет, конечно, высказались против организации на заводах красной гвардии. Я лично, против обычая, голосовал вместе с большинством. Красная же гвардия, немного пошумев, быстро захирела. Большевики, кажется, не были особенно огорчены этим. Вероятно, потому, что более фундаментальная задача, завоевание Совета, осуществлялась достаточно успешно. Конечно, и большевики не могли не признавать это более надежным и верным путем к власти.

* * *

Казалось бы, дальше Ленина было некуда идти в социально-политическом радикализме. Однако, ленинцы все же не стояли на крайнем левом фланге тогдашней красочной и пестрой общественности. Среди рабочих масс не без некоторого успеха шевелились анархисты и их специфическая российская разновидность — максималисты, исторически происшедшие от эсеров.

Они были плохо оформлены, не имели ни большой популярности, ярких самостоятельных лозунгов, ни — кажется — периодического печатного органа. Но все же они копошились в недрах революционного Петербурга, а в частности свили себе гнездо среди матросов балтийского флота. Как раз в последнее время они стали много шуметь, захватывая различные помещения в городе и отказываясь освободить их — до решительных мер Исп. Комитета.

Имели они представителей и в Совете. От имени анархистов-коммунистов почти в каждом заседании выступал некий Блейхман, наивная демагогия которого встречала полуироническое сочувствие в некоторой части аудитории. С петербургскими анархистами нам придется встретиться в следующей книге.

* * *

Таков был в ту эпоху направленный диапазон российской общественности — сверху донизу или справа налево. Надо теперь коснуться в двух словах и объективного положения государства.

Прежде всего, как в действительности обстояло дело в армии? Действительно ли в те времена она «разлагалась» и утрачивала свою боеспособность? С своей стороны, я категорически отвечаю: нет, все толки об этом в то время были только приемом борьбы буржуазии с советскими и левыми агитаторами. Доказательства я вижу не только в тех фактах, которые ежедневно сообщались о состоянии армии. Лучшим доказательством является, пожалуй, то, что та же буржуазия — весьма «ответственная» и действующая в контакте с командным составом — именно в это время открывала свою кампанию в пользу наступления. Едва ли эта кампания могла быть адресована к ненадежной, разлагающейся армии. Или это была со стороны наших «патриотов» заведомая провокация разгрома?

Нет, — несмотря на огромную встряску, несмотря на демократическую реорганизацию, связанную с опьянением новой, чудесной волей, несмотря на недоверие к командному составу, далеко не уstra-

ненное увольнением 170 генералов; несмотря на страшную усталость и жажду мира, узаконенную и обоснованную Советом, — все же армия не разлагалась, была боеспособна и представляла собой достаточную защиту от Вильгельма и Гинденбурга. Этот огромной важности факт необходимо констатировать и запомнить.

Но несомненно было и то, что армия в это время бродила, кипела и переживала кризис. С точки зрения боеспособности этот кризис мог разрешиться и в ту, и в другую сторону. Патриотизм и государственная мудрость состояли в том, чтобы понять, учесть данное состояние армии, совершенно неизбежное и вытекающее из непреложных условий революции. А затем — патриотизм и мудрость состояли в том, чтобы отыскать способы благоприятного разрешения кризиса.

Способ был, собственно, только один: последовательная политика мира. Как бы парадоксально, как бы «нелогично» это ни звучало, — но действительная политика мира не только удовлетворяла демократию и обороняла страну, но и одна только могла укрепить армию. И наоборот, неизбежно должна была «разложить» армию политика затягивания войны. Патриотизм и государственная мудрость состояли в том, чтобы не дать армии — во избежание Бреста — разочароваться в политике мира революционного правительства.

Ибо ведь Гучков был прав: миллионы солдатских голов были заражены ядом сомнения в правомерности и необходимости войны. В миллионах голов уже шевелился вопрос: зачем и за что? Революция с абсолютной неизбежностью поставила перед солдатом эти элементарные вопросы. От поста-

новки их демократия отказаться не могла так же, как от самое себя. А если так, то эти сомнения надо было во что бы то ни стало ликвидировать; эти вопросы надо было удовлетворительно разрешить.

Надо было, как дважды два, доказать солдату, показать ему воочию, что он воюет и рискует за правое дело, за свои действительные интересы, за понятные ему, народные, «свои собственные» идеалы. Надо было во что бы то ни стало очистить войну от всяких подозрений в чуждости и ненужности ее для самого народа, для самого солдата. Только таким путем, в данных условиях революции, при данном состоянии армии, — можно было разрешить кризис в благоприятном смысле. Надо было это понять, учесть и немедленно сделать практические выводы.

Но мы знаем, что вершители судеб не хотели ни понимать, ни учитывать этого, ни делать нужных выводов. Этим они губили и армию, и дело обороны. Сейчас, к началу мая, армия еще была боеспособна, и дело обороны стояло крепко. Политика мира в это время могла бы вполне благополучно завершить войну. Но Гучков и Милюков, своей политикой насилия и захвата, уже затягивали узел на шее армии и в корне подрывали дело обороны.

* * *

Довольно безотрадно было и в других областях нашей государственной жизни того времени. Не благополучно было и на другом революционном фронте — борьбы за хлеб. Положение продовольственного дела ухудшалось. Общегосударственный продовольственный комитет в конце апреля опубли-

ковал воззвание, в котором указывает на критическое положение с продовольствием вообще, а в армии в частности. Хлебный паек в столицах, именно в эти же дни, пришлось снова сократить — до полуфунта . . .

Между тем, никаких радикальных мер не принималось. Правда, тогда же были закончены подготовительные меры для хлебной монополии, и она начинала фактически проводиться в жизнь. Но мы знаем, что одна хлебная монополия тут была бессильна. Вр. Правительство в воззвании от 27 апреля жаловалось на общее хозяйственное расстройство, на острое бестоварье и учредило «комиссию для выяснения вопроса о снабжении сельского населения предметами широкого потребления». Но это было совершенно не серьезно. Действительная организация народного хозяйства, действительное регулирование промышленности слишком остро сталкивалось с интересами промышленников и банков. А потому это дело совершенно не двигалось, — несмотря на все хлопоты Громана и его товарищей. Кстати сказать — поставленный три недели назад вопрос об угольной монополии, конечно, канул в Лету.

На 20 мая в Москве был назначен продовольственный съезд. Но не в словах «была тут сила» . . .

* * *

Не лучше обстояло дело и на третьем фронте революции — на фронте борьбы за землю. В газетах постоянно мелькали сообщения об аграрных беспорядках то там, то сям. Ясно, что крестьяне не считали обеспеченной закономерную земельную реформу — в ее желательном, необходимом и неиз-

бежном виде. И опасения их были далеко не напрасны. 23-го апреля Вр. Правительство обратилось к крестьянам с новым воззванием, в котором повторяется уже сказанное месяц тому назад. Земельный вопрос решит Учр. Собрание; для него «необходимо собрать предварительные сведения»; в этих целях учреждаются земельные комитеты с главным земельным комитетом во главе; «только таким путем... может быть правильно подготовлен к разрешению великий и сложный земельный вопрос»...

Но попрежнему ни слова о том, как мыслит правительство решение вопроса. И попрежнему никаких гарантий, никаких свидетельств того, что вопрос поставлен на правильные рельсы. Зато повторяется снова и снова: «большая беда грозит нашей родине, если население на местах, не дожидаясь решения Учр. Собрания, само возьмется за немедленное переустройство земельного строя. Такие самовольные действия грозят всеобщей разрухой»...

Так то оно так, — но ведь нельзя же только пугать крестьян. Необходимо понять и учесть состояние деревни в данных условиях революции. Вр. Правительство давало непреложные гарантии, достоверные свидетельства того, что оно не желает понять, не способно учесть состояние крестьянства и не намерено поставить земельный вопрос на правильные рельсы.

Мы знаем, что наибольшее волнение в деревне вызвала опасность утечки, распыления земельного фонда. В лице бесчисленных ходочков, делегаций, телеграмм, резолюций — крестьянство, можно сказать, испускало непрерывные вопли о прекращении сделок на землю в законодательном

порядке. Правительство оставалось глухо и немое. В цитированном воззвании оно не заикнулось об этом — хотя бы из приличия.

Через два дня, 25 апреля, в министерстве земледелия состоялось совещание специалистов-аграрников, приглашенных Шингаревым, под председательством упоминавшегося проф. Посникова. Обсуждался специально вопрос «о возможности издания акта о прекращении купли-продажи и залога земель». В газетном отчете читаем:

«Многие находили, что издание акта об ограничении в праве распоряжения землей — чрезвычайно сложная и трудная задача, которая может вызвать панику в финансовом мире. Другие считали необходимым принять хотя бы частичные меры в области частного землевладения, чтобы успокоить народную совесть. Большинство сошлось на том, что некоторые меры можно принять немедленно, а именно ограничить право продажи в руки иностранных подданных и прекратить таким образом земельный ажиотаж» («Русск. Вестн.» № 90).

Не правда ли, интересно? Но все это было не серьезно. Народная совесть, чтобы успокоиться, должна была довольствоваться такими совещаниями специалистов. Издание же акта наткнулось на неодолимые препятствия. Правительство революции, кабинет «ответственных» либералов, несмотря на очевидность положения дел в деревне, несмотря на неизбежность реформы во избежание всеобщего краха, — все саботировал элементарнейшее мероприятие и питал аграрную стихию. Это не свидетельствовало о государственной мудрости «ответственных» вождей революции. Но классовые интересы, как известно, превыше государственной мудрости.

* * *

В области финансов государство также двигалось по направлению к краху. Об общем положении финансов, в связи с войной, я уже упоминал. Упоминал я и о том, как держало себя в этом отношении наше Вр. Правительство. Комиссии в ведомстве Терещенки заседали. Но ни о каких серьезных и решительных мероприятиях, достойных революции, соответствующих критическому моменту, — не могло быть и речи.

Между тем, в газетах мелькали, напр., такого рода сообщения: петроградский учетно-ссудный банк, при основном капитале в 30 милл. руб. за 1916 год получил прибыли 12,96 милл., т.е. 43%... Солдаты в окопах, рабочие у станков читали эти сообщения и делали свои выводы. Они видели, что у нас неблагополучно не только в области финансов, но и в области общей политики. Они видели, что для устранения подобных безобразий не хватает ни демократизма «ответственного» правительства, ни давления и контроля «ответственных» советских руководителей.

Другое дело — создать, по настоянию синдикатчиков, «комитет поддержания нормального хода работ в промышленных предприятиях». Такой комитет правительство создало в конце апреля. Он приютился в помещении совета съездов представителей промышленности и торговли. Во главе его стал «союз инженеров»; а для демократического декорума, наряду с десятком самых махровых капиталистических организаций, правительство привлекло к его работам и Совет. Понятно, какие цели преследовало это почтенное учреждение, и какими путями оно должно было идти. Об этом уже достаточно говорилось выше... Но рабочие у станков и

солдаты из окопов наблюдали все это и делали свои выводы.



Наконец, неблагополучно было и в ведомстве премьера Львова, в министерстве внутренних дел... Со сменой и чистой местной администрацией дело обстояло довольно слабо. Губернаторы, исправники и полиция были, правда, ликвидированы с самого начала. Но прочее чиновничество, малое и большее оставалось на местах. Демократизация управления, поэтому, двигалась более чем туго. Отовсюду летели вести о старых приемах и прежней волоките. И даже из центральных учреждений министерства внутренних дел постоянно сообщалось о самых странных явлениях, об авгиевых конюшнях. Левые газеты пестрели разоблачениями старого царского естества под новой революционной фирмой.

Все это, разумеется, имело свои неизменные последствия. Они разного рода. Прежде всего местные советы при таких условиях брали или «почти брали» в свои руки местное управление. Пользуясь авторитетом и реальной силой, они без большого труда справлялись с этим делом. Но понятно, что это сопровождалось большими и непрерывными передрыгами с «законной властью». Вообще положение, при таких условиях, было «глубоко ненормально» и грозило крушением всякого государственного права.

Иногда же попытки «администрировать» по старому, в связи с общей аграрной, финансовой и прочей политикой правительства, имели и более острые результаты. Числа 26-го петербургские газеты при-

несли высоко сенсационное известие. Шлиссельбургский уезд петербургской губернии объявил себя самостоятельной республикой! Во главе ее стал некий «революционный комитет», который не только арестовал все прежние власти, но и отменил на своей территории частную собственность на землю и другие средства производства.

Исп. Комитет в экстренном порядке командировал в Шлиссельбургский уезд «карательную экспедицию» во главе с самим Чхеидзе. Товарищи из Совета познакомились на месте с положением дел и с триумфом выступали в главнейших центрах уезда, убеждая массы действовать только в контакте с Советом. Сами же они, в свою очередь, убедились, что вся эта история, в своей львиной доле, была агитационной уткой буржуазной прессы. Однако, дым все же не был совсем без огня. В Шлиссельбургском уезде, в местном совете, все же проявилась тенденция к «сепаратизму». Она, правда, формулировалась не более, как в таких терминах: если правительство непременно хочет управлять по старому, то мы не прочь управиться сами, без него. Никаких реальных последствий эта тенденция не имела. Но она имела реальную почву и была первой ласточкой. Впоследствии, на той же почве, эти самостоятельные уездные «республики» стали расти, как грибы.

Реальная почва для этого состояла опять-таки в нежелании правящих сфер понять непреложные свойства и пути революции, в неумении учесть ее требования и поспевать за ее объективным ходом. Последствия же этого состояли не только в неурядице и развале: они заключались между прочим и в том, что аппарат правительства, под влиянием

всего этого, стал атрофироваться и вытесняться советскими органами. Правительство стало все более напоминать паровой винт, вертящийся в воздухе и не производящий никакой полезной работы. Оно становилось все более не нужным — объективно и в глазах народных масс.

Необходимо упомянуть и еще об одном существенном явлении нашей государственной жизни этого периода. Сепаратизм стал проявляться не только в бутафорско-уездной форме, как плод естественного, но сравнительно легко устранимого недоразумения. Начался и достиг угрожающих пределов гораздо более серьезный — национальный и областной сепаратизм.

Все, кому было не лень, стали требовать автономии, а иногда явочным порядком стали проводить ее. Революционную Россию хотели растащить по частям, как будто только царская нагайка и спаявала ее в государственное целое. Не только Финляндия заговорила об отделении, не только заговорили об этом на Кавказе; но и Украина, Крым, Сибирь стали кричать о том же.

Это было неизбежное вообще и совершенно несущественное явление — поскольку все это были выдумки досужих интеллигентов, не знающих, что с собой делать на арене новой общественности. Если бы было только это, то можно было с полным правом игнорировать этот сепаратизм и дать ему изжить себя в одной только шумихе и детской игре.

Но дело было не так. Интеллигентские затеи опять-таки становились на реальную почву. Их поддерживали массы. Они питались, росли и процветали за счет все того же источника: революционная власть не поспедала за нуждами народа, за требо-

ваниями революции. И нации, и области говорили: управимся лучше сами.

Парализовать этот процесс можно было меньше всего централистскими актами и заявлениями «великодержавного», но бессильного правительства. На это Милюков и его друзья не/скупилась, но — разумеется, безрезультатно. Парализовать этот нелепый сепаратизм можно было только одним способом: решительной демократизацией всей государственной системы. Только это могло изолировать досужих интеллигентов и сделать ничемными, абсурдными их затеи в глазах масс. Но этот путь был чужд и не приемлем для нашей «ответственной» власти. И в этой области, и с этой стороны — ее политика готовила крах.

* * *

Таково было в общем положение дел в государстве. Все сказанное, на мой взгляд, было существенно и характерно. Но все это — не самое существенное и не самое характерное.

Вр. Правительство было совершенно бессильно. Оно царствовало, но не управляло и не могло управлять. Оно, по выражению Гучкова, не обладало «никакими атрибутами, какими вообще свойственно обладать всякой государственной властью»... Реальной силы и власти оно не имело никакой. Механизм же гражданского управления, находясь в противоречии с объективным ходом событий, работал холостым ходом. Он был не способен более к органической работе, был ненужен, бесполезен.

Но это только одна сторона дела. Вр. Правительство не управляло, но оно царствовало. Роль

его не ограничивалась тем, что оно служило идейным и организационным центром для всей буржуазии, идущей походом на революцию. Роль правительства, бессильного и не «работающего», сказывалось и в другом. Оно было официальной вывеской, фирмой — прежде всего убедительной для Европы; а затем — такой, которая декларировала свою контр- или анти-революционную политику и официально указывала желательный ей курс. В частности и в особенности, вся деятельность министерства иностранных дел состояла из одних только официальных деклараций.

И эта функция Вр. Правительства, эта роль его имела чрезвычайную важность. Т. е., дело в конце концов сводилось к тому, что самый факт существования бессильного и «неработающего» правительства имел чрезвычайную важность и был крайне вреден. — Сейчас мы увидим почему.

Вся полнота реальной силы и власти находилась в руках Совета. Ему повиновалась многомиллионная армия; ему подчинялись сотни и тысячи демократических организаций; его слушались народные массы... Совет же ныне отождествлялся с его мелкобуржуазным, оппортунистским большинством.

Это большинство было теперь вполне устойчивым и всесильным. Левая оппозиция, численно значительная, уже не могла оказывать никакого влияния на курс советской политики. Большинство же, укрепленное апрельскими днями, взяло ныне твердокаменный курс и не делало больше никаких уступок советской оппозиции. Это был курс решительной и прямолинейной капитуляции перед буржуазией, воплощенной в цензовом правительстве...

Советское большинство не хотело власти и боялось ее. Но она была в его руках помимо его воли. И тогда оно принуждено было прилагать все свои силы к тому, чтобы передать правительству, чтобы положить к его ногам полноту своей власти. В этом и состояла «линия Совета»...

Курс советской политики заключался в том, чтобы всей своей властью поддерживать существование цензового правительства, поддерживать его данный состав, поддерживать тот курс его политики, который оно в своем бессилии могло только указывать и декларировать. Всесильный мелкобуржуазно-оппортунистский Совет видел свою миссию, свою общеполитическую задачу в том, чтобы предоставить самого себя, свою силу, революцию, народные массы — в распоряжение буржуазного правительства.

Положение не обычное, ложное, внутренне-противоречивое, — но оно вытекало из объективного хода вещей и непреложных классовых тяготений участвующих в революции сил... Однако, конъюнктура не исчерпывалась только что сказанным и даже была бы непонятна без дальнейшего.

Ведь если Совет видел свою основную задачу в поддержке правительства и его курса, если на это он полагал все свои силы, то, очевидно, достигнуть этого было не так легко. Очевидно, поддерживать правительство и его курс приходилось против кого-то. Очевидно, были сильные нападающие. Очевидно, Совету, в лице его большинства, приходилось неустанно с кем-то бороться за поддержку правительства; приходилось у кого-то отвоевывать его положение, его состав и его курс.

Да, конечно, так и было... Народные массы повиновались Совету беспрекословно; но это не значит, что они повиновались охотно, с полной готовностью, с полным убеждением в его правоте. Мы видели настроение масс в апрельские дни; мы видели, что оно расходилось с «линией Совета». И не подлежит ни малейшему сомнению, что массы в данный момент шли впереди советского большинства. Не только стихийный ход событий требовал осуществления минимально-необходимой программы революции, но и сами массы уже усвоили и формулировали эту программу, которую не могло и не хотело осуществлять цензовое правительство.

Массы широко развернули требования мира, земли и хлеба. Правительство не могло и не хотело ничего этого дать. И Совет в этом споре, в этой тяжбе, в этой классовой борьбе, стал на сторону правительства. Саботаж правительства он выдавал за осуществление программы, а массы он призывал к спокойствию и лояльности. То-есть, — Совет боролся с народом и революцией за положение и за политику цензового правительства.

Массы повиновались Совету в силу исторических причин, в силу общей монопольной роли Совета в революции, в силу отсутствия всякого иного демократического центра, который мог бы заменить его. Массы еще повиновались в силу инерции и кредита. Кроме того, они отчасти были темны, не сознательны, а отчасти мелкобуржуазны. Но при всем том они уже расходились с Советом, уже повиновались не охотно: они шли впереди советского большинства.

Совет взял курс на полную капитуляцию и после

апрельских дней уже поддерживал «ответственного» Милюкова безо всяких условий, не требуя никаких «дальнейших шагов». Массы единодушно продолжали требовать устранения Милюкова и Гучкова. После апрельских дней шла непрерывная пальба пачками по Милюкову, — не только в левых газетах, но в сотнях, тысячах резолюций, сделавших отставку этого деятеля подлинным и настойчивым лозунгом всего народа.

Совершенно то же происходило и с другими пунктами революционной программы: независимо от Совета и против Совета массы продолжали настаивать на ней. И, можно сказать, это было уже не одни народные массы. Программу революции, в той или иной степени, в большей или меньшей части, стали провозглашать, независимо от Совета, и промежуточные группы из демократического, а отчасти и буржуазного лагеря. Мы уже встретились с выступлением представителей кадрового офицерства. Офицерство не кадровое, а равно и многие интеллигентские группы тем более проникались ныне оппозиционным настроением к правительственному курсу. И Совет ничего не мог поделать с этим.

Совет стремился всеми силами передать правительству Милюкова свою власть, свой авторитет, свои миллионы штыков и народные массы. Но ни массы, ни штыки решительно не хотели идти к правительству, не хотели и не могли перенести на него свое «доверие» и «поддержку». Они признавали только Совет и доверяли только ему. Правительство они признавали и верили ему постольку, поскольку это приказывал Совет. И делали они это, хотя пока беспрекословно, но не охотно.

Положение было не обычное, ложное, внутренне-

противоречивое. Оно не могло быть устойчивым. И оно становилось день ото дня все более невыносимым. Несмотря на полную поддержку Гучкова-Милюкова Чайковским-Церетели, несмотря на все их старания, несмотря на весь их авторитет, — при данных настроениях масс, перемены были неизбежны. Советское большинство этого не понимало; оно не хотело ничего знать, кроме поддержки правительства и «соглашения» с «ответственной» буржуазией, с «живыми силами страны». Но неизбежность перемен чувствовали сами массы и понимало само правительство. Ибо их положение было уже невыносимо.

* * *

Вот небольшая, но недурная иллюстрация... Крестьяне, приехавшие на свой всероссийский съезд, по обыкновению, явились в Исп. Комитет — требовать закона о прекращении земельных сделок. Их, по обыкновению, отослали к правительству. Они неохотно собрались в эти «чужие» сферы, но повиновались. В назначенный для приема день мне в Исп. Комитет звонят из Народного Дома, где происходили предварительные крестьянские совещания. Меня, как заведующего советским аграрным отделом, просят присутствовать при приеме делегации в Маринском дворце, — чтобы требование исходило как бы от имени Исп. Комитета.

К назначенному часу я был в Маринском дворце. В его круглой зале собралась не только крестьянская делегация. Кроме нее, в ожидании министров, там выстроилась довольно большая группа солдат, приехавших с фронта. Во главе их был офицер, в парадной форме, с неподвижным деревянным

лицом. Группа явилась сюда, очевидно, для того, чтобы представиться, приветствовать Вр. Правительство и выразить ему чувства от имени какой-нибудь воинской части или армии. Офицер, которому предстояло держать речь, видимо волновался.

В круглую залу вошел министр-президент Львов с Керенским, Терещенкой и, может быть, с кем-нибудь еще. Офицер вытянулся и стал рапортовать свою речь медленно, с трудом и отрывисто выговаривая мало привычные слова, несомненно, заученные наизусть. Он говорил о преданности революции, о готовности положить за нее жизнь.

— Нам поручили, — рублил он, — приветствовать Вр. Правительство и Совет Раб. и Солд. Депутатов. Нам поручили передать Вр. Правительству, что мы его чтим, что мы верим ему и поддержим постольку, поскольку оно выполняет...

Это было уже слишком. Мягкий и деликатный Львов, круто повернувшись на каблуках, быстро отошел от депутации, не дослушав «приветствия»... А мне мгновенно вспомнился школьный пример «постоянного эпитета», употребляемого — согласно теории словесности — всегда, независимо от обстоятельств, которые иной раз совсем не подходят к эпитету. Я вспомнил, как русские данники-послы, представ пред светлые очи могучего татарского хана, «приветствовали» его словами:

— Гой, ты еси, собака Калин-царь!...

Да, это были уже не прежние депутации и не прежние приветствия, бывшие не чем иным, как демонстрациями против Совета. Ныне нестерпимая формула о поддержке правительства постольку, поскольку его поддерживает Совет, — окончательно пропитала сознание миллионных масс. Она

стала «постоянным эпитетом», неуместность которого в иных случаях — уже перестала сознаваться... Само правительство, однако, хорошо сознавало невозможность такого открытого для всех явного существования с позволения Совета. Наивный офицер явно ударил главу кабинета по больному, по наболевшему месту.

Министры обратились к депутации крестьян. Я не хотел здесь выступать активно и держался, по возможности, в тени. Глава депутации, довольно серый мужичок, начал убедительно, чуть не слезно просить министров о законе, охраняющем земельный фонд... Его нетерпеливо перебил возбужденный и бледный Керенский.

— Да, да, — это будет сделано. Вр. Правительство уже принимает меры. Передайте, что беспокоиться нечего. Правительство и я выполним свои обязанности.

Но кто-то из депутации, в явном недоверии к словам министра, пытался было вставить замечание, что закон обещан давно, а дело не движется. Остальные демонстрировали явное сочувствие. Тогда Керенский уже рассердился и основательно прикрикнул, чуть ли не топнув ногой:

— Я сказал, что будет сделано, — значит, так и будет... И... нечего смотреть на меня подозрительными глазами!...

Я передаю буквально, — и Керенский был прав: подозрительными глазами смотрели мужички на знаменитого народного министра и вождя. В конце концов крестьянская делегация попадала в ту же точку, что и фронтовая.

Да, так больше жить было нельзя!...

* *
*

Перемены назрели. Кризис власти открыто и всенародно развернулся с апрельских дней. Я лично с тех пор чуть ли не ежедневно, также всенародно, на столбцах «Новой Жизни», твердил о ликвидации Милюкова, в частности, и существующего империалистского кабинета вообще. Необходимость и неизбежность этого была для меня очевидна. Пребывание Милюкова у власти и продолжение его политики явно угрожали революции, стране, армии, обороне. Вместе с тем Совету было явно не удерживать Милюкова у власти — против народа.

Перемены назрели. Но какие же именно перемены? Каков же был рациональный и приемлемый выход из противоречий революции, из нестерпимого и опасного положения?

«Общественное мнение», в качестве единственно возможного выхода, предлагало создание коалиционного правительства — из представителей буржуазии и советской демократии... Как известно, правые «народники», н. с.-ы и трудовики, уже давно, с первых дней революции настаивали на создании коалиционного правительства. Сейчас они возобновили атаки в Исп. Комитете. И теперь к ним пристали и советские эсеры. Они проводили ныне не мало резолюций на заводах и в казармах с требованиями коалиционного правительства. Но в Исп. Комитете этот вопрос официально не ставился.

Идеей «коалиции» теперь вплотную занялась и часть большой прессы — из более левой и менее «действенной». Вообще правая демократия, и левая буржуазия в двадцатых числах апреля широко популяризировали эту идею. Ей посвящались — в Москве и Петербурге — многочисленные собрания.

О ней говорили всюду. И на фоне апрельских дней, с их последствиями, она очень быстро докатилась и до самого правительства.

Уже и раньше, в контактной комиссии, министры не раз поднимали вопрос о вступлении советских людей в министерство. В частности, Коновалов усиленно требовал советского министра труда. Теперь в непрестанных заботах о благе страны, в беспокойных поисках выхода из невыносимого положения — Вр. Правительство составило обращение к российским гражданам, где официально ставился вопрос о реконструкции власти. Оно было опубликовано уже 26 числа.

В этом воззвании правительство прежде всего дает обзор своей двухмесячной деятельности, ставит на вид свой либерализм и свою лояльность. Но вместе с тем оно констатирует, что ни его деятельность, ни его свойства — не помогли делу.

«К сожалению, — говорит оно, — и в великой опасности для свободы, новые социальные связи, скрепляющие страну, отстают от процесса распада, вызванного крушением старого строя. В этих условиях... трудные задачи Вр. Правительства грозят сделаться непреодолимыми. Стихийные стремления осуществить ожидания и домогательства отдельных групп и слоев населения... грозят разрушить внутреннюю гражданскую спайку и дисциплину и создать благоприятную почву, с одной стороны, для насильственных актов, с другой... для развития частных стремлений и интересов в ущерб общим... Такое положение вещей делает управление государством крайне затруднительным и угрожает привести страну к распаду внутри и к поражению на фронтах. Перед Россией встает страшный призрак междоусобной войны и анархии, несущей гибель свободе... Пусть все, кому дорога свобода России, поддержат государственную власть повинением и содействием, примерами и убеждением, личным участием в общих трудах и жертвах и призывом к тому же других. Правительство, с своей стороны, с особенной на-

стойчивостью воспользуется усилиями, направленными к расширению его состава, путем привлечения к ответственной государственной работе представителей тех активных творческих сил страны, которые доселе не принимали прямого и непосредственного участия в управлении государством»...

Большого правительство, в свой критический час, сказать не могло. Оно не могло определеннее говорить о двоевластии и «часовом» — во избежание неприятностей с Советом. Оно не могло определеннее указать на отсутствие у него всяких «атрибутов власти», — ибо надо было сохранять престиж. Оно не могло определеннее высказаться и о «коалиции», — ибо в кабинете были, несомненно, ее решительные противники.

Конечно, это был Милюков — надо думать, со своими друзьями, с правой «пятеркой». Еще бы! Ведь было всякому ясно, что Милюков должен явиться жертвой «коалиции». Ведь если лидерам Совета не удастся поддержать и удержать у власти существующий кабинет, то это значит, что он взрывается напором народных масс. И он взрывается, во имя революции, из-за Милюкова по преимуществу. О том, чтобы Милюков мог фигурировать и в новом кабинете, создаваемом во имя всенародной поддержки, — ни у кого не могло быть и мысли.

Но Милюков, во имя «великой России», держался и цеплялся за власть. Его газета «Речь» также очень сдержанно комментировала правительственное воззвание; и, между прочим, разъясняла, что его практическая цель — вовсе не коалиционное министерство: речь идет только о привлечении новых элементов. Ведь участие Керенского не создало же «коалиции»... Видимо, друзья Милюкова желали,

во что бы то ни стало, ограничить дело еще одним или, на крайний случай, двумя заложниками.

Но мнение Милюкова тут было и не важно, и не характерно. Все поняли правительственное обращение именно как практическую подготовку коалиционного министерства. Оно само собой разумелось, как коалиция между левой буржуазией, представленной уже в правительстве, и правой демократией, руководящей Советом. Вся пресса, даже очень близкая к центральному органу кадетов, интенсивно понуждала теперь высказаться Исп. Комитет и на все лады предвосхищала, что он скажет.

Того же 26 апреля Керенский, с своей стороны, опубликовал заявление, в котором он уже вполне определенно ставил на практическую почву вопрос о «коалиции». Керенский обращается к Исп. Комитету и к эсерам, своим товарищам по партии: до сих пор он представлял демократию в правительстве на свой страх и риск, но сейчас положение изменилось коренным образом. В настоящих критических условиях организованная демократия, по словам Керенского, более не должна уклоняться от ответственности и от управления государством. И он считает, что отныне «представители трудовой демократии могут брать на себя бремя власти лишь по непосредственному избранию и формальному уполномочию тех организаций, к которым они принадлежат». В заключение Керенский заявляет, что он ставит свое дальнейшее участие в правительстве в зависимость от решения своей партии и, повидимому, Совета. Как бы то ни было, Керенский своим выступлением заставлял и Совет и свою партию высказаться по вопросу о коалиции, — при чем

решение «самой большой» советской партии было наперед известно.

Наконец, 27 апреля представитель Совета Чхеидзе получил официальное письмо от председателя министерства: ссылаясь на правительственное обращение, опубликованное накануне, Львов адресуется к Чхеидзе «с просьбой довести об указанных предположениях до сведения Исп. Комитета и партий, представленных в Совете Раб. и С. Деп...» Вопрос был ныне поставлен официально; Исп. Комитету предстояло его решить.

* * *

Если оставить в стороне специфическую позицию Милюкова, то, повидимому, теперь весь буржуазный фронт жаждал коалиции и требовал ее. Блестящий право-буржуазный публицист (несомненно, из числа «безответственных»), Евг. Трубецкой, на столбцах «Рус. Слова» заявлял, что решение Исп. Комитета должно рассматриваться как проба его мужества, патриотизма и сознания ответственности перед страной... Буржуазия единым фронтом не только жаждала и требовала, но — можно сказать провоцировала Исп. Комитет на вступление в коалицию. И никаких сомнений тут быть не может: с своей точки зрения она была права.

Быть может, такой оборот дела был для нее печален. Но все же это было во всяком случае наименьшее зло и единственный для нее выход из положения. Нельзя было висеть в воздухе. Нельзя было так прямо и откровенно игнорироваться населением. Нельзя было сиять одним только отраженным светом и признаваться только из лояльности к Совету. Нельзя было существовать с выхоло-

щенным аппаратом управления. Нельзя было не иметь никаких «атрибутов власти»... Необходимо было приобрести все это, — хотя бы ценой компромисса, хотя бы дорогой ценой. Для этого было только одно действительное средство.

Это — формальное бракосочетание с мелкобуржуазным большинством Совета. Любви тут не было, но был явный и очевидный расчет. Сам по себе Совет был, конечно, не желателен; но дело было в приданом. А в приданое он должен был принести армию, реальную власть, непосредственное доверие и поддержку и все технические средства управления.

Тут был риск, тут было несколько неизвестных. Коалиция коалиции рознь. Но об этом надо было договариваться в особом порядке и можно было достигнуть не малого. Иных же путей решительно не было.

Такова была естественная точка зрения буржуазии. Но как обстояло дело в действительности? Как следовало рассуждать с точки зрения интересов демократии и революции?

Прежде всего — объективно, со всех точек зрения — так, как было, продолжаться не могло. Ликвидация первого революционного кабинета была с апрельских дней делом решенным. В своих статьях я, без колебаний и сомнений, всенародно делил еще живого зверя и изыскивал новые «комбинации» — в то время как советское большинство заботилось только о поддержке Милюкова. Но со стороны советских лидеров это была не только утопия: это была и «безответственность», и отсутствие патриотизма, и непонимание элементарных потребностей страны в целом.

Так, как было, продолжаться не могло, — ибо страна начинала разлагаться без власти, а органическая работа — в области продовольствия, транспорта, местного управления, вопросов труда — более не могла сделать ни шагу вперед вследствие порчи правительственного аппарата.

Невыносимое положение правительства, разумеется, само по себе не имело значения. Но с устройством власти и с органической работой нельзя было ждать ни минуты. Это грозило голодом, полной разрухой, всеобщим хаосом.

Все это, однако, не означало, что для демократии и революции правильный выход из положения состоял именно в образовании коалиционного правительства. Социалдемократическая печать, в лице «Правды» и «Рабочей Газеты», высказывалась против коалиции. Но «Правда» не выдвигала для данного момента никакого практического решения вопроса: она твердила только о подготовке перехода власти к Совету. «Рабочая Газета» также фактически стояла за сохранение существующего статуса, выдвигая против коалиции классический довод Интернационала об ответственности министров-социалистов за буржуазную политику и о притуплении их участием в правительстве пролетарской классовой борьбы. Указывалось, что во время войны, в условиях международной борьбы против империализма, коалиция с буржуазией может оказаться особенно вредной.

Независимо от того, что этот довод не решал вопроса, он не казался мне убедительным и по существу. Условия нашей революции были совершенно исключительны и не предусмотрены Интернационалом. Хозяином положения, фактическим но-

сителем государственной власти у нас была не буржуазия, а демократия. Постольку — за политику и за самое существование любого министерства ответственность уже лежала на Совете. Если бы стихийный ход вещей позволил остаться у власти Милюкову, то за каждый его шаг, перед лицом страны и мирового пролетариата, все равно отвечал бы Совет. Разговоры об ответственности и свободе рук социалистов, в наших тогдашних условиях, были не более, как пустой и недостойной игрой в прятки... Война, конечно, не меняла дела. За политику войны и мира также уже давно отвечал Совет.

Другое дело — не изменился ли бы к худшему курс политики при вступлении в правительство советских представителей... Это было бы существенным аргументом против коалиции. Но какие основания были предполагать такой результат? Ведь советское большинство капитулировало перед Милюковым. Чего еще хуже? Почему, вступив в правительство, наши советские «ответственные» элементы станут хуже без Милюкова, в союзе с более левыми представителями буржуазии?... Таковые, как мы знаем, имеются. Для некоторых из них могла бы оказаться посильной даже политика мира, если бы Совет стал последовательно проводить ее. Общий курс коалиционного правительства мог измениться и к лучшему. А в худшем случае остался бы прежним.

Притупление классовой борьбы? Но опять-таки — какая разница с существующим положением? Ведь Совет, в лице его большинства, делает все возможное для ее притупления. Если лидеры этого мелкобуржуазного большинства будут формально

связаны с правительством, то в глазах масс их слова о поддержке будут никак не более, а пожалуй гораздо менее убедительны...

Но — коалицией дискредитируется Совет... Возможно. Но ведь на этот путь события уже давно стихийно гнали пролетарские группы и партии. Уже давно в борьбе за революцию они боролись против официального Совета. Вообще — вопрос о классовой борьбе уже давно был перенесен событиями в плоскость борьбы с советским большинством. И если ныне оно формально сольется с правительством, то борьба против них обоих, вместе взятых, не притупится, а проявится — и предстанет в виде пролетарской классовой борьбы.

Истинный путь движения революции вперед, независимо от конструкции власти, состоял не в чем ином, как в завоевании Совета истинно демократическими, пролетарскими группами. Коалиция здесь ничего изменить не могла; а что могла, то изменяла к лучшему... И аргументы социалдемократов против коалиции в общем несколько не убеждали меня.

Но что же убедительное можно было сказать в пользу коалиции — с точки зрения революции и демократии? Если перемены в конструкции власти были абсолютно неизбежны, то теоретически мыслимы тут были только два выхода: либо коалиция, либо переход всей власти к Совету... При данной конъюнктуре в Совете, образование советского правительства не могло явиться по существу диктатурой демократии, т. е. крестьянства и пролетариата. Ибо всесильное советское большинство было и оставалось бы в плену у буржуазии. По-

этому, содержание, направление политики советского правительства, едва ли могло отличаться от политики коалиции.

Но за то форма коалиции имела все преимущества — с другой точки зрения. Буржуазная власть была далеко еще не изжита в глазах средних слоев, промежуточных групп населения. Интеллигенция, чиновничество, «третий элемент», офицерство — словом все те слои, которыми держится государственная машина, во главе с самими советскими главари, — еще совершенно не мирились с идеей чисто демократической власти и отказывались представить себе государство, не возглавляемое «лучшими людьми» из либерального общества. Между тем, государственная машина не могла стоять ни минуты; она должна была работать полным ходом. В этом состоял основной смысл реконструкции власти. Поэтому было необходимо реконструировать власть согласно воле или не против воли тех огромных слоев, которые обслуживали государственную машину. Все они признавали и могли признать только коалицию; а поскольку были активны — они сейчас горой стояли за нее. И они заставляли включить в правительство представителей либеральной буржуазии.

Иного смысла не имело коалиционное правительство. Оно было данью органической работе и промежуточным слоям. К тому же страна вообще и демократия, в частности, все еще не была достаточно организована. В руках демократии все еще не было самых фундаментальных учреждений, на которых лежит главная государственная работа: не было демократических органов самоуправления. Че-

рез три-пять недель страна должна была покрыться плотной сетью демократических государственных учреждений, а промежуточные слои должны в ближайшем будущем примириться с неизбежностью под давлением железной логики событий... Коалиция была данью особым временным обстоятельствам.

Тогда никакая коалиция, никакая буржуазия у власти — будут вообще не нужны. Тогда наступит неизбежное и законное время для чисто демократической власти... Для меня не было сомнений в том, что именно такую, рабоче-крестьянскую власть, выдвинет и утвердит Учредительное Собрание.

Могла ли коалиция удовлетворить требование, предъявляемое к ней буржуазией, — могла ли она явиться крепкой и сильной властью? Нет, не могла... Она уничтожала двоевластие, объединяя правительство с советским большинством. Но крепкую и сильную власть коалиция создать не могла.

Сильным и крепким правительство могло быть только в том случае, если бы его политика действительно отвечала требованиям революции и поспевала бы за ними. Тогда оно было бы крепко и сильно всенародным доверием и живой поддержкой революционного народа. Буржуазия рассчитывала, что Совет принесет ей это приданое. И она не ошиблась, поскольку советское большинство само обладало этими благами и было всемерно. Поскольку же жестокая классовая борьба развертывалась внутри советской демократии — постольку Совет не мог придать надлежащей силы и крепости своей коалиции с буржуазией.

Коалиционное правительство, поэтому, могло рассматриваться только как временный, даже весьма

кратковременный выход из положения. Это была заведомо неустойчивая и мимолетная комбинация. Но заведомая кратковременность и неустойчивость не могли опорочить коалицию, как единственный выход из положения. Ведь в смысле устойчивости, крепости и силы — власть мелкобуржуазного Совета не могла дать большего. Такова была непреложная логика событий.

Мои рассуждения могут быть правильны или ошибочны. Но ясно то, что никакие вообще рассуждения ни на йоту не могли изменить дела. Коалиция оставалась единственным выходом. Ее не могло не быть: прежний статус уже рушился, а советское большинство не хотело брать власть в свои руки. Заставить его силой было нельзя. Стало быть, все кроме коалиции было утопией. Все рассуждения были излишни.

8. ЗАКОННЫЙ БРАК КРУПНОЙ И МЕЛКОЙ БУРЖУАЗИИ

Вопрос о коалиционном правительстве в Исп. Комитете. — Позиции различных фракций. — Провал коалиции. — Повод для пересмотра решения. — Уход Гучкова. — Его мотивы. — Закулисная работа. — Вторичное обсуждение вопроса. — Ночное заседание Исп. Комитета. — Керенский, фракции, поправки, вотум. — Коалиция решена. — У Львова. — В ресторане «Официантов». — Комбинации. — Коалиция или заложники? — Заседание с министрами. — Милюков хлопочет о чужом деле. — Милюкова «уходят». — Распределение портфелей. — Министерство снабжения. — Вмешательство крестьянского съезда. — Совет предполагает, министры располагают. — Чехарда комбинаций — Все недовольны своими соседями. — Прощальный визит французских гостей. — 4 мая. — Ультиматум. — Перед разрывом. — В другом ресторане. — Коалиция гниет па корню. — На волоске. — Два сумасшедших дома. — Керенский «спасает положение». — Совет уступает. — Кадеты тоже уступают. — Невеселая свадьба сыграна. — Заключительный акт. — Министры-социалисты испрашивают последнее благоговение. — Появление Троцкого.

Вино было налито, — надо было его выпить.

С утра 28 апреля в Исп. Комитете был поставлен в порядок дня вопрос о коалиционном правительстве. На заседание были вызваны представители московского Совета. Приехал представитель его, меньшевик Хинчук, представитель солдатской секции Шер, также меньшевик, и кажется кто-то еще. В

Москве, в Иск. Комитете, вопрос о коалиции уже обсуждался 26 числа, и всеми голосами против 4 воздержавшихся он был решен отрицательно. Так же отрицательно был решен вопрос и в московском Совете, который высказался только за «более совершенные формы контроля»... Решение в принципе было бы недурно, если бы не было утопично.

Но судьба коалиции зависела только от нашего петербургского Иск. Комитета и ни от кого больше.

Конечно, 28-го в Иск. Комитете был «большой день». Зала была полна. Прения были ожесточенны и продолжались несколько часов. Но они не дали ничего нового и существенного. Коалиция уже целую неделю была злостью дня, и все уже успели предварительно об'ясниться друг с другом... Хода прений и речей, я, как следует, не помню.

Нового и характерного было в них то, что в первый и последний раз за много месяцев здесь разбился блок правых меньшевиков и эсеров. «Народники» снова остались без своих главных лидеров. Ни выступления, ни самого присутствия Чернова я совершенно не помню. Но, надо сказать, что правые меньшевики также не были единодушны. «Народники» же стояли за коалицию единым фронтом.

Аргументы всей левой части естественно вращались в плоскости отрицания всяких вообще соглашений, блоков и коалиции с буржуазией. Это была вполне твердая почва; но она не открывала никаких конкретных перспектив для конкретных решений. Оппозиция «безответственно» говорила: пусть будет, что будет... Кроме того, левые оценивали коалицию, пожалуй, с излишней субъектив-

ностью: ведь дело шло не об их собственной коалиции с буржуазией, а о коалиции их противников. Для самих же мелко-буржуазных групп аргументы левых никак не могли пригодиться.

Но гораздо хуже было положение правых меньшевиков. Именно они решали в конечном счете дело о коалиции. И когда они выступили против нее, то тут уже не могло быть речи о твердости почвы под их ногами. Напротив, правые меньшевики, т. е. именно господствующая «группа президиума» тут была в самом трагическом противоречии сама с собой. Логика объективного положения, а главное — логика их собственного положения неудержимо толкала их в коалиционное правительство. Но в их головах еще прочно сидели некоторые теоретические положения марксизма, которые связывали им руки. В конце концов они не проявили ничего, кроме дряблости и «болотной» слабости...

Церетели говорил о том, что Совет извне лучше поддержит правительство, чем изнутри. Дан говорил много неоспоримых истин, и казалось, что он кончит призывом к коалиции; но он кончил выводом против нее.

Я лично высказал часть вышеизложенной аргументации и кончил заключением, что коалиция в принципе неизбежна, и этот принцип необходимо немедленно вотировать; другое дело — те условия, на которых следует этот принцип осуществить и о которых надо говорить особо. После аналогичных выводов отколовшегося меньшевика Шапиро, я предложил ему совместно составить соответствующую резолюцию; мы долго трудились с ним, удалившись в одну из верхних комнат, но так и не могли сочинить подходящей формулировки.

Прения, наконец, были прекращены. В очень напряженной атмосфере вопрос был поставлен на голосование. «Группа президиума» и примкнувшие к ней сторонники девиза: «в нерешительности воздерживайся» — дали перевес противникам коалиции. Но большинство их было всего в два голоса. Я лично, не убоившись сенсации, голосовал вместе с «народниками» за. Повторяю — может быть, я жестоко ошибался; но во всяком случае мой вотум был попыткой облегчить «родовые муки истории»...

Никакой резолюции принято не было. Для ее составления была избрана комиссия¹⁾.

Коалиция была провалена, но ее советские сторонники не унывали. Ни я, ни другие не сомневались, что, выгнав коалицию в дверь, придется впустить ее в окно. Никто из голосовавших с большинством не сказал, что же будет дальше и как же обойтись без нее. И меньшинство громко заявляло, что вопрос будет перерешен, если не завтра, то послезавтра. Даже в газетах появилось на другой день сообщение, что это решение «временное».

* * *

В следующие два дня вопрос, впрочем, вновь не поднимался, но и комиссия не работала. Вотум

¹⁾ Несмотря на заявление Церетели, что в эту комиссию естественно выбирать сторонников принятого решения, за меня голосовали оба крыла. Это было не менее «странно», чем мое собственное голосование за коалицию. Очевидно, левые голосовали за меня ради левой мотивировки, а правые — ради моего сенсационного вотума... За то провалился кандидат Церетели — Скобелев. Это так аффрапировало Церетели, что он требовал переголосования: так уж е привыкли к полноте власти члены «группы Президиума».

Исп. Комитета оставался без мотивировки. А когда 30 числа был созван Совет, то Исп. Комитет не подумал выступить перед ним с докладом о коалиции, не подумал поставить на утверждение свой вотум 28 апреля — несмотря на огромную важность и не меньшую злободневность вопроса. Ибо в семи хорошо чувствовалась «временность» решения и крайняя неустойчивость положения... Просто еще не встречалось повода изменить его.

Но через двое суток, на третьи, повод нашелся, и при том достаточно яркий.

В воскресенье 30-го доктор Манухин сообщил мне, что он видел в этот день военного министра Гучкова, и тот сказал ему, что он только что подал в отставку. Если бы это сообщил не Манухин, или не в такой форме, то я бы не поверил этому. Правительство, как таковое, конечно, дышало на ладан. Но никаких особых признаков Гучков не обнаруживал. Напротив, в его последних публичных выступлениях совсем не звучали подобные ноты.

Уже после заседания «четырех Дум», всего за сутки до отставки, 29 числа, Гучков выступал в совещании фронтовых делегатов с очень большим и при том чисто деловым докладом. Он развернул перед фронтовиками картину своей органической работы, говорил о своих планах и даже прямо обещал еще вернуться к фронтовикам для продолжения беседы. А в самый день отставки Гучков получил такое удовлетворение от Совета, которое должно было открыть ему довольно радужные перспективы: в этот день было принято в Совете известное нам воззвание к армии, которое было принято, как перелом настроений демократии, не только кадетской «Речью», но и союзной печатью.

И все же отставка Гучкова была фактом. Мало того, — Гучков действовал с совершенно непонятной и не обычной скоропалительностью. Он не дожидался ни ответа Вр. Правительства на свое заявление, ни назначения нового военного министра, которому он был обязан сдать дела. Он сам назначил себе преемника по военному и морскому министерству, хотя — насколько известно — его должность не была наследственной, а его ведомство не было удельным княжеством.

Сам Гучков в письме на имя министра-президента Львова от 30 апреля так мотивировал свой уход: «в виду тех условий, в которые поставлена правительственная власть в стране, и, в частности, власть военного министра по отношению к армии и флоту, — условий, которые я не в силах изменить и которые грозят роковыми последствиями и обороне и свободе, и самому бытию России, — я по совести не могу далее нести обязанности военного и морского министра и разделять ответственность за тот тяжкий грех, который творится в отношении родины»...

Так все это или не так, но в этой мотивировке нет ни чего-либо нового, экстренного, ни чего-либо специфического, не касавшегося любого министра или всего министерства в целом... Через несколько дней (4 мая), в совещании членов Государственной Думы Гучков к сказанному письму добавил: «я ушел от власти потому, что ее просто не было; болезнь заключается в странном разделении между властью и ответственностью: на одних полнота власти, но без тени ответственности, а на видимых носителях власти полнота ответственности, но без тени власти; если внизу повинуются формуле «поскольку, постольку», то развал власти неизбежен»...

Это — хорошая характеристика положения дел; но это слабое объяснение экстренного бегства с поста. Естественно, что товарищи Гучкова по министерству, находясь в совершенно таком же положении, но будучи менее инициативны, были несколько шокированы «велениями совести» военного министра. Они даже сочли необходимым апеллировать со своей обидой к общественному мнению. В официальном заявлении, опубликованном 2 мая, Вр. Правительство указывает, что все его действия совершались с ведома и согласия Гучкова; ныне, в виду невыносимого положения, в правительство призваны новые элементы; а Гучков, «не дожидаясь разрешения этого вопроса, признал для себя возможным единоличным выходом из состава Вр. Правительства сложить с себя ответственность за судьбы России». Нет, — Вр. Правительство, опять-таки «по долгу совести, не считает себя в праве сложить с себя бремя власти и остается на своем посту». Но оно «верит, что с привлечением новых представителей демократии восстановится единство и полнота власти, в которых страна найдет свое спасение».

Отставка Гучкова не вызвала больших сожалений. Напротив, даже буржуазные круги и их пресса проводили Гучкова довольно холодно. Все хорошо понимали: либо коалиция, либо Гучков. И если в коалиции «страна найдет свое спасение», то факт отставки военного министра сильно облегчает положение... Но за то проливалась слезы, рвала и метала союзная печать. В Париже газеты вышли с аншлагами: «серьезный кризис», «печальные известия» и т. п.; газеты лестно отзывались о Гучкове и метали молнии против «элементов раз-

рушения и изуверов из Совета Р. и С. Д.» «Неслыханные требования Совета» парижская печать, конечно, объясняла и немецкими интригами¹⁾...

Наемные Юпитеры сердились, а бумага все терпела. Но, разумеется, все это никого не трогало. Для нашей революционной почвы эта литература решительно не годилась...

Уход Гучкова дал повод Вр. Правительству, в его цитированном заявлении, возобновить предложение коалиции — после отказа Исп. Комитета...

Какие цели преследовал своей отставкой сам Гучков — остается не ясным. Может быть, он надеялся взорвать все министерство, чтобы вселить панику в советских лидеров, вынудить их к любым уступкам и создать таким путем новый статус. Может быть, он просто хотел формально открыть правительственный кризис, чтобы сдвинуть положение с мертвой точки — хоть куда-нибудь. Может быть, он даже хотел облегчить рождение коалиции — после заминки в Исп. Комитете. Как бы то ни было, в чему бы ни стремился сам Гучков, — но объективно он создал повод для пересмотра решения Исп. Комитета 28 апреля.

Я не могу припомнить, что происходило в Исп. Комитете днем 1-го мая, на другой день после отставки Гучкова. По случаю понедельника газет не было, и я не могу сказать, было ли известно об этом официально в Таврическом дворце. Не знаю и того, были ли какие-нибудь разговоры насчет пересмотра вопроса о коалиции...

Что неофициальные переговоры между Мариинским дворцом и «группой президиума» велись в

¹⁾ Телегр. «Нов. Жизни» от 4 мая 1917.

эти дни с большой интенсивностью — в этом я нисколько не сомневаюсь. В частности, Керенский, после своего заявления от 26 апреля, не мог оставаться в прежнем своем положении. Либо он должен был выйти в отставку, либо должен был спешно «обращивать» советских лидеров, надеясь на быстрый успех. «Народническая» часть советского большинства также, конечно, помогала Керенскому и другим министрам — в закулисной обработке социалдемократической части, сорвавшей коалицию 28 апреля.

Отголоски этих частных переговоров слышались иной раз в официальных заседаниях Исп. Комитета. В один из этих дней — может быть, именно 1-го мая — Церетели, по какому-то поводу, объявил в заседании, что утром, когда он был еще дома, его вызвал к телефону не то Львов, не то Терещенко и о чем-то ему сообщили, что-то предложили и т. д. Послышалось чье-то недвольное ироническое замечание (слева): Церетели ведет конфиденциальные переговоры с правительством. Ведь для переговоров существует официальная «контактная комиссия».

— Так чем же я виноват?! — воскликнул в сердцах Церетели, с надувшейся жилой на лбу. — Я живу вместе со Скобелевым, а его телефон известен министрам. Что же я могу сделать, если они просят меня подойти!..

— Снять телефон! — раздался тут же скрипучий голос из глубины зала. Это был голос Ларина, который никогда не останавливался перед самыми радикальными решениями любых проблем.

Итак, никаких предположений насчет нового об-суждения коалиции в течение дня первого мая —

я не помню. Но поздно вечером, когда я был в типографии, мне сообщили по телефону, что Исп. Комитет сейчас созывается и ставит в экстренном порядке вопрос о коалиции. Представители левой настаивали, чтобы я сейчас же явился в Таврический дворец, и выслали за мной автомобиль... Едучи на Шпалерную, я, конечно, не сомневался, что коалиционное правительство есть уже почти совершившийся факт.

Исп. Комитет в этот день переехал в соседнюю более обширную и высокую залу, занимаемую доселе солдатской Исп. Комиссией. Здесь было гораздо больше воздуха и благоустройства: был уставлен покоем и даже покрыт сукном большой стол, за которым мог разместиться весь Исп. Комитет; предыдущая, прежняя зала была отведена под секретариат, а следующая — под буфет и «кулуары». В таком виде все оставалось до переезда в Смольный. Сейчас новое помещение было обновлено всеобщим бдением о коалиции.

Я застал прения уже в полном разгаре. Никакого доклада и никакой мотивировки возобновления прений я не слышал. Разумеется, за эти три суток не случилось ровно ничего принципиально нового, способного опрокинуть принципиальную, а также и конкретную оценку коалиции правыми советскими социал-демократами. Начались бреши в правительстве. Но ведь было заведомо ясно, что в прежнем виде, на прежних основаниях официальная власть существовать не может. Общее положение оставалось прежним. И, казалось бы, вчерашние противники коалиции не должны были видеть никаких оснований к тому, чтобы заделывать образовавшуюся брешь вступлением в ми-

нистерство советских людей. Уход Гучкова, с точки зрения здравого смысла, был именно поводом, но никак не мог явиться уважительной причиной для перемены позиций.

Однако, Церетели высказался в том смысле, что создававшаяся обстановка делает необходимым вступление в правительство представителей Совета... При мне выступало 5—6 ораторов; левые были по-прежнему против; большинство же ныне высказывалось за — без различия фракций. Но скоро прения были прекращены.

Приехал Керенский, чтобы оказать давление уже официально. Он довольно долго и неинтересно говорил об общем положении дел, о положении правительства; единственное спасение он видел в коалиции... Затем Керенскому задавали вопросы. Я, в частности, попросил его раз'яснить, как мыслит коалицию существующее правительство, какие условия вступления социалистов оно считает для себя приемлемыми и желательными. Керенский, по обыкновению, усмотрел в моих простых словах злостную полемику и мрачно ответил, что об условиях в Мариинском дворце речи не было, и пока надлежит решить вопрос только в принципе. Затем министр юстиции отбыл из Таврического дворца.

Общие прения уже не возобновлялись. Исп. Комитет (впервые на моей памяти) разбился на партийные фракции, которые устроили совещания в разных комнатах... Я оставался чуть ли не единственным диким; мне было некуда деваться, и я чувствовал себя довольно тоскливо. Поговорив по телефону с ночной редакцией своей газеты, я заглянул в залу Исп. Комитета: там осталась заседать большевистская фракция с Каменевым во главе;

кроме того вместе с нею заседали «междурайонцы», а также и эсер Александрович, который не пошел со своими и остался в качестве желанного гостя у большевиков. Меня тоже стали приглашать к столу, но я — от греха — спешил ретироваться.

Ближайшие мои единомышленники — меньшевики-интернационалисты заседали наверху вместе с правыми меньшевиками. Я зашел туда и, когда мне сказали, что секретов нет, остался послушать. Но собственно слушать было нечего. Вяло повторялось все то же самое...

Когда собрался снова пленум, то прений в нем уже не было, а были выслушаны только заявления фракций. Во главе коалиционистов ныне шли уже правые социал-демократы, обычные лидеры Совета. Церетели высказал их точку зрения. Гоц — «присоединился», присовокупив, что эсеры ультимативно требуют для своей партии портфеля министра земледелия...

Правящий блок был восстановлен. Голосование дало в пользу коалиции 44 голоса против 19 при двух воздержавшихся. Очевидно, за коалицию в принципе голосовал кое-кто из оппозиции кроме меня.

Затем, естественно, поднялся вопрос о конкретных условиях, о платформе, о составе коалиционного правительства. Последний вопрос, о лицах, впрочем, пришлось отложить — впрямь до точного установления числа советских министров и их портфелей, по соглашению с Мариинским дворцом...

Кто-то из лидеров изложил от имени какой-то фракции платформу будущего правительства. Она заключала в себе скорейшее достижение всеобщего

мира без аннексий и контрибуций, подготовку земельной реформы в виде передачи всей земли крестьянству, скорейший созыв Учр. Собрания, финансовые и экономические реформы. Все это было сформулировано в самых общих чертах.

Был в этой платформе и еще пункт: укрепление боеспособности армии. Это было смешно: Совету обращаться с подобным требованием к буржуазии, или хотя бы коалиции декларировать подобную задачу — было по меньшей мере излишне; но так уж привыкли советские верховоды — колотить себя по лбу в молитве идолу «соглашательства».

В кратком отчете об этом заседании, напечатанном в «Раб. Газете», я вижу, что в провозглашенную платформу вносились поправки — Гольденбергом, Стекловым и мною. Но там не сказано, какие именно поправки.

Как это ни странно и ни скверно, но газетные сообщения об Исп. Комитете не только не поощрялись, но решительно преследовались лидерами; по непонятной причине у нас усиленно культивировалась тайная дипломатия в центральном органе демократии. Я лично испытал не мало неприятностей из-за заметок «Новой Жизни» о внутренних делах Исп. Комитета, — хотя большею частью они делались без всякого моего участия... Эти странные требования тогдашних советских заправил имели, между прочим, и те последствия, что ныне по газетам восстановить деятельность Исп. Комитета совершенно невозможно — даже в самых грубых чертах. Я сомневаюсь, чтобы комитетские протоколы достались истории в надлежащем виде. И при таких условиях эта тайная дипломатия оказала очень дурную услугу истории российской революции. Од-

них мемуаров, хотя бы и многочисленных, здесь, пожалуй, недостаточно.

Сейчас я никак не могу припомнить, какую же платформу коалиции отстаивали слева. Я не могу припомнить поправки Стеклова и Гольденберга. Но, кажется, память не изменяет мне относительно себя самого. Я требовал прежде всего советского большинства в министерстве, как необходимого условия коалиции. Я полагал, что именно при таком условии будущие советские министры будут формально ответственны за будущую политику и не смогут прикрываться своим бессилием перед буржуазным большинством... Но поправка, разумеется, торжественно провалилась.

— Не проходит, — с оттенком жалости по отношению ко мне сказал председатель Чкеидзе.

Но я считал дело слишком ответственным и, попросив занести первую свою поправку в протокол, предложил — заведомо на убой — вторую. В виде некоторой гарантии действительной политики мира — я предложил внести в платформу пункт, в силу которого новое правительство декларирует свое право, в случае нужды к тому, опубликовать тайные царские договоры с союзными империалистскими правительствами относительно целей войны и условий мира... Разумеется, и эта поправка без малейшей задержки была отклонена.

Вообще комитетское большинство и, в частности, «группа президиума», переметнувшись на сторону коалиции, уже не знали удержу в своей готовности капитулировать до конца... Когда я, после провала моих поправок, вышел снова поговорить с редакцией по телефону, до меня в соседнюю комнату доносился звенящий гневный голос Церетели, про-

износившего какую-то филиппику. Когда я вернулся, мне сказали, что Церетели громил меня за полное «непонимание линии Совета». Еще бы! Ведь «линия Совета» состояла, как известно, в безусловной поддержке Милюкова. Стало быть, теперь, когда ему не было места в правительстве, надо было сделать так, как бы он был.

В заключение было все же постановлено, что будущие министры-социалисты, впредь до советского съезда, будут ответственны перед Исп. Комитетом.

А затем оставалось только осуществить все эти постановления. Для этого была составлена особая делегация из представителей фракций. В делегацию вошли меньшевики Чхеидзе, Церетели, Дан, Богданов; трудовики Станкевич и Брамсон; эсеры Гоц и, кажется, Чернов, которого я, впрочем, опять совершенно не помню во всем этом деле. От оппозиции были делегированы большевик Каменев, междурайонец Юренев и внефракционный — я. Было решено, что делегация соберется в Исп. Комитете завтра же, к 8 часам утра, а к девяти отправится в квартиру премьера Львова, где соберутся и министры.

Исп. Комитет разошелся в третьем часу ночи.

* * *

В очень холодное утро 2-го мая мы в двух автомобилях мчались из Таврического дворца к Александринскому театру, в департамент общих дел, где жил Г. Е. Львов. Мчались составлять новое правительство... Началась нудная и нервотрепательная канитель, которая продолжалась целых три

дня. Газеты этих дней отводили целые страницы переговорам о новом правительстве; они переполнены бестолковыми репортерскими сенсациями, но в общем очень плохо отражают сущность дела и даже не схватывают центрального внешнего хода драмы или комедии. По газетам не только будущий историк не восстановит деталей образования коалиционного министерства, но и мне, очевидцу, газеты тут почти не помогают. Вместе с тем припомнить детали самостоятельно я также не в состоянии. Вся эта канитель — клад для репортеров — врезалась в память далеко не целиком. Но, вероятно, наиболее характерное я все-таки помню.

Довольно характерно было уже начало. Нас встретил Львов чуть ли не в единственном числе. С ним было во всяком случае не больше одного министра. Остальных ожидали... Министр-президент приветствовал решение Исп. Комитета, но на вопросы о позициях и мнениях правительства отвечал уклончиво.

Подошли еще два-три министра, — не помню, как следует, кто именно. Стали обсуждать платформу, во вчерашней мягкой и расплывчатой редакции, где самым страшным — то-есть в сущности единственно страшным пунктом была формула без аннексий и контрибуций. Львов настаивал, чтобы к ней было присоединено заявление о войне и мире в согласии с союзниками; он мотивировал это необходимостью подчеркнуть одиозность сепаратного мира; но, конечно, результаты этого дополнения выходили далеко за пределы цели: это дополнение сильно умаляло значение формулы «без аннексий и контрибуций». Но все же оно было беспрекословно принято советской делегацией.

Еще был «переховатый» пункт — о подготовке земельной реформы. Правительство до сих пор, как известно, не предрешало и не декларировало характера этой реформы, не связав себя ни единым словом — «до Учред. Собрания». Но сейчас Львов заявил, что в характере реформы уже давно никто не сомневается, и что тут не может быть препятствий для соглашения. Пункт был принят. Но — Боже, как он был редактирован: «предоставляя Учр. Собранию решить вопрос о переходе земли в руки трудящихся, Вр. Правительство примет все необходимые меры, чтобы обеспечить наибольшее производство хлеба для нуждающейся в нем страны и чтобы регулировать землепользование в интересах народного хозяйства»...

Зная, что мое обращение к советскому «докладчику», Церетели, будет иметь обратные результаты, я попытался тут же в заседании воздействовать на земледельного эсера Гоца и внести коррективы в невыносимую редакцию этого пункта. Гоц легко согласился, что главное дело тут не в «производстве хлеба в интересах народного хозяйства». Но внести поправки он не успел или не сумел. Аграрный пункт был принят. Еще бы не согласиться на такой «платформе»!

Остальные пункты, будучи чистойшей, ни к чему не обязывавшей фразеологией, прошли без сучка и задоринки. Место, где говорилось о борьбе будущего правительства с контр-революцией, было по предложению Львова дополнено словами: «и анархией»...

Вообще на платформе коалиционного кабинета сталкивались очень быстро. Правда, это было только предварительное соглашение двух-трех чле-

нов старого министерства с советской делегацией. Но было очевидно, что с поправками Львова платформа будет принята для нового правительства.

Интерес положения заключался в другом. Во-первых, совет министров, как таковой, не явился в заседание, которое — официально — не состоялось. Во-вторых, эта манкировка несколько соответствовала и общему тону объяснений с на-личными министрами. Эти министры держались не только уклончиво, но и с определенной тенденцией. Они поведением своим говорили: добро пожаловать к нам, мы вам очень рады; но мы еще не решили, что мы можем предложить вам. Министры явно держали курс не на коалицию, как таковую. Они желали видеть себя хозяевами положения, а будущих советских министров они рассчитывали иметь опять-таки в качестве заложников. В частности, нам прямо указывали, что очень желательны дополнения (на вновь учреждаемые посты), но совсем не желательны перемещения.

Заседание было объявлено не состоявшимся. Полу-приватная беседа, если не изменяет мне память, выяснила прежде всего, что старый кабинет имеет в виду предоставить людям из Совета три или четыре портфеля, включая сюда и министра юстиции Керенского. Эти портфели были — труда, почт и телеграфов и, не помню, какой-то еще... А затем, когда советская делегация стала зондировать почву насчет Милюкова, то было выяснено, что Милюкова во всяком случае не предполагается оставить на посту министра иностранных дел...

Стали звонить остальным членам кабинета по телефону. Сговорились встретиться не то в два,

не то в 4 часа, а до тех пор разошлись по своим делам.

* * *

Наша делегация решила, что возвращаться в Таврический дворец не стоит, а следует использовать перерыв где-нибудь по близости. Что именно нам надлежало сделать — наметить ли предварительно распределение портфелей, проредактировать ли будущую декларацию или еще что-нибудь, — я забыл...

Как бы то ни было, мы направились в какой-нибудь близ лежащий ресторан и попали на Садовую в заведение «Официантов». Ресторан был еще заперт; но советский хозяйственный человек, Брамсон, именем Исп. Комитета открыл нам двери, и мы заняли кабинет, где пришлось просидеть чуть не до вечера.

Не помню, сделали ли мы и как именно мы сделали наше конкретное дело. Но помню, что львиную долю времени мы провели в разговорах насчет портфелей — в ожидании пока соберутся старые министры. Кому может и должен быть вручен портфель Милюкова — на этот счет у советских людей, кажется, не было никаких планов. Помнится, в Таврическом дворце, среди советской периферии, иные заводили речи о Чернове; но это было недообразие: за Черновым с самого начала был прочно закреплен портфель министра земледелия. Наиболее важный министерский пост — иностранных дел — в советских сферах было решено предоставить представителю буржуазии. А буржуазия также твердо решила закрепить этот пост за собой.

В смысле перемещений и новых министров выяснилось пока не многое. Совершенно ясно было, что пост военного министра займет Керенский. Это было желанием всех воинских частей, эсеров, советских лидеров и, наконец, его собственным желанием. Тем самым заведомо освобождался пост министра юстиции. Кем заместить его, опять-таки еще не знали. Но допускали, что это придется заместить советским кандидатом; конкретно же называли имя московского адвоката Малянтовича и еще кого-то. Насколько помню, на этот счет немедленно запросили московский совет, а также и самого кандидата. Кандидат отказался, а московские товарищи как будто ответили, что они в числе министров-социалистов желали бы видеть и москвичей.

Всего советские лидеры желали заместить социалистами шесть постов из тринадцати или четырнадцати, — то-есть непременно хотели быть в меньшинстве... Керенский считался ныне уже определенно советским кандидатом, «министром-социалистом». Чернов, стало быть, был вторым. Третий министр-социалист определенно предназначался на вновь учреждаемый пост министра труда. Конкретно — больше всего называли Скобелева, который в это время выехал на конференцию в Стокгольм, но телеграммой был возвращен с дороги. Четвертый советский кандидат также предназначался на новый пост министра продовольствия. Этот портфель хотели предложить Пешехонову. Пятым был проблематический министр юстиции. И... на этом застряли. А застряв стали поговаривать, не довольно ли будет и пяти.

Мне, представителю безответственной оппозиции, все это, вместе взятое, очень не нравилось. — Во-

первых, не следовало уклоняться от важнейших министерских постов и бояться перемещений. На это мне указывали, что надо идти по линии меньшего сопротивления и не создавать излишних трений. Во-вторых, необходимо было отвоевать для представителей демократии максимальное число портфелей. На это, делая вид, что смысл моих настояний не ясен, мне указывали, что не хорошо торговаться из-за министерских мест. В-третьих, я никак не мог признать за советских людей, за представителей организованной демократии — ни Керенского, ни Пешехонова, ни Малянтовича; все это были деятели, несравненно более близкие к Мариинскому дворцу, чем к Таврическому. На это мне возражали, что все эти люди принадлежат к социалистическим партиям: один — эсер, другой — энес, третий — социал-демократ. В-четвертых, мне казалось, что отдельные конкретные вопросы можно было бы решить более удачно.

Но все эти мои речи и предложения, разумеется, не приводили к надлежащим результатам: ничего не могло быть доброго из Назарета. Да и я не выступал бы с ними, я и не стал бы участвовать во всей этой «органической работе» — если бы все эти разговоры не происходили за завтраком, в совершенно частном порядке. В этой обстановке ничто не мешало мне безответственно судить и рядить о чужом деле...

Но задача была, действительно, до крайности трудная. Ответственные члены делегации напряженно работали головами, путались, утверждали и отменяли одну комбинацию за другой и — скоро устали. Деловая, хотя бы и частная, беседа стала распыляться, разлагаться.

Внезапно появился Скобелев, прямо с вокзала. Он уже был в общем осведомлен о положении дел. По обыкновению, делая из своего простого, открытого, веселого лица ужасно серьезную, мрачную, демоническую физиономию, — он заговорил о том, как в общественных делах он привык всегда руководиться, во-первых, горячим чувством, а, во-вторых, холодным рассудком. Сейчас холодный рассудок велит ему идти в министры. Но его горячее чувство — молчит... Что тут поделаешь? Положение, стало быть, необычное и, конечно, очень затруднительное. Но все же все надеялись, что как-нибудь да «образуется».

Заговорили о том, как посмотрит на выступление в правительство меньшевистская партия. Это был еще большой вопрос. Всероссийская конференция меньшевиков была назначена через неделю. Но ждать ее решения все же было нельзя. Надеялись, что санкция будет дана *post factum*... Разговор затем снова перешел на «комбинации». Наличный кандидат, Скобелев, собственно, не возражал для себя ни против морского министерства, ни против «труда». Но это еще ровно ничего не решало. Все попрежнему топтались в порочном круге. И, наконец, это стало невыносимо.

Звонили в квартиру Львова, скоро ли, наконец, соберутся министры. Затем, кто-то лично ходил туда разузнать о положении дел. Но застал у министра президента только жадных репортеров, которые сгорали от нетерпения и от особого профессионального энтузиазма... Министры не собрались ни в два, ни в четыре.

* * *

Не мудрено. В этих сферах были не меньшие трудности и передраги. Там толклись в том же круге вопросов. А кроме того министерство стояло перед щекотливой задачей — смещений и перемещений своих коллег. Как ни как с Милюковым предстояла тяжелая операция. И не только тяжелая, но и, может быть, чреватая последствиями: ведь Милюков был главою кадетской партии. Было естественно ожидать, что судьба министра иностранных дел отразится и на судьбе других министров, его товарищей по партии. Таких было в кабинете трое — Шингарев, Мануилов, Некрасов...

Во всяком случае сферам Мариинского дворца было о чем подумать, над чем поработать еще до встречи с советской делегацией. Они и думали и работали весь день. В ресторане «Официантов» нашей делегации пришлось просидеть чуть ли не до темноты. Наконец, была назначена встреча у Львова — часов около восьми... Но в этот день было созвано экстренное заседание петербургского совета. Ведь надо же было провести через него коалицию и получить санкцию уже предпринятых шагов. В полном успехе лидеры не сомневались ни минуты. Но надо было все же выставить тяжелую артиллерию. И часам к шести «группа президиума» отправилась в морской корпус, где уже собрался Совет.

Доклад Церетели был краток. Он говорил о безвластии и разрухе, о кознях правой буржуазии, о стремлении левых цензовиков сплотиться с демократией и готовности их принять демократическую программу, о необходимости создания во что бы то ни стало сильной единой власти, которая пользовалась бы полной и безоговорочной поддержкой

народных масс. Для иллюстрации нападений справа оратор широко использовал уход Гучкова, еще вчера бывшего «ответственным»... Но как бы то ни было, слова доклада падали на подготовленную почву. «Перемены» были необходимы в глазах масс. И коалиция уже была популярной среди всех не-большевистских элементов. Большевиков же было еще немного.

От имени большевиков — кажется, впервые — в Совете выступал Зиновьев. Он, доказывая, что коалиция выгодна одной буржуазии, ссылаясь на уроки истории и предлагал всю власть взять в руки Совета. Зиновьеву возражали. Войтинский вызвал скандал; не найдя ничего лучшего, как сделать из слов Зиновьева вывод, что большевики стремятся и сепаратному миру. К сожалению, это был довольно обычный способ полемики этого экс-большевика...

А затем Церетели задумал побить большевиков их оружием: ведь большевики хотят отдать власть большинству населения, — говорил он, — а большинство это крестьянство, то-есть мелкая буржуазия; нельзя «отметать» буржуазию от власти.

— Европа учтет вступление во Вр. Правительство, как новую победу революции...

Все это было не особенно убедительно и даже, кажется мне, не особенно остроумным. Но это не помешало Совету одобрить все шаги Исп. Комитета по части «коалиции» — подавляющим большинством голосов против 100.

Об этом заседании Совета я пишу по рассказам и по газетным отчетам. Я на нем не был. Я пошел прямо в квартиру Львова... Пройдя в кабинет премьера через толпу репортеров, я застал там

некоторых из советских людей — в политическом споре со святейшим прокурором В. Н. Львовым. Он громко и благодушно ораторствовал, проводя параллель между нашими событиями и французской революцией. Как это ни странно, но он, предпочитая нашу революцию, — указывал, что там «была ужасная борьба партий», которой у нас нет. Вообще прокурор был настроен оптимистически. Еще были, стало быть, такие элементы. Но, конечно, это был элемент совершенно «не сознательный», вполне обывательский...

Я напомнил ему, что ровно два месяца назад, 2-го марта ночью, мы заседали с ним в правом крыле Таврического дворца, создавая первую революционную власть. Я выразил надежду, что еще через два месяца, 1-го июля, на очереди будет создание кабинета Ленина. Но прокурор замахал на меня руками и уверял, что кризис сейчас будет разрешен окончательно — «до Учр. Собрания». Советские люди — из левых слушали и посмеивались.

Явились из Совета остальные члены делегации; собрались министры, — но далеко не все. Заседание все же открылось. Было видно, что в правых сферах еще ничего не решено, и наше заседание не может дать практических результатов... Все же, для очистки совести, последовал довольно вялый обмен мнений.

На этом заседании был и Милюков. Не знаю толком, что было сделано до сих пор «левой семеркой» для его устранения; но он был еще на лицо. Мало того: он немедленно бросился в бой и лучше чем кто-либо схватил быка за рога. Предполагаемую платформу в части, касающейся внешней политики,

Милюков объявил неудовлетворительной. Но он поставил вопрос еще интереснее.

— Резолюция Исп. Комитета гласит, — сказал он, — что министры-социалисты будут ответственны перед Советом. Это создало бы совершенно немыслимое положение. Это означало бы зависимость всего правительства от одной только части населения, представленной в Совете. Это означало бы необходимость для будущего министерства неуклонной советской политики. Ибо в противном случае Совет имеет возможность в любой момент взорвать правительство, отозвав его добрую треть... Такие условия коалиционного правительства совершенно неприемлемы для его не-советской части...

Я с любопытством ждал ответа и успокоения — со стороны советских лидеров. И, конечно, эти ответы были довольно путаны и сбивчивы. Ибо Милюков был формально прав. Я лично рассуждал также — при сравнительной оценке коалиции и чисто советского правительства: с формальной, с государственно-правовой точки зрения буржуазные министры в коалиции с Советом должны были явиться заложниками демократии.

Но это была только форма, а не содержание. По существу же дела — положение буржуазии было совсем не страшно. Ведь мы только что слышали от Церетели: большинство страны составляла мелкая буржуазия; ergo — и правительство, и его политика должны быть буржуазными, пользуясь при этом полным доверием и безусловной поддержкой демократии...

В том же заседании, после ухода Милюкова, выяснилось, что кадетский центральный комитет держит очень твердый курс и готов горой стоять

за Милюкова: в случае покушения на его пост, кадеты собираются отозвать и прочих своих членов. Но вместе с тем выяснилось, что в случае такого конфликта левый кадет Некрасов уйдет из своей партии и останется в правительстве.

А еще говорили о том, что министры жаждут вступления в их среду Ираклия Церетели. Они даже полагают, что только в этом случае новое министерство будет действительно прочно... Однако, Церетели решительно не предполагал быть министром. Он говорил, что вместо того он отдаст все свои силы для поддержки нового правительства своей работой в Совете. С его точки зрения, это конечно имело свои резоны. Того же мнения крепко держался и Чхеидзе, который не хотел и слышать о том, чтобы отпустить Церетели в министры. При каждом намеке на это он приходил в величайшее раздражение и в состояние, близкое к панике.

Но в этом заседании Чхеидзе не было. Он еще днем почувствовал себя нездоровым, поехал вместо Совета домой и там слег в постель. Все дальнейшие церемонии этой невеселой свадьбы происходили уже без него.

Тою же ночью на 3-е мая Милюкова «ушли» из правительства. По его свидетельству, он стойко боролся и не хотел уходить — во имя великой России. Но — увы — этот человек, которого надо было бы назвать кадетским Лениным, если бы он не был профессором, — был совершенно не мыслим в правительстве «полного доверия и безусловной поддержки». Набравшись духу, «левая семерка» прямо заявила ему об этом. И Милюков покинул совет министров, чтобы больше не возвращаться туда.

Кадетский центральный комитет настаивал, что-

бы Милюков в таком случае занял пост министра просвещения. Но Милюков отказался. Тогда кадеты поставили вопрос об отозвании из правительства остальных своих сочленов. Но этого вопроса в эту ночь они не решились.

Совет же министров, оставшись без Милюкова, предложил премьеру Львову пост министра иностранных дел. А когда скромный и молчаливый Львов отказался, то этот пост был окончательно закреплен за бойким и словоохотливым Терещенкой.

* * *

На другой день, 3-го утром, в Исп. Комитете было назначено заседание — для специального суждения о конкретном составе министерства, о портфелях и лицах... Появился Пешехонов, который вообще не заглядывал в советские сферы. Произошла небольшая, — больше ироническая, чем бурная, — перепалка между лидерами и оппозицией. Левые ставили на вид, что коалиция и сама по себе одиозна, а лидеры хотят выдать за коалицию простое перемещение некоторых буржуазных министров: пока что за советских людей, за министров-социалистов левые соглашались считать только двух заложников, — Скобелева и Чернова. И оппозиция полагала, что это совсем не стоит безусловного доверия и полной поддержки.

Правое же большинство — по причинам, не совсем понятным, — с похвальной твердостью стояло только на одном: насущнейшее дело продовольствия оно непременно вручит советскому человеку. Мало того: предполагалось настаивать на

создании не министерства продовольствия, в частности, а министерства снабжения вообще. До этих пределов — истины, культивируемые советскими экономистами, успели все же проникнуть в сознание наших лидеров. Они усвоили, что дело продовольствия без общего снабжения наладить нельзя... Министерство же предполагалось поручить Пешехонову.

Но Пешехонов далеко не горел энтузиазмом — в частности, по адресу министерства снабжения. Он говорил, что не прочь занять пост министра земледелия: в этой области он имеет готовый план и вообще чувствует себя свободно. В области же снабжения он пока что совершенно не ориентирован и идет на это дело через силу... Но об уступке Пешехонову зсерами портфеля земледелия не могло быть и речи. По отношению к Пешехонову у эсеров был даже еще более коварный план: они мечтали видеть Пешехонова товарищем министра земледелия — при Чернове; т.е. — деловым министром, рабочей силой при партийно-политическом, демонстративно-парадном главе министерства.

Три министра-«народника» так или иначе были на лицо. Но с тремя министрами-«марксистами», которых в свою очередь требовали «народники», дело обстояло еще очень плохо. Дальше Скобелева и Малянтовича все еще не пошли. Называли, впрочем, еще московского «социалдемократа» Никитина — на пост министра юстиции. А затем, отчаявшись, стали склоняться уже к четвертому «народнику», энесу Переверзеву... Всех этих кандидатов знали просто за либералов, не имеющих ничего общего ни с Советом, ни тем более с революционным движением. Но большинству было уже

не до издевательств оппозиции; натолкнувшись на практические затруднения, лидеры, очертя голову, бросались на любые комбинации и готовы были хоть самого чорта выдать народу и Совету за исконного блюстителя интересов демократии.

Тогда же утром наша делегация вновь кое-как, на ходу, редактировала декларацию. А потом Церетели взял с собой ее текст, спешно куда-то отправляясь для частных переговоров.

* * *

Часам к четырем мы снова скакали в автомобилях к премьеру Львову... Помню, я ехал вместе с Пешехоновым и разговаривал с ним об его министерстве. Я говорил, что его трудности — максимальны. Дело не только в огромной ответственности за труднейшую и острейшую функцию государственного управления; дело в том, что при надлежащей постановке снабжения Пешехонову придется быть главным рычагом по части регулирования промышленности, т.е. обуздания частного капитала. Ему придется, при надлежащем понимании своих задач, при достаточно серьезных намерениях, — принять на себя главную тяжесть борьбы с «отечественной промышленностью и торговлей» и быть главной мишенью для обстрела со стороны наших финансовых тузов и синдикатчиков.

Пешехонов, казалось, соглашался. И, казалось, он был угнетен предстоявшей ему миссией... Но я лично все же не сомневался, что с деловой стороны здесь лучшего министра Совет выставить не может.

У Львова мы опять-таки не застали министров и оказались одни. Но в скором времени к нам под'ехали делегаты крестьянского с'езда — Авксентьев, Бунаков, Виссарион Гуревич и, кажется, кто-то еще. Крестьянский с'езд, узнав, что Совет Р. и С. Д. ныне занят образованием нового правительства, пожелал принять участие в этом деле и прислал своих делегатов.

Делегаты, отрекомендовавшись представителями большинства населения, требовали себе законной доли участия в создании новой власти. Никто, конечно, не возражал. Крестьяне же не замедлили проявить гораздо больший радикализм, чем руководители советского большинства. И в первую голову, ссылаясь на насущную нужду в том, доказанную сообщениями о беспорядках на местах, крестьяне потребовали демократического министра внутренних дел...

Наши лидеры, конечно, переполошились и, пользуясь отсутствием министров, энергично убеждали «крестьян» в гибельности их замысла. Те энергично упирались. Но в конце концов, кажется, сдались. И, насколько помню, перед министрами они с этим требованием уже не выступали.

Появился Львов, а за ним другие министры — в довольно большом числе. Сообщили, что двое министров сейчас находятся в кадетском центральном комитете и выясняют, могут ли Шингарев и Мануилов остаться в новом кабинете без Милюкова. Во время заседания эти министры приехали и сообщили, что могут. А затем выяснилось следующее. На освобожденное Терещенкой место, в министры финансов, министры прочат Мануилова. Советские же делегаты предполагали и даже разумели, как

ясное самой собой, — Шингарева... Министерства снабжения буржуазные министры совсем не хотели. А портфель продовольствия они во что бы то ни стало желали удержать за собой. Это было, с их стороны, вполне последовательно и рационально. Но это нарушало в корне все советские комбинации. Лично Шингарев заявлял, что он готов выделить из своих настоящих функций министерство земледелия, но решительно не желает оставлять дело продовольствия. На пост же министра просвещения цензовики прочат кадета Гримма.

Все это обескуражило советскую делегацию, и она попросила перерыва. Нам представили кабинет премьер-министра, а министры удалились во внутренние покои. Когда все встали, я оказался рядом с Шингаревым, который мотивировал кому-то из присутствующих свой отказ покинуть дело продовольствия. Он указывал на причины отнюдь не классового, а чисто персонального характера. Он говорил, что дело продовольствия еще недавно было катастрофическим, а теперь, за два месяца, ему удалось достигнуть очень больших результатов. В частности, именно в данный момент им начата и доведена до половины большая операция по заготовке хлеба, которая может окончательно рассеять призрак голода в потребляющих центрах до нового урожая. Покинуть в самый разгар это огромное дело и передать другому плоды своих трудов — Шингареву было неприятно и обидно.

Конечно, эти мотивы были вполне понятны. Но они были не так важны, чтобы на основании их можно было идти на компромисс... Я предложил Шингареву следующее: взять все-таки портфель финансов, но сохранить за собой руководство

начатой продовольственной операцией — до ее окончания: все равно советскому кандидату Пешехонову придется потратить вначале не мало времени, чтобы создать аппарат своего нового министерства. Шингарев прямо не реагировал, но, казалось, слушал не без сочувствия. Он добавил, что ему с самого начала было естественно взять портфель финансов, но ему против воли навязали земледелие и продовольствие.

Во время перерыва с нами некоторое время оставался Некрасов. Он снова долго и энергично убеждал советскую делегацию в том, что Церетели решительно необходим в министерстве. «Крестьяне» поддержали Некрасова... Наши лидеры стали колебаться. Церетели, преодолев принципиальные аргументы, стал приводить уже конкретные возражения против своего участия в правительстве. Он говорил, что его работа в Совете, необходимая для поддержки правительства, не оставляет ему времени для министерских дел.

Естественно возникло предположение — сделать Церетели министром без портфеля. Однако, Некрасов заявил: «мы решили не допускать таких привилегий и не создавать министерских постов без портфелей». Некрасов настаивал, чтобы Церетели занял пост министра почт и телеграфов.

После ухода Некрасова, о Церетели продолжался долгий разговор. Надо было добыть третьего «министра-марксиста». Да и вообще Церетели на самом деле было естественно стать министром. Его убеждали тем, что если пригласить надлежащих товарищей для деловой работы, то Церетели хватит и на министерство, и на Совет. Зато уж «поддержка» будет действительно обеспечена в максимально-воз-

можной степени. Церетели стал склоняться... Но вопрос был в том, что-то скажет больной папаша Чхеидзе...

Вместе с тем, выяснилось еще вот что. Керенский, прежде всего, совсем не склонен выделить морское министерство, а хочет быть и морским, и военным министром. Это было, конечно, не обязательно, но было все же очень существенно. А затем, в качестве своего преемника на пост министра юстиции, Керенский прочит «народника» Перверзева...

Стало быть, планы Керенского разом отнимали два поста у «министров-марксистов»: и морское министерство, и министерство юстиции. При сомнительности Церетели, в коалиции оставался уже только один несомненный социалдемократ на классическом посту буржуазного заложника: на посту министра труда. На это уже ни в каком случае не соглашался Скобелев. Да и вообще — что же это в конце концов за «коалиция». Курам на смех...

Все это, вместе взятое, как видим, пока что только запутывало дело, но не двигало его вперед. За неполных двое суток вся эта бесплодная толчея, вся эта чехарда комбинаций становилась уже невыносимой для самых уравновешенных людей.

Не помню, что в этот день было дальше и возобновилось ли совместное заседание с министрами... Часов в шесть в морском корпусе снова собрался петербургский совет: его созвали накануне, не сомневаясь, что сегодня на его утверждение будет представлен и окончательный состав, и платформа нового правительства. Пришлось кого-то командировать, чтобы сообщить совету о задержке и снова созвать его на завтра.

Остальным пришлось отправиться в Исп. Комитет, где в эти дни царил не-рабочая атмосфера. Но двух или трех человек делегация выделила для особой миссии: поехать к больному Чхеидзе и убедить его в необходимости отпустить Церетели в министерство. Это была очень трудная миссия; иными она даже расценивалась, как безнадежная... Кажется, к Чхеидзе поехал Скобелев, сам Церетели и кто-то еще.

* * *

Мы же в Исп. Комитете, неожиданно-негаданно, застали снова французских гостей. По правде сказать — было не до них. Но делать было нечего: французские гости, посетив Москву, об'ехав фронт, возвращались теперь во Францию и явились к нам для прощальной беседы... Не помню, были ли с ними англичане. Английская делегация за это время была еще более скомпрометирована в наших глазах: была окончательно установлена ее формальная связь со своим правительством, и по этому поводу даже возникла неприятная переписка между Исп. Комитетом и британскими рабочими организациями, которые отверчивались от этой делегации Ллойд-Джорджа. Но англичан, кажется, сейчас уже не было. Вместе с французами был сейчас только бельгиец Дебрукер.

Гости, на прощанье, возобновили свои пожелания союзного контакта. Они снова рассыпались в комплиментах величию русской революции и могуществу Совета. Поездка на фронт не оставила в них на этот счет никаких сомнений. Они знали, что мы следим за травлей против нас в их патриоти-

ческой прессе, и авансировали перед нами свою готовность раз'яснять на родине истинное положение дел.

В ответ им превосходную речь произнес Дан, которому аплодировала левая. Перед лицом союзных социал-патриотов он взял настоящий тон революции и воспроизвел прежнюю «линию Совета», подчеркивая возможность между нами контакта только на почве борьбы за мир.

После Дана, помню, выступил с полемикой Шляпников на французском языке, с классическим владимирским прононсом, он терзал гостей ядовитыми вопросами насчет Эльзас-Лотарингии и проч.; корректные французы старались, на прощанье, во что бы то ни стало не выйти из равновесия...

Но в общем, с политической стороны, эти проходы, вероятно, дали не дурные результаты. Они укрепили — насколько было возможно — в сознании гостей ту мысль, что несмотря на явный перелом советской политики, несмотря на все колебания и уступки, все же формальный контакт с союзными социал-шовинистами, по крайней мере сейчас — совершенно невозможен для Совета. Французы снова подтвердили свою готовность всеми мерами содействовать международной социалистической конференции, а затем — распрощались с нами.

Что было поздним вечером — не помню. Кажется, я отправился прямо в «Новую Жизнь», — и если были какие-нибудь заседания о коалиции, то в них я не участвовал. Но дело в эту ночь решительно никуда не сдвинулось с мертвой точки.

* * *

Не помню и того, что было сделано для коалиции в первую половину следующего дня, 4-го мая... С двух часов в Мариинском дворце происходило совместное заседание советской делегации с министрами, главнокомандующими и думским комитетом. Но я не был на этом заседании и не знаю, что там было.

Кончив дела в редакции, я отправился в Мариинский дворец и застал нашу делегацию в одной из отдаленных незнакомых комнат — в крайне возбужденном и нервном состоянии. Совместное заседание только что кончилось, но дело попрежнему ни на йоту не подвинулось. Только у Чхеидзе, с большим трудом и к великому его огорчению, удалось вырвать согласие на вступление Церетели в правительство. Ему было дано обещание, что Церетели будет попрежнему работать главным образом в Совете.

Сейчас советская делегация, стоя на ногах, с видом отчаяния, решала пред'явленный ей ультиматум: либо министерство продовольствия остается за цензовиками и Шингаревым, либо вся комбинация рушится, и весь кабинет подает в отставку... Своим происхождением этот ультиматум был обязан, конечно, кадетскому центральному комитету.

Центральный орган всей организованной буржуазии в эти дни потерпел целый ряд неудач, — и нервничал, и фрондировал, и добивался реванша напрапалую. — Прежде всего, кадетские большевики вообще не хотели никакой коалиции. Затем — они добивались коалиции с Милюковым. Затем, — ничего этого не добившись, они бросились по линии бойкота, некогда ими столь презираемой; бросились по линии срыва коалиции путем отозва-

ния кадетов-министров. Но во-время опомнились, вняв голосам тех, кто считал это уже слишком непатриотичным, слишком узко-партийным, слишком рискованным. Тогда Шингареву и Мануилову решили остаться в кабинете, — но под условием сохранения в кадетских руках портфеля продовольствия.

Кадетский центральный комитет, повидимому, ставил этот вопрос ультимативно перед остающимися буржуазными министрами. А те, разумеется, не могли обойтись в новом правительстве без поддержки самой могущественной, можно сказать, единственной буржуазной партии. И Львову, Терещенке, Некрасову не оставалось ничего, как предъявить ультиматум советской делегации.

Обозленные и измученные советские делегаты на ходу решали вопрос единым духом. Надо сказать, что большевистских делегатов не было на лицо; из левых был один я. Все же было решено не уступать цензовикам, об'явив им об этом в предстоящем новом заседании у Львова, и не уклоняться от разрыва переговоров. Я видел, что твердого убеждения у лидеров не было. Больше тут действовали как-будто психологические импульсы. Еще бы! Если «коалиция» будет сорвана, то спрашивается, что же делать дальше? С чем выступить перед Советом?.. Ведь это значит — взять в свои руки всю власть. Нет — «коалиция» должна быть создана ценой любых уступок. Иного выхода нет.

Но как бы то ни было, пока решили отвергнуть ультиматум. И такое решение мне оставалось только приветствовать.

До нового совместного заседания, назначенного часов в 6 или в 7, мы пошли в ресторан обедать.

Попали в пресловутую «Вену», битком набитую посетителями. Отдельного кабинета не оказалось. нас отвели в маленькую комнату, где мы однако оказались не одни. Но все же пришлось продолжать политические разговоры. На лицо — не знаю, каким путем — оказался Кузьма Гвоздев. Все очень нервничали и были мрачны. Церетели бегал к телефону... Мы, больше вероятно по инерции, продолжали строить комбинации. Но уже ум заходил за разум.

Говорили, главным образом, почему-то о министре труда. Скобелев зачем-то все-таки был переведен в морские министры. Может быть — затем, чтобы получить третьего социалдемократического министра. Вернее — затем, чтобы ввести в коалицию рабочего. Но хорошо не помню, в чем было дело.

В министры труда теперь назначали Гвоздева, потом отменяли: Гвоздев слишком не популярен среди рабочих. Назначили рабочего Смирнова, будущего заграничного делегата; Гвоздева же определяли в товарищи. Кто-то из Таврического дворца, кажется, какой-то служащий, совершенно случайно вошел к нам и принял участие в беседе. Он назвал какого-то третьего кандидата в министры труда. Он показался подходящим. Тогда и Гвоздева, и Смирнова назначили при нем товарищами. Потом снова все отменили и снова пожаловали Гвоздева в министры... Гвоздев сидел тут же, нервно краснел и молчал, изредка отвечая на прямые вопросы:

— Как хотите, товарищи, мне все равно. Как хотите...

Ум заходил за разум.

* * *

Часам к восьми отправились в квартиру Львова. Армия репортеров попрежнему бодрствовала на своем посту... В кабинете министра-президента шло совещание буржуазных министров. Мы вяло и сумрачно разгуливали по соседней зале.

А в морском корпусе в это время снова собрался Совет и уже ждал не меньше часа... Пришлось вторично распустить его после долгого бесплодного ожидания. Эту миссию взял на себя Гоц, принявший на свою голову гром и сарказм небольшой кучки советских большевиков.

Открылись двери кабинета и нас пригласили на заседание. Кажется, оно было очень кратко и состояло только в том, что министры выслушали наше заявление об отказе уступить Шингареву портфель продовольствия. После этого был об'явлен перерыв, и, снова предоставив нам кабинет, министры удалились во внутренние покои. Слово было теперь за ними.

Наши лидеры были мрачнее ночи и при малейшем поводе срывали злобу на левых. Помню — мы с Каменевым и с кем-то третьим, от нечего делать, затеяли спор о Ленине и большевизме. Каменев доказывал постоянную правильность исторического прогноза большевиков, он вспоминал о «неурезанных лозунгах» и «ликвидаторах» 1914-го года и утверждал, что история подтвердит и настоящие, современные позиции их партии; мне казалось, что он замазывает свою неудачную попытку борьбы и свою недавнюю капитуляцию перед Лениным...

По мере того, как решение затягивалось, нашими лидерами видимо завладевали сомнения. Сведения о взаимных настроениях кабинета и столовой так или иначе просачивались через залу... Проходя в переднюю к телефону, я застал в зале

Керенского в конфиденциальной беседе с Годом. Становилось известно, что министры держат твердый курс, склонны не уступать и поговаривают о коллективной отставке кабинета... Нервное напряжение достигало последних градусов.

В нашей комнате внезапно появился духовный прокурор Львов. Остановившись посреди кабинета, он громко провозгласил, протянув руку по направлению к столовой:

— Там сумасшедший дом, и здесь сумасшедший дом...

Поистине, это была не веселая свадьба: Ощущение было такое, что коалиция гниет на корню... Между тем, стало известно, что министерство Львова окончательно склоняется к отставке. Шингарев и стоящие за ним не уступали. Министры стали уже рассуждать о том, как оформить свою отставку, кому вручить ее и т. д. Вызвали даже ученых знатоков государственного права. Это было уже в двенадцатом часу...

* * *

Но в это время среди нашей делегации появился Керенский. Он потребовал, чтобы мы открыли официальное заседание и взял слово. Долго и нудно он агитировал нас по части ужасного положения страны и рисовал страшные перспективы. Он утверждал, что правое крыло сказало свое последнее слово: оно больше уступить не может и не уступит. Между тем — не достигнуть соглашения значит развязать гражданскую войну. Если Совет не хочет принять на себя весь одиум грядущей анархии и разрухи, то он должен уступить. Тем более, что спор идет о совершенных пустяках.

Стали высказываться по очереди все члены делегации. Против уступки, помню, высказался Чернов. Некоторых — не могу припомнить. Но большинство как будто только и ждало Керенского и, можно сказать, с энтузиазмом поддерживало уступку... Должен сказать, что мне, дикому и безответственному человеку, предмет спора также казался пустяковым и недостойным не только проблематической гражданской войны, но и неизбежных действительных затруднений, хотя бы и небольших. Повторяю, я не особенно хорошо понимал, что заставляет наших лидеров, снявши голову, так сокрушаться по волосам.

И когда до меня дошла очередь, я попытался поставить вопрос иначе: о портфеле продовольствия, сказал я, спорить не стоит, его можно и уступить; но при этом надо признать и объявить, что коалиция, как ее понимал Исп. Комитет, вообще не осуществилась; образуемый при данных условиях кабинет мы не можем признать искомым правительством...

Разумеется, на меня закричали, замахали руками, злобно засверкали глазами. Это было, с моей стороны, по обыкновению, бестактно и неуместно...

Но — к сожалению, я не мог более оставаться в заседании ни минуты. Я уже несколько раз манкировал выпуском «Новой Жизни» и сегодня дал обязательство быть в типографии около полуночи. Я должен был уйти немедленно, не дождавшись близкого конца. Я вышел на улицу в самый «трагический» момент.

Остальное было без меня, но оно было неожиданным. Из типографии, по телефону, я узнал, что покашло наше заседание с Керенским — в последний момент, поговорив с прибывшим вестником кадет-

ского центрального комитета, Набоковым, уступил Шингарев. Он согласился взять портфель финансов — при условии, что он закончит начатые им продовольственные операции.

К двум часам ночи все было готово. Портфели были распределены быстро, а все сомнительные пункты были разрешены так: Керенский получил и военное министерство, и морское, и Переверзева в министры юстиции; Пешехонов получил портфель продовольствия, Скобелев — труда, Церетели — почт и телеграфа.

Коалиция была создана. Формальный союз светского мелкобуржуазного большинства с крупной буржуазией был закреплен в «писанной конституции».

* * *

Совершилось неизбежное. Ну что ж! Пусть история, что суждено ей, делает скорее... Теперь оставался только последний акт, заключительный аккорд, апофеоз. Это была санкция Совета — пустая формальность, простое поздравление с законным браком.

Но сначала новые министры пошли «прикоснуться к земле». Крестьянский всероссийский съезд, наконец, официально открылся. Хозяева земли русской заполнили собой огромный партер Народного Дома и уже начали произносить одно за другим свои увесистые слова... В зале Народного Дома сейчас можно было воочию наблюдать будущее большинство Учр. Собрания. Да и вообще этот съезд большинства нации стоил внимания. Но любопытно: сюда явились только «министры-социали-

сть». Ни один из их буржуазных коллег, ныне формально с ними связанных, не пришел поклониться черноземной России.

Все министры-социалисты призывали к поддержке нового коалиционного правительства. Чернов говорил о внутреннем строительстве; Пешехонов говорил об анархии и единении; Скобелев говорил о защите страны; Керенский, отрекомендовавшись военным и морским министром (до санкции Совета), говорил о «чести и независимости русского народа» и о железной дисциплине в войсках, которую он установит. Увы! газетные отчеты не передали нам ни полслова о мире и братстве народов...

Я не был на этом торжественном заседании. Но в Совет я собрался пойти. Он был опять созван вечером... А днем в Исп. Комитете передо мной промелькнула новая фигура. Знакомые колючие глаза, знакомые волнистые волосы, но незнакомая борода... Ба! Это — Троцкий. Он незаметно приехал во время всей этой кутерьмы. Пятнадцать лет тому назад, в 1902—1903 гг., в Париже я часто встречал его и слушал его рефераты. Но знаком с ним не был. До революции он кое что присылал нам в «Летопись», а сейчас числился сотрудником «Новой Жизни». Но именно во избежание разговоров об его работе в «Новой Жизни» я не подошел и не представился Троцкому. Сначала надо было познакомиться на деле с его позициями.

В Совете, который, наконец, дождался разрешения тяготевших над ним вопросов, Скобелев сделал длинный доклад. Затем Чхеидзе огласил резолюцию, содержащую три пункта: 1) Совет признает, что члены Исп. Комитета должны вступить в правительство, 2) что новые министры, делегиро-

ванные Советом, ответственны перед ним впредь до созыва всероссийского с'езда советов, 3) Вр. Правительству в его новом составе выражается полное доверие, и все демократические силы страны призываются оказать ему полную поддержку.

Фракционные ораторы, Дан, Гоц, Станкевич — призывают голосовать за эту резолюцию единогласно. Представитель большевиков заявляет, что их фракция в Исп. Комитете голосовала против коалиции... Но официальные ораторы не вызывают большого интереса.

Во время их речей*я, сидя за столом на эстраде, в поте лица трудился над передовицей к завтрашнему номеру «Новой Жизни» — об отношении к новому правительству. У меня, однако, ничего не выходило... Случайно обернувшись, я увидел позади себя Троцкого. Не в пример тому, как Чхеидзе поступал со своими друзьями, он не пожелал отметить появление Троцкого и не предложил приветствовать выдающегося деятеля революции, к тому же прибывшего из плена. Но на Троцкого уже указали, и из зала раздались возгласы: «Троцкого! Просим тов. Троцкого!»..

Знаменитый оратор появился впервые на трибуне революции. Его дружно приветствовали. А он, со свойственным ему блеском, произнес свою первую речь — о русской революции, об ее влиянии в Европе и за океаном. Троцкий говорил о пролетарской солидарности и международной борьбе за мир. Но он коснулся и коалиции. В мягких и осторожных, не свойственных ему выражениях, — Троцкий указывал на практическую бесплодность и принципиальную ошибочность ныне совершаемого шага. Он называл коалицию буржуазным плене-

нием Совета. Но оратор не придавал большого значения этой ошибке, полагая, что от нее не погибнет революция.

Троцкий заметен волновался при своем первом дебюте, под нейтральным взглядом неведомой массы и под враждебными возгласами двух-трех десятков «социал-предательских» глаз. На сочувствие своей речи он заведомо не рассчитывал. А тут на грех... из-под рукава оратора ежеминутно выскакивала манжета, рискуя упасть на головы его ближайших слушателей. Троцкий водворял ее на место, но непокорная манжета выскакивала снова — и отвлекала, и сердила его.

С Троцким полемизировали министры-социалисты. Были бледны Пешехонов и Церетели. Кокетничая напрапалу, танцевал на эстраде Чернов, прося и умоляя не отдавать его в плен. Демонический Скобелев произнес свою сакраментальную формулу о горячем сердце и холодном рассудке. А Керенский... конечно, не явился вовсе.

Я в поте лица трудился над передовицей. Но у меня ничего не выходило. Я никак не мог придумать и выразить «отношение к новому правительству». Поскольку-постольку. Это уже было по отношению к другому. Полное и безоговорочное доверие? Но ведь ни тени подобного доверия у меня не было к советскому большинству. Сказать, что коалиция мертва при своем рождении, гнила и эфемерна. Но этого мало, это можно сказать и завтра. Сейчас это говорить не хочется. Хочется хоть что-нибудь придумать положительное, бодрящее. Но ничего не выходит.

Ничего не вышло. «Новая Жизнь» на другой день, 6-го мая, появилась без передовицы о новом прави-

тельстве. Это сознание своего бессилия было тягостно. Да и вообще вся эта история с коалицией была тягостна...

После заседания в томлении духа, поздно вечером, я направлялся из Совета в типографию. В пустынных узких переулках Петербургской Стороны было тихо — точно не было никакой революции. Только издали слышалось какое то странное пение, похожее на рев большого зверя. Я понуро брел по мертвому переулку и повернул за угол. По другой стороне улицы, навстречу мне, размахивая руками, нетвердо двигалась долговязая фигура и выводила октавой, под протодиакона:

— О ми-ре всего ми-ира, без аннексий и контрибу-удий, Го-осподу помолимся-а-а!...

Август-октябрь 1919 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ.

| | |
|-----------------------------|-----------|
| 1. Снег на голову | Стр. 7 |
|-----------------------------|-----------|

Приезд Ленина. — На Финляндском вокзале. — Организация триумфа. — «Запломбированный вагон» и революционные власти. — Позиция Исполнит. Комитета. — Встреча. — «Приветствие» Чхеидзе и «ответ» Ленина. — Всемирная революция и текущая политика. — В'езд в броневике. — Что говорят в народе. — В доме Кшесинской. — Знакомство с Лениным. — Трапеза. — Товарищеская беседа. — Гром среди ясного неба. — Ленин-оратор. — Апрельские «тезисы» Ленина. — Что в них было. — Чего в них не было. — Социализм и государственное право наизнанку. — Что думают большевики. — Что думаю я. — Объединительная конференция социал-демократии. — Ленин на трибуне. — На троне Бакунина. — Знамя гражданской войны внутри демократии. — Оппоненты. — Срыв объединения. — Ленин в Исп. Комитете. — Проезд через Германию. — Ленин в подземельях. — О Менине в Маринском дворце. — Ленин и большевики. — Собрание маршалов. — Ленин и «Правда». — Изюция Ленина. — Перелом. — Как победил Ленин своих большевиков. — Фигура Ленина. — Ленин, и его партия. — Большевицкая партия минус Ленин. — «Левизна», как фактор победы. — Умолчание и конспирация, как средства победить партию. — «Вся власть советам» в устах Ленина и его товарищей. — «Защита Учредительного Собрания». — Наполеон Бонапарт и Николай Маккиавелли.

2. Совет завоевывает армию и власть . . .

Перелом кон'юнктуры. — Победа и ее судьба. — Ликвидация конфликта между рабочими и солдатами. — Братания. — Закрепление союза. — Солдаты и программа мира. — Факторы перелома. — Выступления интеллигенции. — Лозунги мира в деревне. — Формула мира в буржуазной прессе. — Агитация левых и правых. — Выступление австрийского правительства. — «Присоединение» шейдемановцев к русской формуле. — Объективные факторы. — Результаты перелома. — Сопещания фронтовиков. — Знаменательная резолюция. — Фронтной с'езд в Минске. — Тыловая армия идет по стопам действующей. — Резолюция петербургского гарнизона. — Официальное положение об армейских комитетах. — Функции армейских комитетов, предусмотренные и не предусмотренные положением. — Армейские комитеты, как органы Совета. — Советские комиссары на фронте. — Армия завоевана Советом. — Ликвидация буржуазной кампании. — В начале марта и в половине апреля. — Победа ли? — Абстрактные вопросы и посылные ответы. — Буржуазия отступает с боем. — Неудачная зубатовщина. — Игра на сепаратном мире. — Травля стокгольмской конференции. — Травля советских групп и деятелей. — «Ленина — в Германию!» — «Арестуйте Ленина!» — Инвалиды. — Военнопленные. — Слабость буржуазии, могущество Совета. — Демонстрация солидарности. — Организация крестьянства. — Демократические муниципалисты. — В «контактной комиссии». — Разговор с Милюковым. — Милюков не знает, что он говорит прозой. — Необ'ятные силы и возможности революции.

3. Мелкий буржуа и крупный оппортунист завоевывает Совет 127

Червоточина. — Новый всероссийский советский орган. — Совет и революция. — Шестнадцать новых членов Исп. Комитета. — Ф. И. Дан. — Его первые шаги. — Его общая роль в событиях 17-го года. — Дан и Церетели. — Противоречия. — Шуйца и дес-

ница Дана. — Другие новые члены Исп. Комитета. — Приезд В. М. Чернова. — Чернов и его партия. — Чернов и Ленин. — Миссия Чернова. — Его шуйца и десница. — Трагедия Чернова. — Встреча. — Приветствия. — Разговоры с Черновым. — Его шатания и его самоопределение. — Н. Д. Авксентьев. — Реорганизация Исп. Комитета. — Его работа в ту эпоху. — Правительственный и советский механизм. Вопрос о разделении петербургской и всероссийской организации. — «Известия». — «Однородное бюро». — Подготовка. — Заседание Исп. Комитета. — «Махинация». — Апельсиновая корка. — Церетели скачет дальше, чем следует. — Президентский кризис. — Приемы «Группы президиума». — Провал махинаций. — Сплочение и борьба оппозиции. — Тайная дипломатия. — Реванш большинства. — Работа приносится в жертву политики. — «Однородное бюро» создано. — Совет завоеван.

4. На наклонной плоскости 180

«Первое мая» в Исп. Комитете. — Прием англо-французской делегации. — Деловые переговоры. — Комиссия. — Итоги переговоров. — Гражданин Тома и прочие иностранцы. — «Свободная Ассоциация Наук». Железнодорожники и «Комиссия Плеханова». Аграрные дела в Совете. — Аграрные дела вообще. — Продовольственная разруха. — Солдатики. — «Контактные дела». — Арест Троцкого. — Задержание Платтена. — «Дальнейшие шаги» к миру. — Выступление Чернова. — Новая нота. — Приезд Ленина перед судом министров. — Мои «бестактности». — Милюков нарушает договор 2-го марта и ограничивает политическую свободу. — «Контактная комиссия» перед судом Исп. Комитета. — Нотариус и два писца необходимы для Церетели. — Гучков об армии. — Надо прекратить разговоры о мире. — Гучков понимает, но не хочет понимать. — «Заем свободы». — Агитация и пресса о военном займе. — В Исп. Комитете. — За и против. — Решили поддержать, но не поддерживают. — Последние колебания большинства. — «Бе-

режение Вр. Правительства». — Военный заем в Совете. — Последний компромисс. — «Новая Жизнь».

5. Народ демонстрирует свою силу и власть . 239

Первое мая. — Утром в Исп. Комитете. — Поездка по Петербургу. — На улицах. — Невский. — Митинг в Марининском дворце. — «Помещики в усадьбы, буржуазия к награбленным сундукам». — Первое мая в России. — На другой день. — Нота Милюкова 18 апреля. — В «Новой Жизни». — Текст и смысл ноты. — В марте и в апреле. — Перчатка брошена. В Исп. Комитете. — Утро вечера мудренее. — Утро. — Перчатка поднята. — «Апрельские дни». — В «однородном бюро». — Первые выступления. — Первые меры пресечения. — Революционные полки оцепляют Марининский дворец. — Исп. Комитет снимает «осаду». — Ген. Корнилов выкатывает пушки. — Петербург на улицах. — «Выход» Исп. Комитета. — «Объяснения» с правительством. — 10 ораторов. — Сговор оппозиции. — За едание Совета. — Настроения. — Что Совет может сделать в 5 минут. — У Марининского дворца. — «Историческое» ночное заседание Исп. Комитета и Вр. Правительства. — Министры перед «народом». — Речи министров. — Речи советских ораторов. — За кулисами. — Нота 18 апреля в провинции. — События 21 апреля. — Стрельба. — Ликвидация уличных выступлений. — Совет волшебным словом укрощает бурю. — Сила народа и власть Совета.

6. Совет кладет народную власть к ногам буржуазии 297

Ленин и большевики в апрельские дни. — Дело 18 апреля и советские партии. — Народное движение и советские партии. — Апрельские дни и раскол Совета. — Исп. Комитет решает дело 18 апреля под звуки выстрелов. — Заседание министров. — Разъяснение ноты. — Ликвидация «инцидента». — Резолюция. — В Совете. — «Инцидент исчерпан». — Логика положения. — Лидеры убеждают народ в своей победе. — «Заем свободы». — Милюкова поддерживают уже

без всяких условий. — Советская шейдемановщина. — Редакция «Новой Жизни» против шейдемановщины, которую — за нее. — Корнилов подает в отставку. — Кто командует войсками? — Я направо, Церетели налево. — И снова капитуляция. — Воздействие на Европу. — Попытка спрятаться за нее. — Стокгольмская конференция. — Воззвание к социалистам всех стран. — Дальнейшие наши капитуляции. — Борьба с разложением армии. — Беседы с военачальниками. — Приказы Гучкова. — «Ответ» советского лидера. — Последний штрих: воззвание к армии.

7. Противоречия революции и выход из положения 341

Об «изображении» событий. — Диапазон политических течений. — «Черная Точка». — Буржуазная правая. — Первая открытая демонстрация: заседание четырех Дум. — Выступление Шульгина. — К характеристике Церетели. — Дифференциация в буржуазном лагере. — Буржуазный «пацифизм». — Оппозиция Милюкову. — Визит группы офицеров. — Буржуазная демократия. — Крестьянство. — «Ответственный» советский блок. — «Безответственная» советская оппозиция. — Большевики. — Их конференция. — Красная гвардия. — Анархисты. — Положение государства. — Армия. — Хлеб. — Земля. — Финансы. — Внутренние дела. — «Республики». — Сепаратизм. — «Гвоздь» положения. — Вр. Правительство, Совет и народ. — Неустойчивое равновесие. — Непизбежность «перемен». — Маленькая иллюстрация. — Вопрос о коалиционном правительстве. — Обращение Вр. Правительства. — Позиция Милюкова. — Заявление Керенского. — Цели буржуазии и коалиции. — Действительное положение дел. — Аргументы за и против. — Коалиция, как временная комбинация и как единственный выход из положения.

8. Законный брак крупной и мелкой буржуазии 397

Вопрос о коалиционном правительстве в Исп. Комитете. — Позиции различных фракций. — Провал

коалиции. — Повод для пересмотра решения. — Уход Гучкова. — Его мотивы. — Закулисная работа. — Вторичное обсуждение вопроса. — Ночное заседание Исп. Комитета. — Керенский, фракции, поправки, вотум. — Коалиция решена. — У Львова. — В ресторане «Официантов». — «Комбинации. — Коалиция или заложники? — Заседание с министрами. — Милюков хлопочет о чужом деле. — Милюкова «уходят». — Распределение портфелей. — Министерство снабжения. — Вмешательство крестьянского съезда. — Совет предполагает, министры располагают. — Чехарда комбинаций. — Все недовольны своими соседями. — Прощальный визит французских гостей. — 4 мая. — Ультиматум. — Перед разрывом. — В другом ресторане. — Коалиция гнет на корню. — На волоске. — Два сумасшедших дома. — Керенский «спасает положение». — Совет уступает. — Кадеты тоже уступают. — Невеселая свадьба сыграна. — Заключительный акт. — Министры-социалисты испрашивают последнее благословение. — Появление Троцкого.

U.C. BERKELEY LIBRARIES



C020902627

523836

DK 265

S9

v. 3

UNIVERSITY OF CALIFORNIA LIBRARY

